Эльке Либс

# Меланхолия счастья

Жизнь с Ефимом Эткиндом

Меланхолия и радость – словно сестры.
И с ветвей слетает снег отцветший.
С каждой каплей пульса в дне прошедшем
Нынче тает. Счастье ранит остро
И остро ранит май[1].
Эрих Кестнер

## Предисловие

Эта книга есть история глубокой дружбы и непредвиденной, богатой событиями любви. Это история нашей с Ефимом Эткиндом жизни в Европе – большей частью в Париже, Берлине, Потсдаме и Бретани и, конечно, снова и снова, часто по три раза за год – в России, прежде всего в Санкт-Петербурге, который мы до смерти Ефима все еще называли Ленинградом. Я сознательно больше писала о нашей частной жизни, о наших буднях, которые мы любили более каких-то особенных событий, о наших бесчисленных путешествиях, и меньше – о всемирно известном литературоведе, публицисте, посреднике между культурами или переводчике. Пусть это делают другие, точнее сказать, другие это уже делали. Ни хронология, ни список публикаций, ни звания, ни почести, ни вошедшие в энциклопедии и справочники биографические данные не были мне интересны – только черты совершенно необычайного человека. О некоторых из них известно, но о многих нет. Мой контекст – это внутренняя генеалогия, генеалогия двух людей, которых жизнь абсолютно случайно свела вместе и которые уже друг друга никогда больше не отпускали. Вопреки тому, что было сказано и написано о нем его современниками, вопреки пережитым им гонениям и эмиграции, мы должны

[1] В оригинале: Melancholie und Freude sind wohl Schwestern. / Und aus den Zweigen fällt verblühter Schnee. / Mit jeden Pulsschlag wird aus Heute Gestern. / Auch Glück kann weh tun. Auch der Mai tut weh. Пер. с нем. Елены Мамоновой

представлять Ефима счастливым человеком – как Сизифа Камю. То, что я была вовлечена в это счастье, стала его частью, будет всегда поддерживать меня и останется скорбью моей и радостью, сплетенными с глубокой благодарностью. Если и возможно выразить квинтэссенцию этой жизни, страстно любимой им со всеми ее ужасами, испытаниями, успехами, наградами и личными отношениями, со всеми ее удачами и несчастьями в одной короткой формуле, то только строчкой стихотворения Рильке, которая могла бы принадлежать и самому Ефиму: «БЫТЬ НА ЗЕМЛЕ – ПРЕКРАСНО».

**Монумент**

- Этот человек – монумент!

Один мой приятель-коллега как-то в начале девяностых ворвался с этими словами в мой кабинет в Орегонском университете в Юджине, держа в руке увесистую пачку исписанных убористым почерком листов. От волнения он забыл постучать, поздороваться и проговорить обязательное «how are you today?»[2] – сразу понятно, что не американец. С замирающим голосом он наконец-то облек в форму то, что привело его в такое смятение: – Больше пятисот публикаций, просто невероятно! И представь себе: он приезжает сюда. Он уже здесь!

На меня все это не произвело большого впечатления. Никогда мне не привыкнуть, что в научных кругах человек – это в первую очередь не он сам, а его более короткий или длинный список публикаций. Масштаб, по которому тебя оценивают. У того, кто говорит сейчас с замирающим голосом, собственный список как раз из более коротких, и для меня это мало что значит. Но я знаю, он страдает от этого, мечтая написать свой магнум-опус, который непременно поразит мир. Не сомневаюсь, что однажды так и

[2] англ. «Как дела?» (здесь и далее прим. переводчика)

случится – голова у него золотая, и к тому же он трудяга и упорный малый, но пока еще опус не увидел свет. Прежде ему предстоит познакомиться с Монументом, причем по моему не менее упорному настоянию. Но об этом позже.

Скорее из вежливости, чем из любопытства я взяла в руки пачку листов и прочла: Профессор Ефим Г. Эткинд, кафедра русского языка, проживает в Париже, место рождения – Ленинград (бывший Петроград), выдающийся профессор, приглашен на один семестр в Орегонский университет, Юджин, в институт русского языка и литературы.

- Представь себе, он еще и в Красной Армии служил, – прервал мое чтение коллега. - Он точно живой монумент! Прежде чем мой посетитель успел собрать свои бумаги и исчезнуть также стремительно, как и появился – ведь я не выразила ожидаемого восхищения – мой взгляд случайно остановился на дате рождения Монумента – 26 февраля. Год рождения я по своей привычке сразу же забыла. И полно, что значит возраст?

Через пару дней Монумент собственной персоной стоял в моем кабинете. В американских университетах принято, что гости из других стран или учебных заведений передаются от сотрудника к сотруднику как бы по эстафете, чтобы помочь приезжим познакомиться с людьми и одновременно разделить на всех обязанности по их приему. Будучи руководителем института германских языков и литератур – он на одном этаже с кафедрой русской литературы – я автоматически стала номером один в списке визитов вежливости для русского гостя. К тому же по-немецки он говорил не просто бегло, а прямо-таки безупречно, по-английски же – скорее неохотно. При этом руководитель института русского языка, японец, с его точки зрения, владеющий русским лучше, чем английским, с облегчением воспользовался возможностью совместить полезное с приятным и оставить на меня знаменитого, но скорее неразговорчивого гостя. Коротко представив мне его, коллега тут же испарился.

И вот уже Монумент сидит передо мной: серьезный, сдержанный, в старомодных роговых очках, со смешанным выражением неприязни и едва различимой скорби на лице. Обычного роста, обычного сложения, привычно вежливый, но нелюбезный, как будто не знает стандартных дежурных оборотов ни по-немецки, ни по-английски. Или просто не считает нужным их произносить? Маленький росток тайной симпатии зародился у меня к нему: он не хочет вести себя, как принято, чурается светской беседы, он, священная корова общественного внимания в здешних краях. Я спросила его, где он так сказочно научился говорить по-немецки, сознавая, что он, скорее всего, уже тысячу раз слышал этот вопрос и считает его дурацким. Но что мне еще делать с сейфом, от которого я не знаю кода?

Красная Армия – проносится у меня в голове. Я мало что о ней знаю – пара клише из учебников истории да то, что когда-то от кого-то слышала. Этот человек выглядит как прирожденный ученый, мыслитель от Бога, не подходит он под созданный народной молвой образ захватчика Берлина, который только тем и занимался, что насиловал сотни немецких женщин – почему ж он так закрыт и отвечает односложно? Я вновь поняла, насколько американская культура повседневного общения все-таки облегчает жизнь. И все же я как будто издалека слушала еще что-то о немецкой гувернантке, которая, можно сказать, играючи, научила русского мальчика языку, и о том, как близка ему немецкая литература. «Хватит загадок и противоречий» – подумалось мне. «Очнись, Христос замёрзший, весна стучится в дверь»… – старинный немецкий хорал вдруг возник у меня в памяти. Пусть сначала оттает. Может, мы больше и вообще не встретимся в университетской суматохе. Вскоре мы попрощались. Это получилось как-то неуклюже, привычные слова застревали у меня в горле.

Гость ушел, и вереница противоречий закружилась в моей голове: офицер Красной Армии, у которого была немецкая, то есть швейцарская гувернантка? Феодализм в советское время? Кто мог бы себе это позволить?

Звучит, как о волшебном в своей изнеженности детстве Набокова царских времен. Но и настолько стар он не может быть. Или его отец имел высокий чин в свите Сталина? Надо признать, все мои знания о России – это то, что почерпнуто из Достоевского и Чехова, а в остальном очень скудны. Как мучительно сидеть лицом к лицу с человеком, о стране которого я практически ничего не знаю, в то время как он, кажется, чувствует себя в нашей культуре как дома! Могла ли я догадываться, что в следующие 10 лет каждый мой день будет связан с Россией?

Однако мне пришлось до поры до времени позабыть об этом чувстве неловкости. Появились более важные вещи. Внезапно позвонила из Германии дочь – у моей матери, скорее всего, инсульт, и нужно готовиться к худшему. Сломя голову я бросилась домой, чтобы успеть застать её живой.

**Осиротевшая**

Четыре недели спустя я снова вернулась – осиротевшей. Кто сказал, что сиротами чувствуют себя только маленькие дети? Боль потери разрывала меня изнутри. Мне было почти пятьдесят, но я чувствовала себя совсем одинокой – «покинутой душой матери», mutterseelenallein. Неповторимое немецкое слово! Ефим восхищался им. Некоторые слова для него были мыслимы только по-немецки, без возможности перевода.

Он не успел познакомиться с этой удивительной матерью, я до сих пор в обиде на судьбу за это. Но я знаю, он любил ее – уже только за ее неисчерпаемые присловья и поговорки, исполненные берлинского остроумия и еврейской иронии, аналитического духа и величайшей доброты. Он присваивал ее выражения и цитаты, постоянно использовал их, так же как мои братья и я, сохраняя этим живой среди нас ту, которой они принадлежали. Он любил ее смех, ее глубокомыслие и её исконную женскую мудрость. Один мой старинный русский друг, на склоне лет начавший

верить в переселение душ, много позже натолкнул меня на мысль: Может быть, это твоя мать послала тебе Ефима, или душа ее поселилась в нем, после того, как покинула тело.

Отчаянная фантазия!

Три недели в Германии были тяжелы. Надо было прощаться не только с особенным человеком – с целой эпохой и с огромной квартирой, где повсюду жили самые разные следы ее, следы нашей молодости. Сегодня я знаю, что наша квартира во многом очень похожа на ту, которую Ефим позднее опишет в своей «Барселонской прозе», в историях своих воспоминаний, на ту, где он провел годы своего детства с родителями и братьями, до тех пор пока все не было потеряно после ареста имущества. Если у него была немецкая, т.е. швейцарская, гувернантка (позже и французская), то к нам время от времени приходила русская домработница по имени Шура, от которой мы, правда, не выучили ни одного русского слова, тогда как Ефим в детстве приобрел кристально чистый немецкий. В то время как его родители обставили двенадцать комнат в центре Ленинграда (Петрограда) в стиле ампир, у нас стояла бидермейеровская мебель моей еврейской бабушки с материнской стороны, эта мебель даже нашла отражение в книжке со стихами и рисунками моей мамы, повествующей о моих маленьких повседневных приключениях в раннее послевоенное время, от руин и развалин которого у нас детей остались такие же неясные воспоминания, как и о скудности пропитания для семьи из десяти человек: дядя, тетя, моя мать и семеро детей, трое из них – мои родные братья, остальные двоюродные братья и сестры. О том, чтобы мы жили все вместе, просил еще мой отец, во время войны выславший нас из Берлина к родственникам в Карлсруэ, незадолго до того как в 1944 году погиб в Румынии от свирепствовавшей тогда среди солдат дифтерии. Мне тогда еще и двух лет не было, и я не помню его. Мне бы ужасно хотелось знать его!

Все мы любили эту квартиру, каждый из нас связывает с ней важные события, но прежде всего – ту атмосферу, которую моя мать смогла создать даже в те времена, когда у нас было только две комнаты на пятерых, и было затруднительным поддерживать ощущение комфорта и красоты в такой тесноте.

Но это было именно то, что ей загадочным образом всегда удавалось, и посреди развалин мы, глядя на нее, учились любви к вещам и бережному с ними обращению. Стулья, стоявшие у моей берлинской бабушки на кухне, нашли у нас свое почетное место в гостиной и использовались там с великим уважением. Кресла, столы, серванты и шкафы – вся эта мебель рассказывала истории о человеке, жизненных обстоятельств которого мы не успели узнать, но который присутствовал среди нас в воспоминаниях матери и жил с нами на равных в бесчисленных маленьких эпизодах, так, что казалось, мы были хорошо знакомы: наша бабушка, темноволосая нежная мать моей матери. По-детски бессознательно мы чувствовали непрерывность семейной традиции, гуманистической, хотя об этом никто не говорил, сформированной в огромной любви к искусству, в особенности к музыке и литературе. Будучи с ранних лет на удивление эмансипированной женщиной, противницей всяческого мещанства, бабушка к началу двадцатого века получила профессию медсестры и скоро уже стала известна своим особенным сочувствием к тяжелобольным и страдающим душевными недугами людям. Позже она познакомилась с моим дедом, который работал врачом в той же больнице. Ни один из нас никогда не забудет тысячу раз слышанного эпизода, регулярно повторявшегося, когда дед узнавал, что бабушка, выписывающая счета в качестве ассистентки его собственной частной практики, тайно повышала его смехотворные, хоть и гуманные цены на одну марку, чтобы обеспечить хотя бы сносную еду для своего занятого тяжелым трудом мужа. По его на всю квартиру раздававшемуся угрожающему крику - МАРТА!!! – подслушивавшие дети, моя мать и ее сестры, понимали, что

вновь вскрылся обман. Не помогали и протесты самих пациентов в пользу моей бабушки; потом они приносили продукты – овощи, мясо или яйца, чтобы выразить свою благодарность доктору, который лечил их за мизерный гонорар и считал это само собой разумеющимся.

Когда позднее мы, уже взрослые, со всех концов света (Голландия, Франция, США, Азия) собирались дома на Рождество, мы вновь окунались в эту замысловатую смесь соблазнительных запахов маминых рождественских сластей – в детстве мы часами, целыми вечерами помогали их делать, все четыре недели подряд – кухонной техники тогда еще не было – эти пятнадцать сортов вкуснейшего печенья, в больших пакетах мы разносили его в дома тех семей, у которых денег было еще меньше, чем у нас, но где были дети, с таким же нетерпеньем как мы ожидавшие праздничных вкусностей. Готовое печенье в жестяных банках хранилось на балконе, до тех пор пока мы – каждый на своей тарелочке – не обнаруживали его уже под елкой. Иногда случалось стянуть что-нибудь и с чужой тарелки, и строгая кара ждала преступника, если воровство раскрывалось. Нам сейчас по семьдесят и более, и когда мы ходим друг к другу в гости, то вспоминая об этом, удивляемся нашей тогдашней беззаботности в разрушенном мире. Моя мать, так же как и десять лет спустя Ефим, умерла всего лишь через три недели после начала болезни – инсульт. Но я ни секунды тогда о Ефиме не думала, для меня он был тогда еще господином Эткиндом, недоступным монументом, далеким-далеким. Как будто чудом нам, детям, из-за работы рассыпавшимся по всему свету, удалось в один момент прибыть в Карлсруэ из Голландии, Франции, США, Африки. Моя дочь медсестра, и когда она позвала нас, мы поняли – для прощания.

Мы день и ночь сменяли друг друга у ее постели, следя, чтобы врачи и медсестры с санитарами не доставляли ей ненужных мучений, мы гладили ее, разговаривали с ней, хотя она и не могла ответить, ведь скоро она уже впала в кому, охраняли ее сон. У нее не было болей, она умерла без долгой борьбы

– только дыхание усилилось и – тишина. Это случилось ночью, у нее был тогда мой младший брат. Я помню, как его голос сорвался, когда он позвонил, чтобы сообщить известие. Мы молча встали, наспех оделись и пошли в расположенную поблизости больницу, чтобы последним взглядом забрать ее в себя.

Панихиды никто из нас не забудет. Священника мы приглашать не захотели, вместо этого говорил мой старший брат, который, с трудом держа себя в руках, вспоминал события нашего детства и особенную роль нашей матери в них: ночи в подвале во время бомбежек, разрушенный Карлсруэ, жестокие послевоенные зимы, когда мы около двух лет провели в бомбоубежище, потому что квартира была непригодна для жилья, неразрушимый оптимизм матери, и, прежде всего, ставший легендой праздник Рождества в этом же бомбоубежище, на который мы пригласили весь дом. Позже я написала об этом небольшой рассказ, который я приведу здесь в нужном месте.

**Эпилог**

Когда я через всю Америку мчалась к моей смертельно больной матери, я впервые увидела раненых первой войны мистера Буша-старшего в Персидском заливе. Они ковыляли по аэропортам, в которых у меня были пересадки, их катили на каталках, а пассажиры молча отводили испуганные глаза при встрече с ними.

Уже многие недели всей стране врали: по официальным сводкам не было ни смертей, ни наркотиков, ни раненых, ни поражений. Вместо этого: блокировка новостей, прежде всего: блокировка фото- и видеосюжетов. В Орегонском университете, в Юджине, мы уже в самом начале войны организовали еженедельные встречи для всех интересующихся, прежде всего, для студентов, на которых передавалась и обсуждалась с трудом

добываемая информация о войне. Там всегда яблоку упасть было некуда. Приехав в Германию, я в ужасе увидела подлинные видеосюжеты о войне. «Наши ребята», для которых на фронт посылали кока-колу и прочие столь же необходимые вещи, были совсем не так уверены в победе, как нам внушали по американскому телевидению. Неприкрытый страх читался в их глазах. Смерть товарищей деморализовала их так же, как сейчас, в 2011-м/ 2012-м году, когда я пишу эти строки, немецких солдат потрясает смерть в Ираке и Афганистане и до сих пор в Израиле и Палестине. Во всех этих случаях нужно (было бы) получать согласие народа на ведение войны, точнее: согласие народа на то, чтобы им манипулировали. Хочется надеяться, что вступление в век массовых информаций окажется удачным в силу того, что теперь нельзя будет так много лгать, хотя бы в каких-то случаях нельзя.

В конце концов, в мой день рождения мы справили поминки по матери. Пригласили трех пожилых женщин, которые знали ее в течение почти пятидесяти лет. При этом ко всем трем она всегда обращалась на Вы, несмотря на то, что они были действительно дружны. Как старые добрые парки сидели они и рассказывали о своем времени, будто читали из учебника по истории буржуазии. Они всегда были против нацисткой идеологии, частично в пику мужьям. Мою мать они любили на свой сдержанный манер, особенно пожилая тайная советница, с которой они могли разделить воспоминания о старом Берлине. Перед поминками она отвела меня в сторону: «Я знаю, что твоя мать этого точно сама тебе никогда не говорила, но мне она рассказала, как ты ее невероятно баловала, когда она была у тебя в гостях в США, и какое это для нее было наслаждение». Как она была права! Ни единым словом не обмолвилась. И все же: в те часы присутствие матери было ещё столь сильным, что местами в рассказах даже смех проскальзывал. Вся квартира была в цветах. У моих братьев независимо друг от друга возникла одна и та же мысль, из-за которой они и встретились случайно в цветочном магазине: цветы ко Дню Рождения младшей сестры,

вопреки всякому горю. Но это был подарок для всех нас, что-то живое против смерти, что-то искрящееся против сирой покинутости, которая настигнет нас позже – на обратном пути. В шкафу матери я нашла подарок, который она загодя для меня приготовила: чудесная ночная рубашка. Я носила ее, пока она в клочки не порвалась.

**Снова в Юджине**

Друзья встретили меня в аэропорту и увезли на выходные в одно затерянное в горах местечко, чтобы не дать горю поглотить меня. Они оставили меня в покое, но не в одиночестве, терпели мои слезы, мое молчание, мою неспособность улыбаться, гуляли со мной, готовили для меня и иногда обнимали – без слов. Слова не были нужны. Многие из них знали мою мать – ей уже было почти восемьдесят, когда она села в самолет и впервые полетела в Америку, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли ее младшей и единственной дочери там хорошо живется. К концу ее четырехнедельного пребывания она уже осмотрела всю Орегону, познакомилась со всеми моими друзьями и даже докторантами, а также с родителями некоторых из них – тех, что приглашали ее к себе. Подобно всем великим умам она принадлежала к тому сорту людей, у которых горизонт в старости становится все шире, а предрассудки отпадают, словно ненужный балласт. Она становилась все красивее, седовласая дама с высокими скулами и зелеными раскосыми глазами, с глубоким голосом и всегда готовой вспыхнуть на лице улыбкой, с ее интеллектом и великодушной и практичной житейской мудростью. Как можно добровольно лишиться такой матери? Ее можно только постепенно выжать из себя, как при рождении наоборот, чтобы потом дать ей снова занять окончательное место в моей жизни. Я больше не могу ей позвонить, чтобы спросить из США про рецепт или про героя Фонтане, или про какое-то событие моего детства (все-таки мне годами

автоматически хочется это сделать), но она здесь, и фраза «Мама бы сказала…» всегда возникает среди моих братьев, детей и внуков, если речь идет о чем-то смешном, странном, абсурдном или просто свойственном человеческой природе. Назад в кабинет в Орегоне. Звонок телефона. В моем сознании все еще кружат обрывки слов, образов, борьба с врачами за спокойную кончину родного человека, неприятная родственница, поочередное дежурство у постели матери круглыми сутками, ее, лежащей в коме, почти улыбающееся, неожиданно помолодевшее лицо, поминки, проникновенная речь брата, мучительно быстрые отъезды – мы ведь все жили в разных странах, и нужно было спешить обратно на работу, чувство, как будто лишаешься корней – я неохотно снимаю трубку.

– Алло?

– О, что-то случилось? По Вашему голосу я слышу, что-то плохое произошло.

– Действительно, случилось нечто очень плохое. Моя мать умерла – (Я уже поняла, что говорю с Монументом, хоть он и не назвал своего имени, как не будет этого делать и в следующие десять лет, звоня по телефону – может быть, пережиток сталинского времени?).

– Это страшно. Я точно понимаю, что у Вас сейчас на душе творится. Когда моя мать в России умерла, мне нельзя было даже на похороны в страну приехать.

– Почему?

– Ну, потому что я был персона нон грата – выгнали меня.

– Простите, я помню. Звучит жутко. Но почему Вы позвонили? Могу ли я вам быть чем-то полезна?

– Это, вообще, не срочно, мне нужен кто-нибудь из студентов, по возможности, немецкоязычный, кто хотел бы подзаработать и мог бы сделать небольшой перевод.

Я пообещала помочь, и разговор вскоре закончился.

Уже после меня вдруг ошеломила откровенность нашего общения. Этот голос из ниоткуда был полон такого живого тепла и сочувствия, в нем не было ничего от неприязненности первой встречи.

Почему я чужаку рассказала о сокровеннейшем моем горе? Каким образом этот человек, пришедший с холода[3], сразу же услышал, что со мной что-то не так? Кто он такой, что так прямо может говорить о чувствах, о своих личных чувствах с практически незнакомой ему женщиной, и к тому же – по телефону, который он, кстати, как я узнала позже, совсем не жалует? Одна загадка за другой. Но все они тонут в повседневности до тех пор, пока через две недели моему восхищенному коллеге не приходит в голову идея, чтобы я с ним вместе пригласила Монумент ко мне домой. Он все приготовит. Сказано – сделано. Гость пришел, Ирвинг занялся кухней, я радушным приемом. После мы долго говорили о литературе, России и правилах игры в нашем университете. Затем он рано откланялся – почти как американцы, большинство из которых расходится по домам к одиннадцати вечера. Ужин ему, однако, понравился. (Позже я узнаю, что он посчитал нас с Ирвингом парой, то есть единой системой. В России никто бы не стал готовить целое меню для гостей в чужой кухне).

Прошло еще две недели, пока однажды мой взгляд не задержался на листке отрывного календаря в моем кабинете: 26 февраля. Что-то было связано с этой датой… Совсем недавно я ее где-то видела…

После некоторого размышления моему внутреннему взору предстает угрожающе огромный список публикаций Монумента. Точно – сегодня его День рожденья. Позаботится ли о нем кто-нибудь в этот день? Может, он торчит один одинешенек в своем углу – drinking alone with the moon?[4] Я уже достаточно хорошо привыкла к американскому образу жизни, чтобы не

[3] Аллюзия на детективный роман Джона Ле Карре «Шпион, пришедший с холода» (англ. *The Spy Who Came in from the Cold*, 1963)

[4] Приведенная в английском переводе строка китайского поэта династии Тан Ли Бо (701-762/763) «Под луной одиноко пью», пер. на рус. Александра Гитовича

допустить этого из соображений вежливости. Итак, я написала записку с поздравлением, приложила к ней свою последнюю опубликованную книгу в качестве небольшого презента, в записке спросила, не хотел бы он встретиться со мной вечером в свой День рожденья, если он, конечно, не запланировал ничего другого. (Позже я узнаю, что в России дни рождения не особенно празднуют). Все это я положила в его почтовый ящик. Через несколько часов пришел ответ, тоже в записке: он приглашен на ужин к своему руководителю кафедры русского языка, японцу, но собирается уехать домой пораньше и будет рад разделить со мной бокал вина. Адрес прилагался.

В назначенное время я стояла перед дверью с бутылкой вина в руке. Он был уже дома – квартира оказалась вполне сносной (знаменитое американское changing places – обмен квартирами с американским коллегой). После пары первых фраз, мы вскоре начали говорить по-настоящему, говорить, говорить о моих книгах, о его книгах, о его жизни, о моей жизни (ах, Вы с Ирвингом не вместе?), бутылка давно опустела и на столе появилась водка (по-моему, она у каждого русского всегда где-нибудь да припрятана, в каком бы уголке мира он не находился). Постепенно строгость уступила поразительному очарованию. Мы могли смеяться вместе или быть серьезными, не опасаясь не соответствовать этикету, просто два человека, без преград и масок, без страха и надежды. Я впервые почувствовала его удивительную способность проживать момент.

Мы не заметили, как пролетело время.

– Немецкий, – в какой-то момент начал говорить он – это язык ангелов. По крайней мере так считает величайшая русская поэтесса - Марина Цветаева. Для меня это была первая лекция о России (мне нравится слушать такие лекции, если я о чем-то не знаю). И поскольку Цветаева написала знаменитую поэму «Крысолов», которую мне обязательно надо прочитать, ведь я тоже написала книгу о литературных метаморфозах мифа о крысолове

в Европе (к сожалению, не зная поэмы Цветаевой), он подошел к полке, взял томик стихов и начал мне читать вслух своим глубоким голосом на этом чудесно мелодичном языке, который я в 20 лет начинала учить в первом семестре и потом снова забыла… Он читал и читал… и читал… и время замерло.

Как это было сказано у Данте в Божественной комедии о Паоло и Франческе да Римини, величайшей любовной паре средневековья?

Quest‘ sera non leggevano davanti.

И в этот день они больше не читали[5].

И в этот день мы больше не читали[6].

**Орфей**

*Путник, что бредет сквозь отжившие миры, Ты, проникающий в ущелья памяти, Ты, снимающий покровы тени для света сознания, твоя боль и твое неукротимое счастье – что за путешествие в гибельные края! Внезапно они вновь наполнятся светом, зеленеют, кипя жаждой жизни и богатством красок! Свою любовь, уже ставшую воспоминанием, ставишь ты против царства смерти, у зверя и у камня песнь твоя плач вызывает – и лишь одна может тебя понять: Персефона, царица подземной страны. Одна она, живая и мертвая одновременно, живет памятью, подобно тебе. Зная, что вновь и вновь должна спускаться к призракам, теням, тем, что лишены надежды, она набирается двойной силы в месяцы света, чистой полноты бытия мира горнего. Она знает, что ты обернешься, сделаешь это, чтобы истинно жизнь возвратить любимой – в песне, в строках стиха, в тоске твоей, что станет тоскою всех тех, что любили. Кто смог бы*

[5] Подстрочный перевод Е. Мамоновой

[6] Перевод Дмитрия Мережковского, 1885 г. Ср. наиболее известный перевод М. Лозинского: «Никто из нас не дочитал листа».

*долго вынести банальность счастья? Снова свадьба, дети и пошлость супружеского быта. Вместо любовных песен – колыбельные, вместо музыки, что есть зов в отринутость (как говорил Эрнст Блох) – служба музыканта в государственном оркестре. «Тот, кто счастлив, не пишет стихов», - прочла я у Зигмунда Фрейда…*

*Я путешествую с Орфеем и вновь отвоевываю у времени его свечение. Являются сны, не снившиеся никогда, и из моря забвения выходят утонувшие спутники, и добрые, и злые. Эвридика – есть ставшее образом воспоминание. Кто не оглянется – позволит ей соскользнуть во тьму, остаться неплодной, мертвой материей, грузом и тягостью, что подобно капкану сдерживает жизнь. Какая мощная картина: ни звери, ни камни, ни тени не забудут ее слез, ее алмазами они станут, посреди боли на краткий миг возвращенные себе, своему и чужому агрегатному состоянию души, томящейся по освобождению – в любви, музыке, воспоминании. Они всегда будут ждать Орфея. А вместо этого придет Данте и подарит им новую жизнь в других песнях.*

*Ах, Орфей! Ах, Данте! Ах, воспоминание!*

Уже на следующий день я начала понимать, что значит иметь дело с Монументом. Монумент исходил из того (так он сказал), что наше первое близкое знакомство должно было стать последним.

Поскольку ожидался приезд его давней подруги, которая впервые смогла выехать за пределы страны – по его приглашению. Она будет жить у него. Начался хоровод приемов, мероприятий, приглашений на обед со стороны университета, от которых невозможно было уклониться. Монументы, в конце концов, принадлежат всем, являются частью общественной жизни. Всем хочется смотреть на них, восхищаться, задавать вопросы, даже потрогать, так или иначе стать причастными нимбу, хотя за пределами кафедры русского языка все так же мало знают о Красной Армии,

как и я. Или именно потому, что не знают… Русская подруга прибыла и оказалась милой немолодой женщиной, которая когда-то была студенткой, а затем сотрудницей Монумента, а теперь с неизменной преданностью последовала за ним, чтобы жить с ним, готовить для него. Также – как мне было сказано – из нее мог бы выйти талантливейший переводчик некоего английского лирического поэта, но, к сожалению, она перестала заниматься переводами. Больше ничего поначалу известно не было.

Началась двойная жизнь: в то время как я старалась избегать официальных встреч, как бы сами собой раз в неделю возникали дни приема, в которые Монумент после семинара приходил ко мне домой. В первый раз на диване случайно оказался сборник эссе Иосифа Бродского с большой фотографией русского нобелевского лауреата. Мне его подарил Ирвинг, заметив, что это как-то связано с тем, что Монумент был изгнан из России. Монумент сразу увидел его и наморщил лоб:

– Почему это здесь? - спросил он со свойственной ему прямотой, вдруг снова с неприязненным выражением, как будто бы за этим могло быть какое-то скрытое намерение. Я почувствовала, что с этим была связана какая-то тайна, что-то, что меня не касается, но принадлежит его боли и его одиночеству.

– Просто так. Я как раз читаю и восхищаюсь прекрасным английским автора.

Он не стал вдаваться в подробности, не захотел больше говорить об этом.

Мы вмести ели, осматривали дом, разглядывали фотографии моих детей в кабинете, обсуждали что-то, играли с моими кошками, сидели в саду или слушали музыку. Меж повседневным и исключительным потихоньку стала прирастать нежная близость, которая появляется после первого опьянения и дает проникнуть во внутренние миры другого, заставляет удивляться и

спрашивать, и узнавать заново, доверять, сначала осторожно, а потом все более и более глубоко. Это парение меж категорий, касание глаз и страстное погружение в необычайность другого. Мы все еще, ничего не подозревая, болтали, мол, роман наш (как, старомодно романтизируя, говорят русские) завершится в конце семестра, а между тем долгая, длиною в десять лет лекция по культуре и истории его страны для нас уже началась.

Все-таки я предчувствовала несколько иное продолжение, уезжая с подругой на неделю весенних каникул – springbreaks - в Сан-Франциско по знаменитой трассе номер 101. Это был полный прелести и внутреннего драматизма участок побережья у самого Тихого океана. Палатки на щедро отведенных для кемпингов площадках мы всегда раскидывали так, чтобы море встречало нас с восходом и провожало ко сну вечером. Но мои мысли были далеко, в Сиэтле, где Монумент с русской подругой должны были встречаться с его дочерью. Она специально приезжает из Канады, чтобы посмотреть на будущую жену своего отца. Я не ослышалась? Это и правда как будто роман, только, плохой роман, как мне кажется. Это вопрос чести – так он мне объяснил – жениться на этой давней подруге, ведь у нее от него дочь, которую он почти не знает, потому что был выслан из страны, когда ей было два года. Теперь ей уже шестнадцать или семнадцать, и он обещал сейчас – лучше поздно, чем никогда – все узаконить. Они все вместе будут жить в Париже. У меня земля ушла из-под ног. Таков план – у меня в голове что-то разорвалось. – Этого не может быть, – думала я. Из глубины каких веков взялись такие обеты? У нас времена Пушкина, Гончарова ли все-таки двадцатый век на дворе? Разве в этом возрасте нужно уже придерживаться условностей, совершать такие обывательские и такие патетические поступки? Ведь речь идет не о деньгах или материальных гарантиях, все это обеспечено.  И не о любви! Скорее об огромной благодарности – она ухаживала за его старой матерью, когда он не мог этого делать сам из-за

запрета на въезд в страну. Она мать его дочери. И теперь Монумент должен таким способом сделать себя еще и монументом порядочности?

– Ты любишь ее?

– Это не имеет значения. Я дал слово.

– Вы оба будете несчастны.

– Это неважно.

– А мы?

– Что ты говоришь? Ты будешь дальше руководить своим институтом в Орегоне и писать книги. Ты ведь эмигрировала – уехала из Германии навсегда.

– Типично мужское поведение, – подумала я. С глаз долой – из сердца вон. Но в его голосе слышалось чувство безысходности. Он прав. Гордость не дала мне выдать зарождающийся ужас. Я уже знала, что он хотел жить только в Европе. А я уехала из Германии, потому что в университетах не было мест. У нас нет шансов. *Что делать?*

Я бросилась к Ирвингу: – Вы к себе на отделение (сравнительного литературоведения) не сможете его пригласить на следующий семестр? Коллега старался, вел переговоры с нужными людьми, все средства бросил на исполнение этой маленькой надежды. Монумент давно уже нашел свое место в его сердце. Ирвинг один знал, что я в это время уже была беременна от Ефима. Мне было сорок девять лет, и я подумала: это знак. Это не роман, а реальность – реальность, которая все больше захватывает меня. Но стрелки в другом отделении уже были поставлены по-иному.

Нам были подарены еще две недели, которые мы вместе прожили в его квартире, пока его подруга летала к друзьям в Израиль. Как будто бы никогда и не было по-другому. Из вечерней любви мы ныряли в приливы дел и праздности – то в уличный шум, то в домашнюю тишь. Я напевала в ванной, когда он мыл посуду. Заблудившись в знаменитом саду рододендронов, мы кормили с рук серых белок, каких нет в Европе, и

старались удержать солнце, чтобы оно не заходило слишком рано. И вот мы оказались вне нас.

«Она была словно пламя», - так написал Кнут Гамсун в своем романе.

Мы были словно пламя.

– Можно, я тебе кое-что подарю на прощание? – спросил он, когда подошло время.

Он принес мне строгие часы с черным циферблатом – великолепные часы. Как он угадал, чего бы мне особенно хотелось? Он не знал того, что Фрейд говорил об эротическом значении часов. «Время, - всплывает у меня в голове – это такая странная штучка». Так начинается монолог маршальши из «Кавалера розы» Гофмансталя, в тот момент, когда она понимает, что ее возлюбленный покинет ее.

«Я поклялась себе, любить его истинно, так чтоб любить и его любовь к другой…»

- Это противоестественно, - подумала я. Мазохизм. Кто так сможет жить? Любовь без обладанья – как ветхие рыданья. Я с грустью подумала о своем ребенке. Несколько недель я уже тихонько разговаривала с ним и чувствовала, как растет робкое счастье. Сейчас у меня впервые было бы достаточно времени, средств и места для ребенка, уже не говоря о том, что у него был бы настоящий отец. Но я не смогла убедить маленького остаться. Совсем тихо он угас. Мое тело больше не было настроено на него. Куда мне с моим двойным горем?

Carpe diem[7]. Насладимся последними часами. Кто знает, что будет дальше?

В аэропорту я спряталась за колонну. Монумент должен был достойно проститься с делегацией, которую я видеть не хотела. Что им всем от него нужно? Глаза светятся и у мужчин, и у женщин. Лучше пригласили бы его

[7] лат. Будь счастлив в одну секунду, букв. «лови день».

еще хоть на один семестр! Он сказал: – Вот теперь у меня будет возлюбленная в Юджине.

Он говорил в будущем времени, а звучало это, как будто все закончилось и ушло в прошлое. Мне не понравилось слово «возлюбленная». Оно звучало нарочито поверхностно, элегантно, высокомерно – одним словом, искусственно, отдавало прошлым веком и женским бесправием. И напоминало о Марии Прекрасной, той, что была моложе его на 40 лет – он мне рассказывал о ней. – Та, чье лицо не забудешь, - односложно ответил он на мои расспросы. – Только лицо? – спрашивала я себя.
- Кроме лица у нее ведь было еще и тело? После смерти его жены она против его воли вытащила его из депрессии, после чего их с Ефимом три года связывала близкая дружба. Когда он вернулся после гостевой доцентуры, она внезапно оказалась замужем за его некогда лучшим другом.

Лучший друг – это тот, чья книга лежала у меня на диване, Иосиф Бродский, ради которого Монумент стал Монументом, отказавшись во время показательного процесса в 1964-м высказаться о нем так, как этого ожидало правительство. И вместо предусмотренных от пяти до семи исправительных работ получился год ссылки. Позже я прочитаю его книгу об этом скандале, но тогда я этого еще не знала. Книга была переведена на многие языки и полностью изменила его жизнь.

Так планируемый союз с русской подругой скорее формальность? Вопрос за вопросом. Самолет взмыл в воздух. Пока не в Европу, пока к Восточному побережью, на Летнюю Школу в Вермонт. Но Восточное побережье – это на другом конце света.

**Четвёртое июля**

В следующие недели каждый из нас занимался своими делами. Но во мне зрело крошечное золотое зерно, оно излучало свет и согревалось от воспоминания. Hoping against hope[8], – говорят американцы, замечательное выражение. Я надеялась вопреки всему и знала вопреки самой ясной логике: Не могло это быть просто романом. Или я настолько мало понимаю в людях?

Я стала набирать его номер, заранее зная, что живет он в одном из этих университетских гостевых домов с телефоном в коридоре и что ему в голову не придет, будто этот звонок для него. Но именно в день священнейшего государственного праздника, четвертого июля, когда все говорило за то, что коллеги и студенты должны были пригласить его на один из традиционных пикников, заканчивающихся фейерверком, меня магическим образом потянуло к телефону – Hoping against hope. Долгие гудки – перед глазами у меня всплыли длинные, плохо освещенные, с неприятным запахом, пустынные коридоры, поглощающие звук моего звонка. И внезапно голос Монумента.

– Алло? Это ты?

Как и в первый раз, я не смогла вымолвить ни слова. Откуда он знает, что это я, у него сотни знакомых по всей Америке. Но он точно обратился именно ко мне, он даже удивлен не был. – Почему ты дома? – спросила я, а сердце билось так, будто хотело предупредить о том, что сейчас свершится нечто окончательное. Что-то вроде смущения в его голосе. – Откуда мне было знать, что это столь сильно? – вырывалось у него. – Сможешь приехать?

– Да – нет – я не знаю. Мне надо еще работать, а потом в Германию к детям. Но я постараюсь – может, перед поездкой – посмотрим.

[8] англ. «Надеяться несмотря ни на что»

Его голос звучал, как надорванная струна, так, будто он был обезоружен и повержен собственными чувствами. Что-то произошло с тех пор, как мы расстались. У Готфрида Бенна в одном из его последних стихотворений об этом сказано так:

*И ты, любовь, о, как бедны вы оба,*
*шарманщики глухонемых дворов*[9].

Я уже не помню, как добралась до Вермонта, как нашла эту прелестную викторианскую комнатку у Аглаи, будто во сне разыскала эту русскую Летнюю школу, пробиваясь сквозь бесконечное множество говорящих по-русски людей и расспрашивая их о Монументе – их лица освещались, как только я произносила его имя – как он совершенно неожиданно выбежал мне навстречу из кабинета, наполненного табачным дымом и жужжанием людских голосов, как сияя, обнял меня и тотчас же отстранился (позже я узнаю, что он весьма неохотно допускает посторонние взгляды в мир своих чувств), и как мы вечером пили вино в доме гречанки с русским именем из «Идиота» Достоевского – Аглаи, стараясь не думать ни о чем, кроме того, что мы вместе, днем и ночью, днем и ночью. И отвага вновь горяча, и тоска друг по другу вышла из берегов[10].

Я подарила ему стихотворение Гёльдерлина, которого он не знал.

*Мне бы лето еще одно, всесильные!*
*И еще осень одну, пусть дозреет песнь,*
*Пусть усладится сердце, дайте*
*Допеть, а там пусть смерть приходит*[11].

[9] Перевод Алексея Прокопьева

[10] Ср. «Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag.
Reiten, reiten, reiten. Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß»/ « В седле, в седле, в седле, день и ночь в седле, день и ночь. В седле, в седле, в седле. И остыла отвага, и тоска разрослась»//Р.М.Рильке «Песня о любви и смерти корнета Кристофа Рильке». Пер. Елены Суриц.

[11] Перевод Вячеслава Куприянова

Так взбирались мы ввысь по уступам мгновений, прочь от будущего.

В Вермонте было жарко и душно, спасал только автомобиль с кондиционером. Мы бесцельно ехали по идиллической местности. Что это за озеро? Тодд Лейк, темный и влажный алмаз в лоне вермонтских гор.

Самозабвенные и увлеченные, будто дети у врат рая, в мгновение ока мы завладели им. Плавать мы оба любили страстно, но он этому выучился поздно и не мог так долго как я держаться на воде. Отсюда его беспокойство, когда я заплывала слишком далеко, и он слишком надолго терял меня из виду. Никого не было вокруг, ничьих взглядов, ничьих упреков в нашем безрассудном необузданном счастье.

После этого он должен был вернуться, чтобы попрощаться со своими русскими друзьями. Я начала немного понимать, что это такое – русская интеллигенция. Это была группа людей по всей России, большей частью из Москвы и Петербурга (тогда он еще назывался Ленинградом), людей искусства и науки, которые вопреки политическому давлению оставались верны заветам творчества, рисковали не только головой, но и семьями, и друзьями, общая и личная судьба которых выработала единый язык, в котором за словами всегда скрывалась вторая действительность, и все имело двойной смысл. Я почувствовала что-то от той близости, которая из этого исходила. Они были как незнакомые друг с другом братья и сестры, исполненные уважения к другому, мощной жаждой жизни, жадным вниманием к жизни других людей в силу стесненности собственной.

Еще одно свидание было у нас. Мы чуть не разминулись. Можно ли где-нибудь чувствовать себя более потерянным, чем в этой гигантской стране, в убогом мотеле (они все выглядят одинаково), не в силах найти друг друга? Где все люди на одно лицо и вспоминаются безотрадные фильмы Джармуша, рисующие потрясающее одиночество, рев тихоокеанской железной дороги

издалека – более странно, чем в раю[12] – или картины, как у Хоппера, где время и холод неразъединимы и, кажется, неотменяемы в безвыходности золотой клетки пошлости?

Каким-то течением нас снова прибило друг к другу, и не было времени думать, почему и как.

Hic Rhodus, hic salta![13]

Монумент должен был ехать в Монреаль, а оттуда в Торонто, где жила его дочь. Какой черт подстегнул меня в нежелании допустить, чтобы это прощание стало прощанием, в сопротивлении тому, чего нельзя изменить? В то время как он, ни о чем не догадываясь, уютно сидел себе в поезде, я без памяти гнала автомобиль по хайвэям – не знаю, как долго, должно быть, несколько часов – пока, будто прилетев на ковре-самолете, не очутилась на вокзале в Монреале, только чтобы еще раз увидеть это растерянное выражение лица, это безграничное удивление:

– Но это чудо! Как так может быть? Ты повсюду!

У нас было лишь несколько минут.

– Ты навестишь меня в Бретани? В августе я там буду один.

– Что за вопрос! Примчусь на ковре-самолете. На тысячу и одну ночь.

– Я буду ждать тебя.

Поезд тронулся.

*Мне бы лето еще одно, всесильные…!*

[12] Название фильма Джима Джармуша “Stranger than Paradise”, 1984 г.

[13] лат. «Здесь Родос, здесь прыгай». Выражение из басни Эзопа «Хвастун».

*

Париж, вокзал Монпарнас. Ни на одном вокзале в мире не нужно преодолевать с чемоданами таких бесконечных расстояний, как здесь. Можно заблудиться, если не быть предельно внимательным. Предельным вниманием я никогда не отличалась. Зато у меня был чичероне, милый, знающий язык проводник по джунглям большого города. Ирвинг, верный Ирвинг, у которого была квартира в Париже, и который мечтал остаться там навсегда, получив возможность преподавать в университете, помог мне с пересадкой на TGV – высокоскоростной поезд, тот, что должен был за два часа доставить меня в Бретань – на дачу Монумента.

По меркам Германии – долгий путь. Это было первое лето без моей матери. С тех пор как сын и дочь снова стали работать, меня неудержимо тянуло во Францию – путешествие, когда долгий день уходит в ночь[14]. Но вокзал Ренн невзлюбил меня, как и я его. После прибытия я ждала, не отваживаясь сойти с места, в страхе разминуться с Монументом. Второй раз, когда мы едва не разминулись. Это могло бы показаться смешным, если бы чуть не стало трагичным: в любом случае здесь правила ироническая символика – я ждала наверху бегущего в неизмеримую глубину эскалатора, а он ждал внизу, переполненный нетерпением и ужасом от того, что между нами что-то могло произойти. Мы не могли увидеть друг друга, а были совсем близко.

Знаем ли мы, вообще, друг друга? Не было ли это все только химерой, изменчивым рисунком облаков? В последний момент я решилась спуститься в бездну. Он стоял там, уже готовый уйти. Разочарование, застывшее на его лице, не могло рассеяться сразу. Сначала нужно было отдохнуть от него. Ожидание есть самое невыносимое.

[14] название пьесы американского драматурга Юджина О`Нила «Long Day's Journey Into Night», 1941 г.; постановка: 1956 г.)

В его стране оно в любой момент могло означать ужасное. Но нас быстро спасло его неистощимое умение радоваться настоящему. Едва мы вырвались из сутолоки города, он остановил машину на свободной полосе. – Ты правда здесь?

– Почему ты меня не стал вверху искать?

– Ты здесь. Разве что-то другое имеет значение?

– Нет.

Свидание было длившимся шесть недель бесконечным праздником.

Что такое шесть недель?

**Бретань**

Первое, что мне вспоминается, это дорога, теряющаяся за плавным поворотом полевая дорога с небольшим пригорком посредине, с крошечными маргаритками. Справа и слева поля, кукурузные, ржаные, по краям заросли ежевики (в первые годы я делала из нее джем) и полевые цветы, по обеим сторонам узкие канавы. Ничего особенного, но отчего мое сердце все еще так отчаянно бьется, всякий раз, как эта картина всплывает перед моими глазами? Мы всегда были в пути друг к другу, даже будучи рядом. Здесь было наше средоточие, наше убежище, скрывающее нас от всего мира, здесь рассыпалось на миллиарды частиц солнечного света и становилось пылью время. *«Будь впереди всех разлук»,* – сказано об этом у Рильке[15].

Когда нам нужно было расставаться, дорога бежала с нами вместе и манила, и утешала, и была всегда здесь.

У самого дома она шла немного под уклон. Бывало, влетаешь на нее на велосипеде со стороны улицы, и мчишься на скорости от самого поворота на луг между двумя зданиями до соседнего поля. Кукуруза высилась там, будто

[15] „Sei allem Abschied voran“. Р.М.Рильке «Сонеты к Орфею» / Пер. с нем. Карена Свасьяна.

выложенная из зеленого камня стена с переливами солнечных бликов – холмистый луг, разросшийся с трех сторон, стал нашим кочевым шатром.

Мы не знали усталости в поиске красивейших мест, с которых открывается вид на старый дом, где можно позавтракать на природе, где можно скрыться в тени от солнца или в лучах заката от вечерней тени и в сумерках, когда летучие мыши начинают свою бесшумную охоту, пить вдвоем вино.

Я выучила русское волшебное слово: *можно?* Оно означает: «Мне позволено?», и: «Ты готов?», и «Тебе бы хотелось?», или «Мне уже накрывать на стол?» Оно означает: «Мы ведь хорошо поработали?», «Мы уже заслужили чего-то хорошего?» Оно будет сопровождать нас, это слово, и всегда выражать несказанную уверенность в том, что ничто не в силах нас разорвать, что мы безошибочно придем по этой дороге назад жить нашей простой жизнью в спокойной смене сна и бодрствования, молчания и беседы, еды и работы, существования друг в друге и стремления друг к другу. Во время наших поездок к морю, а к морю мы ездили почти каждый день, он, утомившись, спрашивал: – Можно? И это означало: – Можно мне вздремнуть, пока ты ведешь машину? Затем он целовал мне руку: – Сейчас я покидаю тебя навсегда, – (вечная игра тяги к страху и успокоения), и через несколько минут уже его дыхание становилось глубоким и доверчивым. С какой осторожностью я тогда объезжала все неровности на дороге, как старалась избегать резких толчков, оберегая этот чудесно безмятежный сон! И вот – не прошло и двадцати-тридцати минут – внезапно бодрый голос, как будто из ниоткуда: – О – я был далеко отсюда! при этом он с таким наслаждением растягивает последнее слово, как если бы он, подобно Орфею, обошел все царство мертвых и своими силами вернулся оттуда назад к живущим. Ко мне. К нам. Это игра, но всегда как взаправду, и каждую секунду мы это знаем.

*Значит, нам благодарить остается небо.*

По утрам небо часто бывало покрыто тучами. Разъяснивалось в основном только к полудню. Ефим всегда вставал первым, приветствовал новый день, бросал взгляд на собаку, шел в душ, брился и затем пропадал минут на сорок пять для того, чтобы совершить свой обязательный утренний моцион, включавший определенную последовательность упражнений на свежем воздухе.

Ни в одной из стран, ни в одном из городов, ни в одном из парков, ни с одного из балконов, ни в одном из садов и ни из одного из раскрытых окон квартир наших друзей я не видела, как он делает свою гимнастику. Я быстро поняла, что при этом он должен оставаться один, чтобы разобраться в себе и обдумать, что должен сделать за день. Я поняла, что этот первый час принадлежит всецело ему одному – ему и собаке, во всяком случае, когда мы были во Франции. Собака – на самом деле её владелицей являлась дочь Ефима, которая, правда, о ней должным образом не заботилась – была нашим постоянным спутником во Франции, вернее сказать, постоянной спутницей.

Прелестная, грациозная дама-колли, которой он был нежно предан, также как и она ему. Мне понадобилось некоторое время для того, чтобы привыкнуть к ней, ведь у нее была губительная для нервов привычка, разражаться истерическим лаем при каждом телефонном звонке, а также – как нам вскоре предстояло выяснить – каждый раз, как мы целовались, обнимали друг друга, или даже просто стояли рядом. Ее ревность была безграничной. Когда мы бывали в Париже, она также часто проявляла расистские наклонности, например, могла, едва завидев издали какого-нибудь простодушного чернокожего согражданина, кинуться к нему с оглушительным лаем, так что тому уже стоило некоторого мужества просто сохранять при этом спокойствие. Крайне неприятно. Кто защитит этих людей от чувства отверженности в чужой стране?

Хуже всего было, если мы брали ее с собой купаться. Все попытки вместе зайти в воду терпели крах. Собака или носилась вдоль по берегу – вне себя от возбуждения и страха, что ее оставят, привлекая внимание людей к тому, что ее самые любимые существа, скорее всего, прямо сейчас тонут, или вихрем кружилась над полотенцами, маленькими детьми, корзинками с едой и башнями из песка, как будто призывая всех на помощь. Только одного она никогда не делала – не плыла за нами следом. Да, дело дошло до того, что как-то позже в одну из наших поездок к находящемуся неподалеку озеру мне пришлось спасать ее, притом, что вода была абсолютно спокойной – просто какая-то неизвестная травма не давала ей инстинктивно грести. Она хотела поплыть за нами и чуть не утонула. Преданность Снуки бесконечно трогала Ефима. Никогда он не выходил из терпения, никогда не признавал ее вины в чем-либо. Более того, каждое доказательство ее любви с благодарностью запоминалось, как будто это был нежданный подарок. Меня заставляло задуматься то, как тонко он чувствовал все ее настроения, как он понимал ее язык, и как признавал за ней право на ее неврозы. И действительно, однажды она спасла ему жизнь, когда он в Бретани собирался идти встречать меня на нашу дорогу – я возвращалась с покупками – и запер ее на время, чтобы спокойно надеть ботинки. Минуту спустя, собака устроила такой небывалый шум, что он вынужден был посмотреть, что случилось. Открыв дверь, он увидел столб пламени, вырвавшийся из газовой печи, без промедления бросился к нему, в самый огонь и голой рукой закрутил кран. Он знал, что в любую секунду мог взорваться недавно замененный газовый баллон, тогда весь дом обрушился бы на него и на бдительную охранницу и стал бы могилой для обоих. В поиске причины этой едва не разразившейся катастрофы я обнаружила, что небольшой резиновый шланг, через который газ из баллона поступал в печь, прослужил уже десять лет и продырявился. Вообще-то, их нужно менять каждые два года.

Сейчас я гораздо больше понимаю эту иррациональную близость между хозяином и собакой. Обоих объединяла способность к безусловной любви, к самозабвению. Их слабость одновременно была их силой. В Снуки он находил то, к чему большинство людей были не способны, и о чем они тоскуют, как о потерянном рае.

С того момента и я уже по-другому смотрела на эту даму, которая, становясь старше, все еще продолжала выглядеть юной. Она часто сопровождала меня в дальних прогулках на старом мужском велосипеде, который я откопала в гараже, и которым больше никто не пользовался. Поначалу она, вне себя от счастья, забегала вперед, снова возвращалась, ждала меня, пряталась в высокой кукурузе и заставляла мое сердце останавливаться при появлении машин, поскольку она принципиально не уступала дороги. С возрастом она стала выдыхаться быстрее, должна была чаще останавливаться и отставать – мы поменялись ролями. Это мне теперь нужно было ждать, возвращаться, чтобы она не заблудилась и не чувствовала себя покинутой. Невозможно было представить себе, чтобы она бросила меня и убежала обратно домой – как бы она выдержала вопрошающий взгляд Ефима, вернувшись без меня? Не возможно было представить себе, чтобы я могла оставить ее в беде, когда она обессилено сидит в траве и смотрит на меня, будто хочет сказать: - Я знаю, что вообще-то должна Тебя охранять, пожалуйста, не обижайся, что это выше моих сил.

Это прекрасное создание с длинной развевающейся шерстью так безнадежно зависело от нас, что почти вызывало чувство стыда. Никто не отвечал на хаотические выражения чувств этого животного с такой нежностью, как Ефим. Я слышала, как его сердце разговаривало с ней всякий раз, когда его взгляд на ней останавливался. Она жила этими взглядами и этим нежным внутренним голосом, в буквальном смысле слова зависела от него, хотя в действительности его вовсе не слушалась; но только для него она встряхивала своей роскошной гривой, только для него светилась задором.

Любовь между ними обоими была практически совершенна, и на протяжении многих лет Ефим, будучи погруженным в свои мысли, время от времени повторял одну и ту же фразу: Я так надеюсь, что она не умрет раньше меня. Снуки все поняла. Несмотря на то, что под конец она болела и не получала должного ухода от своих хозяев, она верно ждала, чтобы он ушел прежде нее. Через три месяца после его смерти она больше не захотела жить. Сотни километров отделяют Париж от Потсдама, где умер Ефим, но она почувствовала, что единственный человек, принимавший ее такой, какая она есть, покинул ее. Мне удивительна тайна такой бессловесной, бесконечной, беспомощной, одержимой и знающей любви.

**Будни**

Это первое бретонское лето печатью осталось в памяти. Кто говорит, что в Бретани ненастно, ветрено и всегда дожди? Тридцатью годами ранее мы с друзьями на небольшой яхте проплыли вдоль ее берега, сначала из Бордо в Жиронде, затем от Руайана, вверх по всему западному побережью, через Нормандию и Бретань, по проливу Ла-Манш до Нормандских островов и далее к остроконечным рифам Англии, романтически одиноким меловым скалам посреди потока, которые уже почти 2000 лет назад служили ориентиром Юлию Цезарю. Это было приключение особого рода, жизнь на воде. Выброшенные на горы наших сердец[16], мы не видели берегов и балансировали на грани тяги к страху и духовного пиратства. Близость стихий высвобождает первоначальные эмоции – бури вовне и внутри, подруга приняла тогда радикальное решение, навсегда изменившее жизнь троих на крошечном судне.

А теперь?

[16] Р.М.Рильке „Ausgesetzt auf den Bergen der Herzen“/ «Выброшенный на горы сердца», пер. на нем. Вячеслава Куприянова

Все совсем по-другому. Дом одиноко стоит вдали от моря, почти в часе езды от побережья. Как бы сами собой устанавливают свой распорядок поэтические будни.

В это первое лето мы еще не знали об озере и о том, что можно плавать по утрам. Но каждый из нас – и так будет каждое лето в следующие десять лет – привез с собой собственный чемодан с книгами, свои творческие проекты и свои сроки их сдач. После завтрака, который Ефим готовил до своей прогулки и для которого он приносил свежее молоко и яйца с соседнего крестьянского подворья, каждый из нас исчезал за своим письменным столом. В бывшем большом амбаре с мебелью и отделкой, находившейся наискосок от дома, Ефим оборудовал для меня идиллическое рабочее место. Я писала научный труд об образах служанок и горничных в литературе и чувствовала себя графиней. Принцесса Снуки быстро поняла, что сердце ее теперь привязано за оба конца и как ветер носилась от дома к дому. - Почему вы не сидите вместе, - как бы спрашивала она, - мне так было бы гораздо проще. Когда появлялась почтовая машина, она вовсе теряла самообладание. Женщина-почтальон не решалась выйти и ждала, пока хозяин дома заберет пакет с письмами. Не успевали они и парой слов перемолвиться, как собака вырывалась вперед, беснуясь и лая так неистово, что мы всякий раз опасались за жизнь неразумного животного. И каждый раз я спрашивала себя, сколько воспоминаний умещается в этой узкой голове, пока не поняла: это ее игра, ее выход, где она во всей своей значимости берет слово, это утверждение в том, что она живет, и что ее воспринимают окружающие – утро за утром. А Фима уже шагал в кристально чистом воздухе по холмистому лугу и, радуясь возможности прерваться, улыбался мне снизу в открытое окно: почта для тебя – письмо от твоего брата. И вот уже мы оба наслаждались первым перерывом, читая и пересказывая друг другу наши письма, наши новости, отключив время. Кажется, будто в это первое лето всегда светило солнце. Это была совершенно другая Бретань,

чем тогда, когда мы плыли на яхте. Бледные линии низких холмов, белые горы облаков, диаграммы из своеобразно поваленных деревьев и гигантский купол неба над плоской поверхностью земли создавали особенную атмосферу приюта в неизвестности. Здесь никто бы не смог нас найти без нашего желания, и столько нужно было всего показать друг другу, столько открыть, столько знакомых вещей становились новыми, ведь мы смотрели на них вдвоем и говорили о них. В любопытстве мы друг другу не уступали, и в последующие десять лет каждый год, действительно, находили что-то новое, невиданное и неслыханное, с удовольствием блуждали по лабиринтам узких тропок меж селами и пашнями. Не было ни одной церковной башенки, которая бы походила на другую в своей филигранной архаичной ажурной резьбе, ни одного крестьянина-винодела, что через долгое время снова бы нас не узнал и не пригласил бы пропустить по рюмочке сидра или яблочной водки, ни одной бухточки, не улыбавшейся нам так, будто только нас и ждала. Мы беседовали с крестьянами и графами, коровами, лошадьми и рыбами и, конечно, с поросятами на соседнем дворе, младенчески розовыми, сотнями носившимися по лугам и удивительным образом при огромном выборе отыскивающими каждый именно свою маму, захотев молочка.

Я привыкла готовить что-нибудь перекусить в полдник, научилась любить блины всех сортов, запоминать время приливов и отливов, чтобы вечером успеть искупаться в прилив (мощные, до одиннадцати – двенадцати метров высотой приливы на побережье Бретани я помнила еще с прежних времен), и радовалась утром, что наступит вечер, когда ветер, на некоторое время усилившись, уляжется, а мы устанем от ходьбы, плаванья, работы и размышлений, и в определенный момент кто-нибудь задаст обязательный вопрос: «Можно?»

Тогда будет можно пить вино и водку, говорить, не следя за словами, рассказывать о России и задавать вопрос за вопросом, и постепенно, освобождаясь от многочисленных оболочек, проступит, наконец, первый

контур этой прожитой жизни, которая началась на двадцать три года раньше моей и не устает как новому подарку удивляться каждому дню. И только летучие мыши подслушивали нас.

***Бельвю***

*Гроздья рябины, поразительно алые, красуются уже перед её окном, свисая, будто прямо с неба. Рядом маленькая березка из вежливости бросила пару желтых листочков, и в золотой слиток сметала дочка мельника ночью солому на соседней пашне. И вот он сверкает на солнце – в ожидании. В страстной тоске изгибается пашня навстречу дождю, но он не спешит пролиться. Ягоды ежевики молят о паре южных дней, а там… а там… Великим было лето*[17]**.**

*Но вот уже три дня как гостит осень. Все началось с тумана и туманом закончится. Если сейчас вдруг станет жарко – это будет как цитата. Во всем, что они делают – прощание. Сильнее, чем прежде она ощущает, как он сросся с этим клочком земли. Когда он по пожелтевшей траве идет ко второму дому, то в этом есть такая деликатная естественность, как будто бы он шел к своей давней возлюбленной. Он думает, что знает ее, и все-таки его постоянно ошеломляет неожиданное в ней. Ее снова и снова трогает его радость по поводу простой самодельной душевой с холодной водой, сооруженной под открытым небом. Когда он выходит оттуда по утрам, то так улыбается, как будто ему только что сказали важнейшее в его жизни «да». До этого вокруг него как одержимая с возбужденным лаем прыгает колли, как будто чувствуя, что есть повод для ревности, как будто догадываясь об удовольствии, предназначенном не для нее.*

[17] Вольная цитата из стихотворения Р.М.Рильке „Herbsttag“/ «Осенний день»

*Здесь они оба устанавливают свой ритм. Работа, еда, отдых плаванье, беседы и прогулки сами собой приходят в правильное соотношение. Они рассказывают друг другу свои сны, бегут друг к другу через луг, чтобы узнать, как дела, подарить поцелуй, объятие, спросить о чем-то, поделиться идеей, отрывком текста или просто взглядом на первоначальное значение слова, кусочком настоящего, частицей времени в чистом виде*[18]*. Иногда часы отводят взгляд в сторону. Их друзья приходят и уходят, остаются и уходят. А они без стыда признаются друг другу в том, какое это наслаждение быть только вдвоем. Ничто не сравнится с радостью первого глотка вина вечером, когда они снова наедине друг с другом за шатким деревянным столом перед домом, и летучие мыши выводят в вечернем небе свои таинственные письмена, темной вереницей пульсирующие меж крышей дома и телефонными проводами, ничто – с радостью утра, когда они завтракают все за тем же шатким столом, который уж сколько лет назад следовало бы, наконец, покрасить, и медленное разрушение которого они с нежным спокойствием наблюдают.*

*Между домами, между тонкими проводами натянуто счастье, хрупкое и чуткое к непогоде. Что нынче кажется верным, завтра может обернуться бедой. Слова будто в праздничные платья облекаются в собственные значенья, одно досадное пятно – и торжество насмарку. И ничто не имеет такого значения как шелест первых сухих листьев, ягоды, собранные к завтраку с растущего у дома куста, собака, что скулит беспомощно, когда оба одновременно заходят в море, и ее ревность, когда они касаются друг друга. Здесь правят ритуалы нежности. По утрам он поднимается, стараясь не разбудить ее. Чаще всего она позволяет ему так думать. Его взгляд, еще хмельной ото сна, приветствует все предметы в комнате в их каждый день новом значении. Каждый день драгоценен как*

[18] См. Марсель Пруст «В поисках утраченного времени»

*праздник бытия, пребывания, воскресения из бездны смятенных снов. Каждый взор возрождает в воспоминании день вчерашний и отворяет дверь в завтрашний. Завтра ждет уж снаружи за растрескавшимися от времени деревянными воротами, что когда-то были стальной дверью. Он любит эти первые минуты дня, это целомудренное любование, это медленное узнавание, каждый раз заново происходящее между ним и вещами вокруг, первое прикосновение вчера к сегодня. Может, он даже берет в руки ту или другую из тех, что принадлежат ей (они спят в ее комнате), бережно держит ее, не отнимая у нее ее тайны, и отпускает. Свое и чужое нуждаются друг в друге и в этом беззвучном пребывании рядом, здесь, в укромной пещере сна.*

*Он осторожно закрывает дверь, идет через луг в свою ванную комнату, там он будто впервые видит свое лицо – вслед за лезвием бритвы его контур делается четче, и он как бы знакомится с ним заново. В собственном взгляде, с которым он то и дело встречается в отражении, удивление и скепсис, немного довольства и спокойная веселость. Да-да, это снова я.*

*Но я – это кто?*

*Собака уже ждет. Наступает час ее торжества, когда ей позволено сопровождать его во время утренней прогулки. Сейчас она – единственная возлюбленная. И хоть, повинуясь преданности, она и проскальзывает нерешительно мимо ворот его спящей спутницы, разрываясь между радостью и угрызениями совести, все-таки это ее час. Она чувствует, как его мысли от ходьбы постепенно приходят в порядок, как он обретает единство с новым днем, его обещаниями и требованиями, его неизвестностью и собственными ожиданиями. От ходьбы гаснут страхи и недовольства, вчерашний гнев обращается дорожной пылью, стершиеся письма когда-то проложенных на земле троп тканью сегодня, продолжения, дальше, дальше…*

*Придя в равновесие с грядущим, он по привычке срывает с колючего куста у развалин за крестьянским подворьем розу, несет ее назад к большим деревянным воротам, что захлопываются, впустив вместе с собакой также и новый день. Он подходит к кровати, он никогда не узнает, что не роза, а невинное счастье в его глазах, с которым он совершает это утреннее подношение, для нее подарок и радость, с которой ей хочется пробуждаться. Тогда, когда сквозь трехстворчатую стеклянную дверь, через которую врывается свет, ей открывается звонкая алость свисающих с неба рябиновых ягод в желтом многоголосье березовых листьев.*

*Все здесь приглашает ее к жизни.*

*

Незаметно Монумент превратился в земного человека, доверху наполненного историями из того времени, которое для меня было историей, из советской России, которая стала судьбой еще и для моей русской (еврейской) двоюродной бабушки, когда революция начала проглатывать её детей, и когда у ее сказочно богатого мужа-белоруса экспроприировали имущество. Где-то вскоре после этого он и умер. Потому что в семейной хронике эта волевая, своенравная женщина с властными черными бровями через некоторое время снова возникла во втором браке в Германии, в Эрлангене, уже не на неизмеримых угодьях, а в маленьком скромном домике на одну семью, в тесноте которого она со своим мужем-профессором жила так же естественно, как до этого в роскоши.

Эту мою историю Ефим дополнил рассказом о своем родительском доме из того времени, из эпохи НЭПа – тогда его отец из ничего выстроил бумажную фабрику, доходы от нее стали быстро возрастать, и они с матерью на эти деньги обустроили огромную роскошную квартиру из 12 комнат в центре Ленинграда, с великолепной мебелью в стиле ампир и коллекцией

картин русских художников, свидетельствующей о том, как удивительно тонко его отец понимал искусство.

– Хоть бы одну из тех картин сейчас, – позже будет порой вздыхать Ефим, когда нам будут нужны деньги на издание его новой книги или на ремонт дома в Бретане, – хоть бы одну из тех картин, и мы бы уже больше не знали забот.

После этого мы обычно оба смеялись, потому что мы их и так не знали, даже если денег было немного. Мы чувствовали себя богачами.

Здесь самое время для истории из детства Ефима:

**Перехитрил** *(Ефим Эткинд, из «Барселонской прозы»)*

По квартире ходили чужие дяди и забавлялись странной игрой: наклеивали бумажки на столы, кресла и шкафы. Восьмилетний Фима бегал за ними следом и с недоумением глядел, как они мазали бумажные квадратики его гуммиарабиком при помощи его же кисточки и потом налепляли их на самое видное место. Зачем? Мама сидела на кухне, сцепив пальцы; на Фимины вопросы она отвечала одно: «Потом». Отца и его младшего брата, дяди Мони, дома не было - они уехали в Кирцелово, на фабрику. Вернулись они на другой день, на бумажные квадратики взглянули мельком и ушли в кабинет. К тому времени Фима начал кое-что понимать. Мама сказала: «Эта мебель уже не наша, ее описали. Скоро увезут». Глагол «описать» Фиму изумил. Он знал его по пушкинским стихам: «А что ж Онегин? Кстати, братья! Терпенья вашего прошу: его вседневные занятья я вам подробно опишу» или по другой строфе, которая ему особенно нравилась: «Я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд; конечно б, это было смело, описывать мое же дело...» Да и в домашних разговорах это слово появлялось. Но при чем тут мебель? Отец угрюмо говорил про налоги, про кирцеловскую фабрику, которая оказалась, как он выразился, «по уши в долгах».

Фима наконец догадался, в чем секрет бумажных квадратиков. Подробности он узнал позднее. Вот вкратце суть дела.

Несколько лет назад отец взял в аренду полуразрушенное помещение в деревне Кирцелово, около Павловска; там он установил ржавую, с трудом отремонтированную машину. Возникло предприятие, носившее длинное название: «Кирцеловская бумагоделательная фабрика в аренде Г. И. Эткинда» - такая шапка красовалась на официальных бланках. Мама с тремя сыновьями иногда жила там, в Кирцелове, в деревянном домике близ фабрики. Фима бывал там охотно. Самое интересное ожидало его, когда приезжали подводы, груженые макулатурой - сырьем для оберточной бумаги. Макулатуру сваливали в сарай, и Фима бросался рыться в наспех перевязанных кипах газет, журналов, папок с бумагами, а главное - книг. Каких только книг там не было! Из иностранных Фима, бегло читавший по-французски и по-немецки, выуживал сборники стихов, приключенческие романы, детские книжки с картинками. Среди переводных ему попалась «Жизнь Иисуса» Ренана - он не отрываясь прочел ее и много позднее понял, что эту книгу вычистили из какой-то библиотеки по причине «божественности» заглавия.

Рыться в макулатурных книгах доставляло мальчику радость, которая была бы сильно омрачена, если бы он понимал, что состав макулатуры отражает одичание страны. Все это были конфискованные частные библиотеки - хозяева книг исчезли в подвалах ЧК, или уехали в эмиграцию, или умерли без наследников.

Существовал еще один источник: интеллигенцию уплотняли; прежний владелец просторной профессорской квартиры должен был со всей семьей уместиться в одной комнате - понятно, что от книг приходилось избавляться. В начале двадцатых годов ими топили железные печки, названные почему-то буржуйками, потом книги стали продавать - чаще всего на вес. В букинистических магазинах на Литейном проспекте висело объявление:

«Покупаем книги на вес». Для Фимы же тогдашняя печальная ситуация оказалась основой его образования. Прошли десятилетия; он приобрел не только отчество, но уже и пенсию, а несколько книг, выуженных из макулатуры, все еще стояли на его полках.

Фабрика выпускала регулярную продукцию - бурая бумажная лента, выползавшая из восстановленной машины, служила всему Ленинграду. Все были довольны: рабочие (их было человек восемь) получали зарплату, служащие (их было трое) справлялись со своими нехитрыми обязанностями, отец и дядя Моня работали без устали; они торжествовали. Ведь когда они арендовали кирцеловскую развалюху, знакомые, даже друзья смеялись над ними: зачем вам эти руины? Никакого толка из них не извлечешь. Теперь же знакомые заворачивали все свои покупки в кирцеловскую бумагу.

И вдруг - среди ясного неба разразился гром: власти обложили фабрику таким фантастическим налогом, что его и за десять лет не уплатить. Партия решила покончить с нэпом, и лучшим способом удушения были налоги. Отец еще на что-то надеялся; он рассуждал логично: бумага нужна, предприятие живое и доходное, разве в интересах советской власти закрыть фабрику? Но партия решила придушить нэп, логика тут была ни при чем; с классовым врагом, окопавшимся в деревне Кирцелово, следовало покончить. Тогда-то на Загородный, 24 и пришли агенты фининспектора, которые за неуплату налога описали мебель.

В ближайшее воскресенье в квартире с утра до вечера толпились чужие люди. Уплатив по цене, обозначенной на бумажном квадратике, они увозили шкафы, кровати, кресла. В ночь на понедельник родители спали на полу, Фима тоже; только для его младших братьев - Сане было четыре года, Марику два - оставались кроватки. Ели на сундуке, сидели на книжках. Детям было смешно, взрослые угрюмо молчали. Неделю спустя привезли новую мебель, и быт наладился - ненадолго. Вскоре все повторилось: пришли те же чужие дяди и опять налепили на шкафы и кресла бумажные

квадратики; в очередное воскресенье снова появились толпы покупателей. Три или даже четыре раза квартира подвергалась таким опустошающим нашествиям. Родители, переживавшие первый разгром драматически, попривыкли к тому, что отец, теперь уже чуть ли не шутя, называл «военные действия фининспектора». К тому же несколько предметов, которые родителям были особенно дороги, постоянно возвращались: муж маминой сестры Николай Павлович Сапгир трижды покупал книжные шкафы и письменный стол, увозил их, а на другой день привозил обратно. Но с советской властью шутить было трудно: она повела против отца наступление по всем военным правилам. По ее наущению кирцеловские рабочие объявили забастовку, они больше не желали - как заявляли их уполномоченные в газете - подвергаться эксплуатации и требовали избавить их от нэпмана-кровопийцы. В городском суде начало слушаться дело предпринимателя такого-то: он не платил налоги и вдобавок богател «за счет пролетариата».

Однажды утром отец взял Фиму с собой; они сели в трамвай и поехали на Петроградскую сторону. «Попробуем снять квартиру», - сказал отец. Пришли на Песочную улицу, поднялись на второй этаж невзрачного трехэтажного дома. Дверь в квартиру была распахнута; да это была и не квартира вовсе, а пустой зал. Окна во двор были выбиты, из них открывался вид на склад железного лома; в полу зияли грязные дыры, потолка не было - над головой висела балка.

«Тебе нравится?» - спросил отец. Фима воспринял его вопрос как насмешку. «Вот это будет твоя комната», - сказал отец, показывая на крайнее слева окно. Зачем им такой сарай? Фима этого понять не мог, отец отшучивался.

Месяца через три семья переехала на Песочную. Самый переезд осуществился легко: мебели не было, ее в очередной раз описали и накануне продали. Книжки, кастрюли и чемоданы с одеждой - все поместилось на двух подводах. Барак на Песочной теперь выглядел иначе: прежний зал разделили

перегородками на несколько комнат, и Фиме действительно досталась та, которую посулил отец. Для книжек был сооружен шкаф, встроенный в стену; столик около окна поднимался и опускался. Фима осмотрел другие комнаты: в столовой высился буфет, составлявший часть перегородки. В родительской спальне кровать была вмонтирована в стену, на ночь она опускалась нажатием рычага. В кабинете Фима узнал книжные шкафы, которыми отец дорожил: они были, но в то же время их не было; дверцы красного дерева с бронзовыми украшениями закрывали проемы в перегородке. Во всей этой странной квартире с места на место передвигались только несколько простых стульев в столовой да табуретки на кухне.

Несколько недель прошли спокойно - семья привыкала к новому быту. Потом они появились опять - те же дяди, что налепляли бумажные квадратики на Загородном, 24. В недоумении они переходили из комнаты в комнату, задержались в кабинете - у дверец красного дерева, в столовой - у буфета, в Фиминой комнате - у книжного шкафа в стене, потом прошли на кухню. Мама предложила им чаю. Они уселись на табуретки и стали громко хохотать. «Перехитрил!» - проговорил один из них, поглядывая вокруг, - кухонные шкафы тоже были встроены в стену. «Перехитрил!» - повторял он, хохоча. Позднее Фима понял, что он хотел сказать: «Хитрый еврей!»

**Послесловие** *(Ефим Эткинд)*

В этой квартире со встроенной мебелью семья прожила много лет, с 1928 по 1942 год, когда отец - в блокаду - умер от голода, а мама с младшим сыном и дядей Моней уехала в эвакуацию, в Молотов, бывший и будущий город Пермь.

Что стало впоследствии с кирцеловской фабрикой? Это заслуживает краткого рассказа - он может представить общественный интерес.

Почти полвека спустя, когда надо мной нависла угроза высылки (я еще не знал куда - на запад или на восток), я предложил жене съездить на места моего детства. На машине дорога оказалась недолгой. Кирцелово я нашел без труда, фабрику тоже. Она производила ту же оберточную бумагу, из машины по-прежнему выползала бурая бумажная лента. Рядом с фабрикой стоял новый, стандартного вида дом; в нем помещалась фабричная администрация: бухгалтерия, коммерческий отдел, отдел кадров... Целый дом, десятки людей! Я вспомнил, что тогда, в двадцатых годах, кроме отца и его брата, фабрикой ведали два Каца, старый и молодой: восьмидесятилетний отец и шестидесятилетний сын. Еще был энергичный Волович, занимавшийся денежными расчетами. И всё. И хватало администрации.

Моего отца разорили грабительские налоги. А страну - бесчисленные паразиты, которые симулировали полезную деятельность.

**Послесловие** (Эльке Либс-Эткинд)

Впрочем, в то время, когда Ефима уже не было в стране, советская жизнь и жена его брата спустили по ветру все те красивые вещи, которые могли еще остаться. Он говорил об этом, смеясь и по-детски удивляясь корыстолюбию и ограниченности этой дамы, которая, не имея ни малейшего представления о действительной ценности и эстетическом значении этих вещей, распродала их задешево. Пару предметов из этой мебели я еще видела в квартире племянника Ефима, они бросались в глаза своей элегантностью и чистотой форм, над которой не властно время – все остальное исчезло в хвосте кометы по имени История. Он говорил об этом без жалоб и упреков, и я чувствовала, что этот человек внутри себя живет без вопросов и сомнений, и что все, что ему нужно для счастья – это стол для работы, кресло для чтения, кое-какое пропитание, кровать для сна да теперь еще я. Это было то робкое понимание, которому я пока до конца не доверяла. Людей, которых

много раз предавали, трудно любить. Но камешек за камешком между нами собиралась мозаика сходств, становясь постепенно прочным основанием, отличным от бурного начала, которое, однако, всегда возвращалось.

Как-то раз, когда я прибиралась в кухне Бельвю, вдруг зазвонил телефон. Сразу же по голосу Ефима я поняла, что звонил кто-то особенный. Та, чьё лицо не забудешь. Они говорили по-французски, я не знаю французского, но дело было не в словах. Я слышала его голос и понимала, что рана все еще не зажила. Потом мы долго говорили. Он чувствовал, что я волнуюсь, как он преодолеет все эти человеческие потери. Почувствовать, что ты меньше значишь в жизни другого – это никому не даётся легко. Она давно уже была замужем за Иосифом Бродским, и с тех пор тот ничего больше не хотел знать о своем старом друге и защитнике. В тайне я решила снова свести обоих. Но до тех пор, пока мне это удалось, Бродский умер. С его женой (той, чьего лица не забудешь…) я позже встретилась в Нью-Йорке. Бродскому до конца жизни было неприятно, когда ему напоминали о процессе и обо всем, что было с ним связано. Может, он (безосновательно) опасался, что от него будут ждать благодарности. Может, чувствовал себя без вины виноватым. Может, его самолюбие не позволяло ему быть кому-то обязанным за свое относительное спасение. Или он, никогда не знавший недостатка в женском внимании, не мог перенести дружбы его жены с Ефимом. На мой взгляд, в том, что эти двое мужчин с тех пор ни разу не встретились и не поговорили друг с другом откровенно, был тот драматизм, которого можно было бы избежать. Возможно, этому, сама того не желая, препятствовала сама их подруга. К тому времени, как мы с ней встретились в Бруклине, она уже давно осознала, что мы с Ефимом безвозвратно принадлежим друг другу. Мы с ней хорошо поладили.

– Откуда ты могла знать, что у нас с тобой что-то получится? – спросил меня однажды в Бельвю Ефим, внезапно прекратив мыть посуду и устремив на меня полный значения взгляд.

– Я это просто знала.

– Нет, правда, откуда ты могла это знать?

Внезапно обрушившееся на нас осознание того, насколько тесно мы уже срослись друг с другом, не позволяло продолжать мыть посуду.

Что нам делать?

Где мы будем жить и, самое главное, работать?

Что будет с русской подругой и с ее обеими дочерьми?

Через шесть-семь недель наступило тяжелое прощание. Мы мало говорили об этом, но фотографии, на которых мы снимались поодиночке или, благодаря функции автоспуска, вместе, были исполнены грусти, беспомощности и глубокой серьезности. Мы оба уже достаточно много прожили, и, может быть, именно поэтому острее, чем молодые, чувствовали, что речь идет об осмысленности последней части нашего существования. Мне сначала нужно было назад в Орегон, его ждали другие дела. Следующая возможность встречи представлялась только в Рождество, но и тогда у меня было бы только десять дней каникул.

Вернувшись в Штаты, я проявила чудесные фотографии Бретани и сделала из них сокровенный фотодневник с заголовком *Картины земного счастья.*

Так называлась однажды виденная мной выставка пейзажей Аркадии.

Вскоре я получила от Ефима удивительное, счастливое ответное письмо и подарок, трогающий и радующий меня по сегодняшний день – янтарный кулон в старомодной оправе. Его цвет, теплый, живой и вечно прекрасный, передавал нашу любовь к этому морскому краю, ставшему для нас родной стихией.

Пришло время маленьких радостей, ожидания, писем[19], бессонных дней[20].

Звонок, как всегда короткий, ведь он не любит разговаривать по телефону, установить близость через Атлантику ему кажется невозможным, и все же приходится это делать.

– Обязательно звони мне, – говорит он.

Сначала нужно было звонить раз в неделю.

Потом несколько раз в неделю.

Потом каждый день.

Потом он сказал:

– Звони мне каждый час.

Мы жадно пили наши голоса и пытались этим согреться.

Вскоре должна была приехать подруга из Петербурга и привезти с собой незнакомую ему дочь. Ей было семнадцать, и она вовсе не хотела ехать с матерью. Разве бывает, чтобы кто-то не хотел в Париж познакомиться с таким отцом? Но я понимала: для нее он не был отцом, был просто чужим человеком с известной фамилией, Монументом. О да, я хорошо ее понимала.

**Решение**

Вдруг наступила осень – как всегда быстро после летних каникул. В Орегоне это значит дождь, дождь, дождь, такая мелкая изморось, которую едва чувствуешь, но она везде, заползает в одежду до самой души, так что иные и в депрессию впадают. Я к таким не относилась, ведь холода не было, пейзаж вокруг всю зиму оставался сочно-зеленым. Мороз и снег бывали

[19] Аллюзия к стихотворению Р.М.Рильке «Осенний день» („Herbsttag“): „wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben…“

[20] ср. роман Юрека Бекера «Бессонные дни» („Schlaflose Tage“)

только в горах. Мы с друзьями перешли от пеших прогулок к лыжным, хоть я в этом себя и не очень уверенно чувствовала.

На беговых лыжах я к тому времени каталась один раз в жизни, а кросс-кантри, т.е. езда без проложенной лыжни, без дороги, вверх-вниз, как придется – это мне вообще было незнакомо. Неудивительно, что при первой попытке я раз пятьдесят шлепнулась на своих взятых напрокат лыжах. Ерунда – моей решимости это не убавило. В следующие выходные дело пошло уже лучше, и, в конце концов, падения стали редкостью. Как это невыразимо прекрасно, волнительно и захватывающе – плавный спуск с холма – порой до километра в длину, потом снова с медленным постоянством подъем, мимо замерзших озер, по извилистым лесным тропам, а головокружительнее всего – прогулка вокруг Крейтер-Лейк – темно-синего кратерного озера среди гор, что образовались лишь шесть тысяч лет назад, будто благородный камень скрывающегося в венце заснеженных вершин. Каждый раз при этом я вспоминала о матери, которую я привезла сюда в последнее лето перед ее смертью – более всего в Орегоне она полюбила это озеро. Холод и физические нагрузки на несколько часов прогоняли тоску.

Но едва под конец мы, чтобы расслабить напряженные мускулы погружались в находившиеся поблизости горячие источники *Хот Спрингс*, или оказывались в *Мэм`с Пайз*[21], крошечном кафе у реки Вилламетт, где с низкого потолка свисали старинные монеты, а вкус яблочного пирога был и правда таким же, как когда-то дома, и вот я уже начинала мысленно рассказывать о своих впечатлениях слушателю в Париже и ждать вести о том, как там протекает эта странная семейная жизнь.

Девочка, как всегда говорил Ефим, была сложной. Постепенно я начала вникать в эти обстоятельства. Когда дочери было два года, ее отцу пришлось покинуть страну. При этом существование дочери никогда не ставило под

[21] англ. «Мамины пирожки».

вопрос его брак и со школьных времен длившуюся дружбу с женой (как, возможно, поставила другая, более поздняя любовь – Фрида). Но жена, Катя, как он ее называл, восемь лет назад умерла, а та, чье лицо не забудешь, в конце концов, оказалась преходящим призраком. Поэтому, предполагая, что время любить прошло, он пообещал заключить брак с желавшей этого матерью своей нежданной дочки и, таким образом, признать отцовство. Но в это время в его жизни появилась я – за один день до того, как та, которой он уже сделал предложение, приехала в Орегон. Сюжет для фильма или, как говорят русские, для романа – мне нравится у них это выражение. Я спросила его:

– Как у вас дела?

– Очень сложно.

– Почему сложно?

Он не ответил. Чувствовалось, что он был в растерянности. Пятнадцать лет подряд он знал о ней только по письмам матери. И вот теперь оказалось, что он не может найти подхода к своей дочери.

– Представь себе, она может писать! Хорошие тексты, хоть и очень грустные. Ей обязательно нужно продолжать.

– Скажи ей об этом! И сделай это, когда будешь с ней наедине. Ей нужно твое одобрение.

Через океан я услышала его глубокий вздох.

– А мне твое!

– Как я могу тебя одобрить в том, что считаю безумием?

Не нужно говорить, сколько писем мы потом ещё послали друг другу, обсуждая вопрос данного им обещания. В нём всегда была эта щепетильность: Как можно жить, не сдержав слова?

Но в конце концов, нам на помощь неожиданно пришла сама судьба. В конце года Ефима пригласили в Прагу сделать несколько докладов и провести семинары. Его подруга хотела в это время слетать к своей

приятельнице в Израиль. Таким образом, он подарил ей на рождество это путешествие, и мы решили встретиться в Праге. По плану он должен был привезти ее на машине из Парижа к аэропорту во Франкфурте, а после этого ехать в Прагу, где уже ждала его я. Девочка же еще раньше по собственному желанию улетела обратно в Петербург.

И тут между Парижем и Франкфуртом случилось чудо: подруга вдруг сказала:

– Это же ясно, что у нас ничего не получится. Нам лучше отказаться от нашего намерения, это была ошибка. Мы с дочерью будем дальше жить в Петербурге – ты можешь к нам туда время от времени приезжать.

Ефим молчал.

– Ты считаешь иначе?

– Нет. Наверное, так и вправду лучше. Но ведь вы можете жить вдвоем в маленькой квартире в Париже, – робко и виновато прибавил он.

– Об этом не может быть и речи! Дело решенное. Все остальное не имеет смысла.

– Если ты так думаешь…

Больше они об этом не говорили.

Это разумное решение она, не зная о нас, подарила нам на Рождество, и я благодарила ее за это той дружбой, на которую только была способна, до тех пор, пока она, уже годы спустя, сама не очертила новых границ.

**Прага**

Мы разыскали друг друга в Праге, и мир стал принадлежать нам.

Подробные указания Ефима и приветливый портье привели меня прямо к нужной квартире. Там было тепло и уютно, и я встретила Ефима горячим чаем, так, как будто бы это было обычным делом. Он едва мог поверить, что я и вправду там оказалась, так просто, из Орегона в Праге, в маленькой квартирке, о существовании которой мы еще недавно и не подозревали.

– Это неслыханно: как ты можешь все так быстро и четко организовать?

– Просто я умею колдовать.

Это была уже пятая или шестая квартира (включая мой дом в Орегоне и его дачу в Бретани), которую мы пытались сделать нашим домом, и это нам всегда удавалось, ведь нам ничего не было нужно, кроме нас самих. С новой ситуацией появились новые вопросы и перспективы. Неделю мы проведем в Праге, потом медленно проедем через Дрезден, Эрфурт и бывшую ГДР (Тюрингия) в направлении Карлсруэ, где живет моя дочь. Она пригласила нас обоих в гости. Можно ли придумать лучшее завершение драмы этого рокового и чудесного года?

Было холодно. Пока Ефим был на мероприятиях в университете, я бродила по улицам. Один раз я здесь уже была, примерно лет двадцать назад, с группой студентов из Мюнстера, тогда, в ярком октябре, я в одиночку открывала для себя красоту этого золотого города. Теперь я многое узнавала, открывала что-то новое и показывала Ефиму, когда он был свободен.

– Пан Фима, мы должны сходить на Еврейское кладбище.

– Непременно! Но не посетить ли нам сначала Золотой Переулок и Кафку?

– Еще нам хочется в Черный театр.

Но прежде всего я хочу сфотографировать Карлов мост и Градчаны.

А  утром, пока ты будешь на своей скучной официальной встрече, я пойду на оперу Моцарта в одном маленьком студенческом театре. Ефим ненавидел приемы.

Мне нравилось, как студенты в Праге все время называли его «пан». По-чешски это «господин». В древнегреческом, (который я шесть лет учила в школе), это слово обозначает «всё» или «вселенная». А в немецком про того, кого любят, говорят: «Он (или она) для меня всё». Одновременно это имя бога чувственности, сидящего на дороге в полуденный зной, фавна, преследующего и пугающего нимф; он покровительствует пастухам, тот, кто изобрел панфлейту (сирингу) и проник в международное слово «паника» – многосторонняя личность. С нежной иронией я переняла это, употребляемое студентами, обращение.

Пан Фима, нам нужно поторопиться, а то будет слишком темно для фотографий.

Его любовь к фотографированию заслуживает отдельного упоминания. Это всегда происходило так незаметно, что сжаться в неестественной позе просто времени не было. Из него мог выйти великий фотограф, особенно, что касается фотографий людей. На фотопортретах его близких, которые он делал непрерывно, всегда оказывалось схваченным своеобразие личности. Если он кого-то любил, то на фото это было видно сразу. Как будто смотришь на портрет любящими глазами Ефима, причащаясь его ощущениям, и вместе с ним видишь красоту запечатленного им человека. Чудесный дар. Благодаря ему даже те, чьи отношения с собственными снимками были скорее напряженными,  начинали принимать свой образ, ведь под взглядом Ефима их собственные противоречия на время пропадали, и люди могли видеть себя такими, какими они могли бы быть.

Никто никогда меня так много и красиво не фотографировал, как Ефим.

Вернувшись в Орегон, я сделала для него – это мой конек – календарь из наших пражских фотографий. Вот он стоит у надгробья рабби Лёва, вот с

полиэтиленовым пакетом в руке идет по внутреннему двору Цвингера в Дрездене, вот удивляется гигантскому живому карпу на рождественском рынке в Эрфурте. Это уже в продолжение путешествия. Красивее всего было сильно увеличенное и заключенное в рамку фото Мадонны Лукаса Кранаха (мой любимый художник), которую кормит виноградом сидящий у нее на руках младенец Иисус. Эта картина висит в замке в Веймаре, а фотография стала его рождественским подарком мне.

На старенькой машине Ефима, форде, мы ехали по снегу и льду по Германии, через недавно объединенную с ФРГ ГДР. Я действительно впервые оказалась в этой местности и была очень взволнована. Ефим ехал слишком быстро, и мне было страшно. После того как в детстве я перевернулась в машине, я всегда боюсь, когда за рулем другой человек, пока не удостоверюсь, что он водит уверенно. В ответ на мои осторожные (чтобы не критиковать) замечания он ободрял меня: – Успокойся по этому поводу. Ты же знаешь, в Ленинграде я много ездил по снегу и льду.

– Только там, скорее всего, нет такого движения, и не нужно так часто тормозить.

– Ты можешь быть совершенно спокойна, ничего не случится.

Позже я узнала, что по дороге в университет, когда меня рядом не было, он один раз уже слегка столкнулся с трамваем. Но предпочел об этом осторожно умолчать.

Однако все прошло хорошо. В Вартбурге было всего несколько человек – роскошь, которую трудно себе представить. В Придворной церкви в Дрездене мы слушали «Мессию», в Веймаре нас приветствовал памятник Пушкину, а Эйзенахе средневековый рождественский рынок с гигантской сибирской ёлкой.

Очень символичным было то, как мы 24 декабря, когда в Германии празднуют рождественский сочельник, искали гостиницу. Оратория закончилась поздно, и мы медленно поехали по Дрездену в поисках

пансиона. И тут выяснилось, (я никогда еще не путешествовала под Рождество) что в это время почти все закрыто кроме дорогих первоклассных отелей, которые мы отвергли из принципа. Уже давно стемнело, люди начинали праздновать. Мы стали опасаться, что не найдем приюта на ночь. Уже приуныв на звенящем морозце, далеко от центра города я вдруг увидела наполовину заснеженную вывеску «Свободные номера»… Оказалось, что хозяева просто забыли снять вывеску и на самом деле хотели, чтобы их оставили в покое. Но увидев нас, замерзших, бездомных и, судя по тому, что все рестораны были уже закрыты, без надежды на ужин, эти люди превратились в настоящих ангелов: они не только приютили нас в симпатичной, маленькой, как раз пустовавшей пристройке, которую снимали их родственники, но и разделили с нами свою скромную рождественскую трапезу: картофельный салат и сосиски. Утром подали еще и завтрак, и все это за такую смехотворную цену, что мне стало совестно, и я оставила им на кухне сумму в два раза больше. Какой пример человеческого тепла, и насколько типичный, как я позже узнала, для жителей бывшей ГДР.

В этот сочельник мы впервые болезненно почувствовал разницу в нашем происхождении. Сколько я себя помнила, мы в нашей большой семье, где было семеро детей, отмечали Рождество особенно торжественно, даже тогда, когда у нас совсем не было денег. Никакая нужда  не могла отнять у нас песен, которые моя мать разучивала со своими детьми и племянниками на несколько голосов, никто не мог отнять у нас старинных текстов, которые она находила, чтобы читать нам вслух.

Однажды, я даже представляла младенца Христа в живой картине, которую она сочинила, это было, когда мы, в 1945 году праздновали Рождество в бомбоубежище, потому что квартиры с выбитыми окнами и без отопления в холод были непригодны для жилья.

***Рождество 1945 года***

*В маленьком, с низким потолком убежище тихо, только тусклая лампочка мерцает. Передняя часть помещения отгорожена натянутым поперек дырявым шерстяным одеялом, позади расставлены предметы, на которых можно сидеть – табуретки, ящики, старые стулья. Вот слышатся шорохи и невнятное бормотание. Скрипя, открывается железная дверь, и, шаркая ногами, входят и рассаживаются по местам усталые люди. Они не разговаривают друг с другом. Закутанные в одеяла, они все выглядят какими-то старыми, серыми, измученными, полуголодными; они откашливаются, в их лицах – остатки страха, холода, покорности, голода. Немногие ряды медленно заполняются, собирается человек 25-30. Кто-то зажигает свечу и гасит скудно светящую лампочку. Немыслимо оставлять в полной темноте людей после того ужаса, который они вынесли во время бомбежек в этих сырых, лишенных света подземельях. Но в это время кто-то открывает занавес, и люди замирают в удивлении: на маленькой самодельной сцене, так близко, что можно дотронуться, – живая картина. В нежном свете свечей сидит сияющая юной красотой кудрявая черноволосая девочка в небесно-голубой накидке, у нее на коленях запеленатый в лоскуты златовласый ребенок, рядом долговязый мальчик с мохнатым одеялом на плечах, в шляпе с широкими полями и с большим посохом в руке. Эти дети беззаботны, будто они с другой звезды. К ним подходят другие – в них можно распознать ангелов –*

*и по знаку начинают петь. Они поют старые, древние многоголосные хоралы и мадригалы, которым по двести и более лет, оглушительно громко и беспечно в этом унылом и безнадежном подвале, как будто бы не было войны, бомбежек и голода и в какой-то момент замолкают, также внезапно, как и начали.*

*На сцене появляется пожилой мужчина. У него на спине горб, как у сказочной ведьмы, но все знают, какой он добрый. Он исполнен достоинства, наш дядя, после смерти отца он взял нас в дом и растил как собственных детей. Он садится на стул, берет в руки книгу и начинает читать. Он читает медленно, часто делает паузы, иногда вовсе останавливается, смотрит на зрителей и говорит так, как будто бы эти торжественные слова сами собой приходят ему в голову. Это история рождения Христа из Евангелия от Луки:*

*В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна…*

*В какой-то момент эта история заканчивается. Любой из присутствующих, скорее всего, может рассказать ее наизусть, хотя истово верующих здесь почти нет. Склонены седые и темноволосые головы, будто слушающие силятся что-то отыскать в воспоминаниях.*

*Тишина.*

*И вдруг снова звонкие голоса детей: IN DULCI JUBILO…*[22] *Будто всполохи света проносятся эти звуки над склоненными головами. Три строфы, а, кажется, что счастье никогда не закончится, что последние шесть лет были лишь кошмарным сном.*

*Тишина.*

*И вот появляется моя мама, это она втайне разучила все представление с детьми, не снимавшими пальто, шапок и варежек там, наверху, в квартире с пустыми глазницами окон при пятнадцатиградусном морозе. Она читает одну из красивейших в немецкой поэзии баллад Конрада*

[22] «В сладком ликовании» (традиционный рождественский хорал).

*Фердинанда Майера, где говорится о раздоре между братьями в доме Габсбургов. Баллада называется «Струящийся пурпур»*[23]*. В Рождество брат, поднявший мятеж против другого брата и поверженный в борьбе, приходит при всех просить прощения. В соборе, где собрался весь двор, он, в потрепанной, рваной одежде, ожидая приговора, склоняет колени перед облеченным королевской властью родным человеком. Слышится колокольный звон. И тут король, долго и молча смотревший на своего нищего брата, расстегивает пряжку роскошной пурпурной мантии, и мантия, струясь, ложится на плечи раскаявшегося предводителя обездоленных, которые собрались за ним в очередь, ожидая обычных для рождественского праздника подарков.*

*Они выглядят примерно также как наши зрители в убежище.*

*Эйа, Рождество – эйа, Рождество…*

*И первый из просящих в одежды облачен…*[24]

*В последний раз звучат ликующие детские голоса. Как будто сошлись друг с другом люди из баллады и люди в убежище, и все совпало…*

*Мир грехом томился,*

*Вот Христос родился…*[25]

*Вдруг зрители с ошеломлением понимают, что история, о которой рассказывается в этом представлении, их собственная. Спустя тысячу или две тысячи лет ничего не изменилось. Их глаза полны слез по их несчастьям, их потерям, может даже, по их вине…*

*И тут вместе с последними звуками хорала раздается испуганный голос младенца Христа – в течение всего праздника он стойко лежал на коленях*

[23] В оригинале „Der gleitende Purpur“, пер. Е.Мамоновой

[24] В оригинале: „Eia Weihnacht – eia Weihnacht… / Und der erste Bettler steht bekleidet. Пер. Е.Мамоновой

[25] В оригинале: „Welt ging verloren/ Christ ist geboren… Пер. с нем. Алексея Жижина

*Марии и уже перестал понимать этот мир. Почему все вдруг плачут? Разве не рассказывали ему, что Рождество – это день, когда все радуются?*

*– Мама!... Мама!... Поцелуй меня, пожалуйста!!!!*

*Все собравшиеся в подвале разражаются освобождающим смехом.*

*Ситуация спасена. Теперь действительно настало Рождество. Есть немного скудной еды, невесть откуда принесенной взрослыми. Разливают жидкий чай – все что-то говорят.*

*Младенец Христос – это я, в тот момент мне три года.*

*Мой дядя Гюнтер, которого не взяли на войну из-за рахита, читал рождественскую историю каждый сочельник, пока мы не выросли, хоть никто из нас и не был особенно религиозен. И даже в более поздние времена, когда наши взгляды уже жадно устремлялись к подаркам в белых обертках, мы все-таки с любовью слушали его полный достоинства, торжественный голос, старомодные выражения и этот чудесный рассказ, без которого немыслима европейская культура.*

*

Мы все еще оставались в Дрездене. Ефим лежал на диване и со спокойной душой читал газету. Вдруг я почувствовала себя покинутой, чужой всем, не знаю, как это выразить. Мы оба не были верующими, близкими к церкви или набожными людьми. И я уже знала, что для русских Рождество, вообще, ничего не значит, и что вместо него они празднуют Новый год. Но я почувствовала, как мне становится все печальнее и печальнее. Почему нам так важно, чтобы нас понимали без слов? Я поняла, что еще чуть-чуть, и стану совсем несчастной, если ничего не скажу. Ведь было Рождество – к нам должно было прийти наше старое, прекрасное детское Рождество. Я вспомнила о матери и едва сдержала слезы. Нужно немедленно заговорить, а то случится несчастье. Он должен оторваться от

газеты, посмотреть на меня, утешить меня… Слова давались мне с трудом: – Прекрати читать, отложи эту чертову газету. Ради Бога, прекрати читать…

Ефим смотрел с удивлением, смотрел прямо мне в глаза и понимал, что что-то не так. Но что? Я рассержена – на него? На себя? Рассержена, хоть и не хочу сердиться? Я что-то лепетала. Наконец, мы сели рядом, газета полетела в угол, и мы начали рассказывать, рассказывать друг другу истории из наших таких разных детских лет, спрашивать, перебивать, слушать – сначала мои рождественские воспоминания, потом его.

Когда его отца-еврея схватили и бросили в тюрьму, матери – она пользовалась популярностью как исполнительница цыганских и русских народных песен, но прекратила концертную деятельность по желанию отца – пришлось ездить по деревням и поселкам и петь там, чтобы привлекать в эти уголки рабочий персонал. Ее желания никто не спрашивал, жалованья ей не платили. Маленький Фима ездил с ней, носил ее чемоданчик с концертным платьем и туфлями и повсюду терпеливо ждал, пока наполовину замерзшие и смертельно усталые около полуночи они смогут возвратиться домой. Позже я всегда об этом вспоминала, когда он мне объяснял, что ничего не понимает в музыке и никогда ей не учился. Ребенок должен был чувствовать отвращение, испытываемое матерью к этому приказному художественному варварству. Только после того, как в Берлине (и в Петербурге) мы начали постоянно ходить в филармонию – причем я всегда заранее рассказывала ему содержание музыкальных произведений (мой брат играл в филармоническом оркестре в Роттердаме) – он стал проявлять к ним серьезный интерес. Кроме того, наши друзья-оркестранты в Берлине после концертов всегда жадно внимали его комментариям – он никогда не делал банальных комплиментов, слова, находимые им, происходили из самого нутра его и выражали его внутренние переживания. Это было одновременно ново, оригинально, в самом прекрасном смысле этого слова наивно и умно. Поэтому для меня было всегда огромным удовольствием ходить с ним на концерты или

оперные представления. В связи с этим мне вспоминается замечательная привычка моей матери из более позднего послевоенного времени: перед тем, как пойти в театр или на концерт, она приходила к нам, детям, чтобы пожелать спокойной ночи, и подробно рассказывала, что будет происходить на сцене, и о чем будет говориться в музыкальном произведении.

Она все всегда знала заранее – каким-то чудесным, как мне тогда казалось, образом. Лишь позднее я поняла, что она уже видела и слышала все эти вещи во время ее молодости, в Берлине, она сама играла на фортепьяно и пела и была на многих, ставших знаменитыми выступлениях певцов и оркестров под руководством великих дирижеров. В такие моменты она казалась нам роскошно одетой, от нее пахло духами, ее раскосые зеленые глаза лучились, а предвкушение радости от вечера окутывало ее таинственным светом. Музыка всегда была для нее праздником, и она оставляла немного этой праздничной атмосферы в наших темных комнатах и тоскующих сердцах, только и ждущих того, чтобы назавтра услышать новые подробности музыкального действа. Хотя мы к этому времени были еще все также ужасающе бедны, это все-таки были гораздо лучшие условия, чем те, в которых маленькому Фиме приходилось проявлять сознательность и ответственность, когда он оберегал свою мать и помогал ей, и я не могла понять, почему она его никогда его не хвалила и не благодарила, а считала все это само собой разумеющимся.

Так мы дарили друг другу истории к рождеству и о рождестве, все больше узнавая друг о друге, и ожидая все новых рассказов, пока не согрелись, и пока наши глаза не заблестели от воспоминаний. С этого момента я всегда, когда мы отправлялись в путь, брала с собой свечу – маленький источник света в дорожной бесприютности. И в Бретани, где мы потом часто проводили рождественские каникулы, всегда была большая ёлка, порой скромно, порой роскошно украшенная, но с настоящими свечами. Мои братья и сестры, дети и внуки, поочередно или все вместе

приезжавшие к нам, наслаждались этим и чувствовали себя дома. И все же я до сих пор не могу простить судьбе то, что в это время со мной уже не было моей матери. Без сомнения, они бы поладили с Ефимом. Он уже начал перенимать ее манеру говорить и повторять ее выражения. Они нравились ему своим своеобразным юмором, жизненной мудростью, комической игрой слов. – Жаль, – всегда говорил он. – Как жаль, что я с ней не познакомился!

**Карлсруэ**

Мы разыскали квартиру моей дочери за городом на прелестном холме, и вот уже пили чай. Ее огромный пес милостиво принял Ефима в качестве члена семьи – это уже многого стоит. Пса взяли из приюта для бездомных животных, поэтому он был недоверчив и, в принципе, не любил мужчин. Похоже, раньше его часто били. Но Саския, много знающая о животных, уже хорошо приручила его при помощи только любви и понимания. Ее мужа я сама видела лишь во второй раз в жизни. Он был приветлив и вежлив, но сдержан, как будто боялся что-то о себе выдать.

– Почему ты не рассказала мне о том, сколько грации и достоинства в твоей дочери? – спросил Ефим.

– Но я ведь много хорошего тебе о ней рассказывала.

– Конечно, рассказывала, но не о ее красоте. Что ты будешь делать, если я в нее влюблюсь? Я невольно улыбнулась. Эта древняя мужская фантазия о соперничестве между матерью и дочерью, вообще, между женщинами. Зачем им это? Чтобы сделать мир понятнее, попытавшись упорядочить при помощи упрощенных категорий то, что приводит в смущение? Может, он вспомнил о Горьком и его падчерице. Так или иначе, он просто шутил, желая показать свое удивление и радость. Он чувствовал и ту совершенно особую связь между мной и дочерью – она унаследовала больше черт от моей матери, чем от меня самой, а красота точно досталась ей от персиянина отца. В конце

концов, это смесь кровей, давшая очень характерную внешность. Я знала, что он ее полюбит, ведь он всегда тотчас же распознавал ценное в человеке. А она сразу же ощутила близость и тепло между Ефимом и мной и сразу же всем своим большим сердцем полюбила его. Дочь была на третьем или четвертом месяце беременности и с огромной радостью ждала своего первого ребенка.

И вот мы уже были *on the road again*[26] – снова в пути, теперь в Париж, где нас ждала названная в честь матери младшая дочь Ефима. Они с мужем жили в квартире Ефима, хотя у них была своя – также его подарок. Но поскольку муж не работал, они ее сдавали и таким образом, экономили много денег. Я очень волновалась, Ефим ничего не рассказал дочери о наших отношениях, боясь, что это может ее ранить. Но его жена умерла уже восемь лет назад. Я еще не догадывалась, как он старался избежать недовольства своих дочерей. С особенно восторженной гордостью он всегда говорил мне о старшей. Тем удивительнее оказалось для меня первое впечатление, полученное от общения с Машей ещё до нашей с ней встречи. Это произошло так:

В календаре с пражскими фотографиями мне хотелось поместить дни рождения значимых для Ефима людей, чтобы это выглядело как настоящий календарь. Это должен был быть сюрприз ко дню рождения. Об этом я написала ей в Торонто, без подробностей, только самое необходимое, но дружелюбно и уважительно, как это было для меня естественным. Вместо того чтобы ответить, она позвонила отцу в Париж: – Что за женщина мне написала? Сумасшедшая? Что мне ей ответить? Ты ее, вообще, знаешь? Не буду я ей ничего отвечать…

Однако, Париж по началу показал себя с дружелюбной стороны, так или иначе у меня оставалось только два дня, после чего мне нужно было

[26] Песня Вилли Нельсона

возвращаться в Орегон. В его квартире я была представлена как гостья, и вела себя как гостья. Слава Богу, младшая дочь Ефима и ее муж ложились рано и оставляли нас вдвоем. У нее рано начались длительные проблемы со щитовидной железой, поэтому она не работала. Меня она встретила радушно и приветливо, много и охотно смеялась. В большинстве случаев Ефиму приходилось переводить, поскольку я не учила французского в школе и с трудом, при помощи латинского, который зубрила девять лет, подыскивала нужные слова. Зять Ефима немного говорил по-английски – так мы бросили в один котел все языки, которые знали, и общались на этой веселой тарабарщине.

**Дорогая Светлана,**

Я пишу тебе из Парижа. Иногда это тяжело, жить с Монументом, ведь все думают, что им непременно нужно его потрогать, приблизиться к нему, и что он принадлежит им также как и остальным. С ним никогда невозможно остаться наедине, разве только, когда темнеет, очертания расплываются, и прохожие думают, что это кто-то сам по себе. Мы часто играли в эту игру, садились, как статуи, а люди нас обходили. Многие, наверно, принимали нас за клошаров. В Париже тебе никто не посмотрит вслед, даже если ты делаешь вещи, которые не стоит делать на публике. Обычный вуайеризм в этом городе уступает место чудесной толерантности. А тот, кто любит, здесь и вовсе всегда прав. Когда же кругом пустеет, Париж становится большой комнатой, в которой мы можем вести себя так, как будто нас никто не видит. Парк становится нашим садом, скамейка стоит за домом. Нет соседей, только прохожие.

Совсем по-другому было еще недавно в Петербурге. Ранним утром мы приехали в Царское Село, так рано, что Екатерининский дворец был еще закрыт. Огромный парк как гигантский платок раскинулся перед нами в

своей слепящей белизне – ночью выпал первый в этом году снег. Мы ощущали себя настолько вне времени и вне пространства, что не удивились бы, если бы сама Екатерина вдруг вышла из под свода одной из арок. Вместо этого в отдалении мы увидели памятник или статую, выделявшуюся на темной синеве неба. Когда мы подошли ближе, то увидели, как вокруг этой, как оказалось обнаженной мужской фигуры, устремив изучающий взгляд в область ягодиц, задумчиво кружит какой-то человек. Пока мы приближались, он успел несколько раз обойти вокруг статуи, как будто бы хотел запомнить ее облик до конца своих дней.

– Спорим, что он гей, – полушутя сказала я. – Почему ты всегда думаешь о чем-то таком, – возразил с нежным упреком мой муж.

– Посмотри, как он ест глазами эту статую. Вот сейчас он подойдет к Тебе, и скажет, как долго он ждал встречи с Тобой – как все эти бывшие студентки, гардеробщицы или посетительницы музеев, с восторженными глазами бросающиеся Тебе навстречу, и вопрошающие с этим просветленным выражением лица: Ефим Григорьевич, Вы меня, правда, не узнаете?

В это время мы вплотную подошли к памятнику. Внезапно человек прервал свое кружение, воззрился на Ефима, ринулся к нам и воскликнул с заученным пафосом: – Ефим Григорьевич! Какая радость! Я уже двадцать лет жду, что мы с Вами встретимся в этом парке! Вы помните, о чём мы с Вами в прошлый раз говорили?

Пока Ефим, с трудом сохраняя самообладание, вежливо говорил с мужчиной, пытаясь вспомнить, кто это, меня сотрясал смех. Позже Ефим вспомнил, что это был – конечно, как могло быть иначе – его бывший студент, ставший актером. И что, скорее всего, он и вправду был геем, хотя Ефиму тогда мало что было известно о таких вещах.

Примерно также было в Хельсинки. Как часто мы бывали в Хельсинки? Ефима так любили в этом университете, что с удовольствием забрали бы к

себе навсегда. По настоятельному приглашению мы ездили туда, по меньшей мере, четыре раза и проводили там по нескольку недель, в том числе, когда племянник Ефима, Александр Эткинд, защищал диссертацию. Фима был оппонентом (по российской модели) – долгая церемония, в течение которой кандидат должен представить свой научный труд (в данном случае это была диссертация по социологии). Замечательно то, насколько дружественно и одновременно с каким подобающим в научной среде взаимным уважением оба ученых общались друг с другом. Я сама оценила такого рода ритуалы, только когда приехала в США, в Германии в семидесятые годы они скорее осуждались и сводились к минимуму. В начале восьмидесятых я однажды уже плавала на маленькой парусной лодке от Стокгольма до Хельсинки, с подругой и одним парнем, которого мы взяли с собой помогать там, где нужна мужская сила. Особенно поразил тогда мое воображение вход в порт с расположенными полукругом украшенными колоннами зданиями, которые, как будто вывезли из Петербурга – правда, тогда я еще не бывала в Петербурге и восхищалась этим, приближенным к нему великолепием. Люди там все кажутся сытыми и довольными, что немного похоже на Швейцарию. Только когда выяснилось, что вход в туалет здесь в пересчете на нынешние деньги стоил ни много ни мало евро, я пустилась в размышления о том, насколько далеки здесь друг от друга, должно быть, бедные и богатые.

Когда Ефим закончил со своими упражнениями и лекциями, мы пошли в музей, роскошное здание, конечно же, с колоннами и с бесконечными во всех направлениях анфиладами комнат. Залы были почти пусты. В это предобеденное время вокруг царила полная тишина. Вдруг где-то вдалеке послышалось медленное, но настойчиво приближавшееся цоканье женских каблуков. Наконец, в одном из коридоров, ведущем, по меньшей мере, через десять залов, мы увидели шагающую к нам даму, сначала крошечную, потом постепенно увеличивающуюся. Внезапно она остановилась перед нами, в замешательстве решающими, куда идти дальше, нисколько не удивившись,

взглянула Ефиму прямо в лицо и, абсолютно не замечая меня, укоризненно, будто строгая тетка, но с затаенной в уголках глаз нежностью сказала:

– Ефим Григорьевич, почему Вы мне не сказали, что Вы здесь? Я бы Вам все показала.

Тут он вдруг снова стал Монументом, на который каждый и, прежде всего, каждая может претендовать. Такие сцены постоянно повторялись на протяжении всей нашей совместной жизни. К тому моменту я об этом уже немного знала, и понимала, что на следующие несколько минут я перестану существовать, пока Ефим с трудом не вспомнит, кто перед ним, не представит нас друг другу, и пока на лице женщины не появится бессознательное выражение разочарования или недовольства (на лицах мужчин появлялось скорее любопытство и одобрение) – ведь теперь уже было невозможно мечтать о том, чтобы каким-нибудь необычайным способом его заполучить и идти с ним вместе по путям, освещенным признанием и любовью, с которыми к нему все, очевидно, относились.

Разве так бывает? Разве бывают люди, которых любят все? Разве это, вообще, нужно, чтобы тебя любили все? Гораций, по-моему, сказал по этому поводу:

*discite, mortales, nil pluriformius amore.*

Запомните, вы, смертные: Ничто так не многообразно, как любовь.

Мне вспоминается моя мать, пытавшаяся донести до меня, что всякую любовь, которую тебе дарят, нужно уважать, и быть благодарным за нее, даже если не можешь на нее ответить. Тогда я трудом могла понять такую мораль. Я страдала известной болезнью подростков – была влюблена в недостижимый идеал и не обращала внимания на тех, кто обожал меня. И при этом я должна была нести ответственность за любовь, которой не хотела? Как быть с тем, кто, если не внять его мольбам, может броситься с моста через Рейн? Или с тем, кто на коленях умоляет тебя быть с ним хотя бы из жалости? Особенно противный вариант, в тайне меня возмущавший.

Разве это ни что-то вроде священной проституции – не важно, в плотском или духовном выражении? Или если кто-то требует от тебя пойти с ним на чердак, чтобы излечить его от пьянства? Нет, я сейчас не про *Легенду о святом пьянице* Йозефа Рота, и не о романе Достоевского, а о реальном происшествии с одним абсолютно чужим мне человеком, который в Германии в конце пятидесятых, как-то шел за мной по улице, а после заговорил со мной. Если бы моя мать не была такой мудрой и понимающей, то я бы и вправду могла с воодушевлением броситься в эту акцию спасения, ведь синдромом помощника – тогда еще его так не называли – я была одержима также как и романами Достоевского, которые я тогда читала, как и, вообще, свойственной данному возрасту тоской по сильным чувствам. Тем не менее, мудрость моей матери имела самые разнообразные последствия: с одним из моих почитателей из того времени, когда мне было шестнадцать, меня и сегодня – хоть мы и подолгу не встречаемся – связывает такая же крепкая дружба, как и с моими братьями; я чувствую себя с ним очень комфортно, всякий раз, когда наши столь разные пути сходятся. То, что он любил мою мать как свою собственную, связывает нас сильнее, чем это могла бы сделать любовная история.

Поэтому и в отношении Ефима я постепенно научилась очень четко отличать тех, с кем у него было общее прошлое, общие друзья и враги, от тех, кого я называла фанатами, от тех, что по старому доброму обычаю возводили вокруг него культ личности, проецируя на него то, что скорее было присуще им самим, а не ему, или даже просто хотели его использовать. Конечно, были и те, кто хотел погреться в лучах его славы, как та дама в парке Сан-Суси в Потсдаме, которая, услышав, как мы с друзьями из Петербурга во время прогулки разговариваем по-русски, внезапно заговорила с Ефимом в таком духе, как будто знала все его тайны, прежде всего, его биографию, и как будто уже по одному этому он был обязан общаться с ней как с близкой знакомой. Таких встреч он совсем не любил. Но она за ним так

гналась, что ему не скоро удалось ускользнуть от нее. Мне стало жутковато от того, как она хвасталась знанием о различных ситуациях его жизни, от того, как грубо она ему льстила, и одновременно от требовательного тона, сквозящего в этой лести, и, наконец, ставшего причиной того, что обычно вежливый Ефим, позволил себе с видимой сдержанностью откланяться под предлогом, что мы – те, на кого она не обратила никакого внимания – его ждем.

В конце концов, выяснилось, что она, по всей видимости, по заданию штази, часто работала в Советской России в качестве переводчицы, что ее муж, с которым она обращалась как с пуделем, был офицером военного транспорта, и что они оба, прежде всего, конечно, она, возмущены тем, что в объединенной Германии им не полагается повышенной пенсии. Мы долго боялись, что эта дама объявится у нас в доме, чтобы и дальше опутывать нас своими бесконечными тирадами, но она, должно быть, почувствовала отчужденность Ефима, и мы были сердечно благодарны ей за то, что более она к нам не приближалась.

В нашей парижской квартире как-то, в один из тех редких моментов, когда Ефим был дома без меня, возник совершенно незнакомый ему русский тенор и стал убеждать Ефима в том, что тот морально обязан поддержать его и его семью, а также устроить его на работу. Тут даже Ефиму стало ясно, что нужно сразу же установить самые жесткие границы, пока этот товарищ у нас не обосновался.

У Диккенса в одном из его величайших романов есть похожая героиня. Она живет за счет других и при этом умеет так умно, льстиво, вызывая сострадание, говорить, что никто не решается вышвырнуть ее прочь. По-моему, по поводу тенора нас кто-то предупредил, рассказав о похожем случае, в котором пострадавшим лишь спустя долгое время удалось отделаться от кровососа.

Дорогая Светлана, на сегодня все.

Более подробно напишу в следующем письме. Эльке.

*

Мы уже знали о странных слухах, пышным цветом расцветавших вокруг нас с Ефимом. Несколько лет назад в одной из российских газет можно было прочесть, что он (как того требуют законы романного жанра), женившись на красивой, молодой и, прежде всего, богатой женщине, остался с ней в Германии. По поводу «красоты» не мне судить.

Можно ли в пятьдесят считаться молодой – это как посмотреть. Но уж богатой в смысле материальных благ я никогда в своей жизни совершенно точно не была, мои доходы ограничивались тем, что я получала, работая профессором в университете. Это, конечно, было намного больше, чем пенсия моего мужа. Во Франции, в Сорбонне (Париж-Х Нантер), он преподавал не больше пятнадцати лет, поэтому пособие по старости у него было очень маленьким. Он, конечно, постоянно зарабатывал, будучи приглашаем зарубежными университетами, читая доклады, но все это сразу же уходило на публикацию какой-нибудь из его книг или на ремонт дачи в Бретани. Мы никогда не разделяли доходов. Тот, кому было что-то нужно, спрашивал у другого, может ли он выделить своих денег и без долгих разговоров получал их, для нас такое положение вещей было естественным. Только когда все больше людей стало обращаться к нам за поддержкой – купить дорогие лекарства или оказать какую-то другую помощь (иногда она требовалась регулярно) – я стала следить, чтобы он не слишком много работал даром. Он с трудом учился спрашивать о том, какой гонорар будет ему предоставлен за его интеллектуальный труд, даже когда его приглашали на радио или на телевидение. Часто мне казалось, что он уже практически прославился своей скромностью как в Германии, так и во Франции (собственно, и в России тоже), и люди этим пользовались. При этом меня

всегда злило, когда он вдруг оказывался расстроенным из-за того, что мы не могли сразу внести деньги за публикацию его нового труда, также как меня, вообще, злило то, что российские издательства не печатали его книг, пока он не оплачивал расходы на печать, хотя там прекрасно знали, что самое позднее через две недели после выхода книги в свет все ее экземпляры будут раскуплены. Они тоже знали, с кем имели дело, и с какой беззаветной страстью Ефим служил русской литературе. В любом случае, от славы о нашем мнимом богатстве отделаться было невозможно – так все турки в Анатолии думают, что их родственники, вшестером живущие в одной комнате рабочего общежития в Германии, вкалывая, например, на компанию Сименс, все сплошь миллионеры, только потому, что умудряются посылать домой часть своей скромной зарплаты. Может, мы и были богаты, но это было богатство совсем иного рода. Всякому, кто нас видел, это становилось ясно, и позже некоторые наши друзья в своих автобиографических книгах недвусмысленно писали о том счастье пребывания друг с другом, которым светились наши лица.

**Снег**

*Вчера был день, какие Ты любил. Снег, бесконечно много снега, парк превратился в белый оазис – дети, визжа от восторга, катаются на коньках, смеются их родители. А этот легкий хруст под ногами, раздающийся при каждом шаге! Внезапно в Берлине стало как в России. Ты сиял как ребенок, когда под Рождество случалась такая погода. Все твои печали утихали в такие моменты.*

*Также было, когда мы с тобой впервые поехали в Ленинград. Собственно, остановились мы в Москве, в одной из этих гигантских гостиничных коробок недалеко от Красной площади, мы приехали на съезд общества Бёлля. Знаменитый около полуночи отходящий из Москвы в*

*Петербург поезд тайно, будто беглецов, забрал нас отсюда: я ведь должна была увидеть твой горячо любимый город. Саша, твой племянник, встретил нас на машине. Там мы и заночевали – у него с его женой Мариной и тогда еще совсем юной дочерью Анной. Сейчас она стала красивой, уверенной в себе молодой женщиной.*

*Мы тогда много пили – а когда мы этого не делали? В один прекрасный момент мы заметили, что ты пропал. В конце концов, мы нашли тебя на одной из кроватей – ты просто устал, прилёг и, почувствовав себя в комфортной домашней обстановке, крепко заснул. Все смеялись так, будто ты сделал им какой-то чудесный подарок. Через несколько минут они уже и меня устроили спать рядом с тобой. У русских друзей всегда так было – без лишних условностей, великодушно, со смехом и импровизацией. Русские, вообще, чемпионы мира по импровизации.*

*На следующий день Саша на старенькой, когда-то подаренной ему Ефимом «Ладе» повёз нас смотреть город. Наконец, мы остановились в Смольном монастыре с его сияющими золотыми куполами. Дверь была не заперта, поблизости никого не было. Скорее всего, за день до этого здесь давали концерт. Посреди комнаты стоял великолепный концертный рояль. Я не смогла удержаться, чтобы не проверить, закрыта ли крышка. Нет, необъяснимым образом, не закрыта. Я взяла несколько аккордов, чтобы проверить звук – удивительный инструмент! На лицах мужчин отобразился испуг. Но рояль так и манил меня – и вокруг никого не было. И я сыграла наизусть несколько пьес, из тех, что мои пальцы знали еще с детства, немного из Баха, немного из Моцарта – в пустой церкви звучание было чудесным, и я уже не чувствовала себя здесь такой чужой. Позже Фима с гордостью всем рассказывал, что я давала концерт в Смольном – только для него и Саши. А еще позже я сама побывала на концерте в Смольном. Марина и Саша давно развелись, у них другие семьи, Саша со своей женой-американкой живет и преподает в Англии, в Кембридже.*

*Но снег – это что-то захватывающее. С тех пор мне больше нравилось бывать в Петербурге зимой, чем летом. Разве может быть что-то выразительнее, чем березы в снегу или сияющая солнечная желтизна петербургских дворцов, увенчанных белыми шлемами, с черными письменами голых ветвей на фасадах. Когда мы в Потсдаме или в Берлине гуляли по огромным паркам и лесам, Ты чувствовал себя как дома, и даже при самых низких температурах ничто не могло удержать Тебя от Твоих обычных утренних упражнений на свежем воздухе. Не забыть ту долгую прогулку в один из наших более поздних приездов в Петербург. Тогда мы уже жили в нашей второй квартире на проспекте Мориса Тореза. С четвертого этажа открывался вид на прелестный маленький парк и на бережно восстановленный особняк девятнадцатого века. Наша первая квартира, средства на которую в качестве компенсации за изгнание Ефима предоставил нам Собчак, когда был мэром города, была, на наш взгляд, чересчур шумной, чересчур темной и находилась чересчур в центре (Маяковская/ Невский Проспект), кроме этого вокруг вообще не было зелени. Посреди просторного двора треугольной формы возвышались из переполненных контейнеров груды мусора – роскошная игровая для крыс. Вид из окна был безрадостным, а как только становилось тепло, поднималась жуткая вонь. Мы ее продали, не избежав драматичных запретов со стороны его дочери, мечтавшей совсем о другом. Взамен нее мы купили маленькую квартиру для дочери Ефима, жившей в Петербурге, и немного большую (двухкомнатную) для нас самих, все это при профессиональном и надежном посредничестве старой подруги Ефима. Она также любезно позаботилась об организации ремонта и переводе денег (за первую квартиру нам всё-таки понадобилось самим внести десять тысяч долларов, и поскольку у нас обоих их тогда не было, мне пришлось занимать у друзей). Мы совершали бесконечные прогулки от того места, где*

*находилась наша вторая квартира. За домом начинался лес – собственно, это было место, где раньше находился аэропорт. Там можно было часами гулять, не встретив ни одного человека. Помнится, мы рассуждали о жизни людей в Петербурге после Перестройки, о безрадостности в их лицах, бедности, быстро вспыхивающей агрессии и об исчезнувшем, даже среди молодежи, смехе – это постоянно огорчало меня, стоило мне взглянуть на усталые, отрешенные лица людей в метро. Мы шли и вдруг – как будто в ответ – услышали, как вдалеке кто-то смеется. Я не могла поверить, меня это очень взволновало.*

*– Фима, пошли быстрее, я хочу разыскать, где это и что!*

*– Но смеются очень далеко отсюда. Мы заблудимся.*

*– Не имеет значения. Я хочу найти, кто это здесь, в конце концов, так непринужденно смеется.*

*В тот день было почти минус тридцать. Сухой мороз, при котором не так уж и мерзнешь, если тепло одеться и двигаться. Мы шли и шли, не разбирая пути, следуя за смехом, как за указателем, и, наконец, миновав кустарник и густые заросли, увидели сюрреалистические декорации: при тусклом свете, кто стоя, кто сидя на шатких деревянных скамейках, около двадцати мужчин разного возраста мерзли, смеялись и наблюдали за тремя или четырьмя шахматными партиями между их товарищами с красными руками и носами. Каждые две минуты то один, то другой вынимал фляжку из кармана пальто, чтобы сделать глоток водки. Все были в приподнятом настроении.*

*Мы рассказали им, что следовали за смехом, их это развеселило, они тут же пригласили нас принять участие в игре и предложили водки. У меня потеплело на сердце. Из вежливости мы выпили по глоточку, попрощались со всеми и пошли восвояси. Но долго еще они были слышны нам – снег проводит звук как вода – собственно, я слышу их и сегодня. Просвет на фоне общей серости, которая лишь спустя годы начнет сменяться более яркими*

*красками. Я стала понимать, какая буйная сила таится в этих людях, и как унизительна и непереносима их трудно вообразимая бедность в сравнении с теми немногими, что загребают себе бесчисленные богатства: с новыми русскими, с ними мне тоже придется познакомиться.*

*

Несколько раз мы проводили рождественские и новогодние праздники в Петербурге. Я помню, как по началу собирала до пяти чемоданов, до отказу набивая их подарками для всех, с кем успела познакомиться. На таможне только беспомощно качали головами, но при этом оставляли меня в покое. Позже стало сложнее, но это уже было то время, когда в крупных торговых центрах Петербурга можно было купить практически все. В большинстве случаев в день нас ждали в гости сразу в двух-трех домах – невозможно успеть ко всем в такое короткое время. Но у некоторых было преимущество: мы всегда виделись с верным Гришей, его женой Мариной и часто с их горячо любимой внучкой Ольгой, всегда ходили к Дьяконовым, жившим недалеко от Смольного и очень далеко от нашей квартиры. Я никогда не забуду, как мы были у них в гостях в новогоднюю ночь в начале девяностых. Пока мы сидели, пили и ели (абсолютная загадка, как русские из того немногого, что у них есть, могут волшебным образом накрыть богатый стол), начался снег, который продолжался и тогда, когда, после того, как все принесенные нами бутылки французского вина были пусты, в два часа ночи мы собрались домой. Общественный транспорт уже не шел. Частным такси тогда еще опасно было доверять.

Мир же вокруг выглядел так чудесно и празднично, что мы вдруг решили пойти домой пешком по свежему, нетронутому белоснежному ковру, раскинутому перед нами и поглощавшему все шумы, так что, идя по пустому

городу, мы словно парили из старого года в новый. Какое это почти необъяснимое чувственное и одновременно духовное счастье!

Все, кто нам попадались на встречу, были веселы, пили или смеялись (при этом не были пьяны) и издалека кричали нам: *С Новым годом!!*

В эту ночь я не испытывала страха, как это порой случалось, не оглядывалась постоянно, смотря, не идет ли кто следом за нами, я доверяла этим невинным радостным голосам, которые, казалось, на короткое время вынырнув из пучины тоски, увлекали нас за собой в мир необоснованных и для большинства несбывшихся надежд на то, что жизнь станет легче, а мир лучше. Было так светло, почти как в белые ночи, и снег скрашивал бедность и увечность домов и улиц вокруг. Я удивлялась силе и уверенности, что светились в глазах, в особенности, у молодых, и испытывала стыд при мысли о том, сколь малым они довольствовались. Примерно через два часа мы, полные разлитой в нас благодарности и чудесной усталости, дошли до дома. Может ли новый год начаться лучше?

Дома мы устроились на кухне, чтобы попить чаю и согреться. До моего приезда – это был единственные раз, когда я прибыла на четыре дня позже Фимы – муж купил маленький стол. Он вез его домой по снегу за веревочку как санки – мне эта идея очень понравилась. Тут у него порвался полный покупок полиэтиленовый пакет, и все его содержимое оказалось на тротуаре. К нему сейчас же подбежал какой-то маленький мальчик, быстро, так, как будто это было чем-то само собой разумеющимся, помог все собрать и даже взял у своей мамы и принес новый полиэтиленовый пакет – Фима был просто изумлен. Значит, и в новой России такое тоже бывает. Такой мелочи ему иногда было достаточно, чтобы немного утолить его печаль от многочисленных признаков повседневной безотрадности – старых бабушек, у станций метро предлагающих купить две сосиски или новорожденного котенка, грязной картошки и порченых овощей, без разбору накиданных на прилавки рыночных павильонов, ворчливых продавщиц в магазинах, перед

которыми просто хочется извиниться за то, что прерываешь их чтение, смотрительниц в музеях, оперном театре или филармонии, с бдительностью аргуса уже издалека определяющих, что я иностранка, и требующих двойную стоимость, несмотря на любезные, вежливые и, прежде всего, правдивые заверения Фимы в том, что я его жена, и в качестве таковой имею право платить по обычной цене. Ничего не поделаешь – ему лишь пару раз удалось их в этом убедить.

И вот мы уже сидели на нашей крохотной и столь любимой кухне. Над квадратным столом висела маленькая настенная лампа, бледно-зеленые обои напоминали один из его любимых уголков в Бретани. Мебели, как и во всей квартире, было немного, и вся она была задешево куплена с рук. Но самое необходимое имелось, и мы чувствовали здесь себя уютно. Уже начал урчать электрический чайник.

– *Можно?*

– *Конечно.*

В завершение сегодняшнего праздника он налил еще две стопки водки.

– Все в порядке?

–Абсолютно.

Мы, улыбались, взявшись за руки, слова, и читая друг у друга в глазах слова, которых можно было не произносить.

Он прервал молчание: – Поехали!

И мы оба рассмеялись – это было первое русское слово, которому я от него научилась, оно означало: «Давай уже выпьем…»

## Потерявшаяся

Съезд общества Бёлля в Москве, с которого мы удрали в Ленинград, и куда должны были снова вернуться, оставил глубокие саднящие следы. А произошло следующее: образовалась небольшая группа участников, которые не хотели идти слушать доклады, и среди них была я. В последний день для нас была организована экскурсия.

Едва я успела предупредить об этом Ефима, – все-таки я это сделала – как он исчез в зале, в полной уверенности, что мы должны вернуться ровно к концу мероприятий. Я тоже так думала, но на деле все вышло совсем по-другому. Экскурсия оказалась грандиозным путешествием далеко за пределы Москвы. Я не взяла с собой ни копейки русских денег, тогда еще не было сотовых телефонов, и по-русски я тоже еще не умела говорить. Когда я начала понимать, что вернусь гораздо позже, чем Ефим того ожидает, я в отчаянии стала пытаться остановить автобус, чтобы выйти и самостоятельно добраться до Дома учёных им. Горького или хотя бы как-то объясниться с другими пассажирами. В сильном волнении я просила людей о помощи. Среди них был также Мишель Кадо, профессор из Парижа, работавший в группе переводчиков под руководством Ефима. Мишель великодушно и без лишнего шума устроил Ефиму после его изгнания из Советского Союза перезащиту докторской диссертации в Сорбонне. Кадо вместе со своей очаровательной немецкой женой Кристиной был особенно желанным гостем на нашей свадьбе. В экскурсионном автобусе мы с ним сначала долго разговаривали, как я помню, о его дочери, о его любви к русскому языку, о литературе. И вдруг внезапно я забеспокоилась, стала то и дело посматривать на часы, чувствуя, что Ефим уже точно начал переживать, потом пытаться выйти, чтобы как-нибудь добраться обратно в Москву – на такси, на автобусе, как получится.

Я надеялась, что мои спутники мне помогут. Я точно знала, что мой муж сейчас там сидит, ждет и боится, представляя себе самые ужасные вещи – ждать всегда было для него хуже всего: в его страшном прошлом могло произойти все, что угодно – со многими из его друзей уже случалось это «все, что угодно», то есть самое худшее – несчастные случаи, нападения, шантаж, убийства, изнасилования. Меня пытались успокоить. Мишель был абсолютно уверен, что Ефим уже гадает, где я. Все выглядели такими понимающими, и ничего не понимали. Проклиная свое легкомыслие, я страдала будто под пытками – я знала, что с Ефимом сейчас творится ужасное. По несчастному совпадению, это к тому же был день нашего отъезда, то есть, увидеться нам предстояло только в десять вечера на вокзале. С ума можно было сойти.

Когда вечером Фима взглянул на меня, было такое ощущение, что внутри у него выключили свет. Я поняла, что в те часы, когда он, все более теряя надежду, меня ждал, я для него действительно умерла. А ждал он меня, как выяснилось, пять часов подряд, сидя на скамейке давно закрытого Дома ученых и постепенно растворяясь во все более сгущающейся тьме. Сначала мужа утешал его друг Соломон Апт – великолепный переводчик Томаса Манна: он стойко держался с вместе с Фимой, пытался обуздать его рисующую всяческие несчастья фантазию, отвлечь его, при этом сам все больше мрачнел и, в конце концов, тоже перестал верить в те или иные естественные объяснения. В какой-то момент Соломону стало нужно домой к своей жене, и муж оказался предоставлен самому себе. Потом мне все время хотелось поблагодарить Апта за поддержку, но он умер раньше, чем мне представилась такая возможность.

Я сидела в поезде рядом с Ефимом и чувствовала себя одновременно бесконечно виноватой и невиновной. Он со мной не разговаривал, ни одно из объяснений не достигало его, слишком глубоко погруженного в пучину отчаяния. Мишель пытался поговорить с ним, но я понимала, что он со своей

французской небрежностью не сможет найти правильного тона. Для Ефима это выглядело как насмешка судьбы над пафосом его страха потери. Он думал, что я умерла, и то, что я жива, для него было как издёвка. Я понимала его, и не могла выразить ему свое понимание. Кто бы смог отправиться на праздник после того, как ему в последнюю минуту отменили смертный приговор?

Должно было пройти больше времени, чем эта ночь, прежде чем мы смогли друг с другом более или менее нормально разговаривать, а меня потом годами мучили кошмары, кружащие вокруг одной и той же ситуации: нас разделяет пространство, и я никак не могу сообщить ему, где я, и как меня найти.

После его смерти кошмар еще раз вернулся. И на этот раз уже я в прямом смысле слова погибала тысячью смертей, сначала во сне, а потом наяву. До сих пор погибаю.

Текст, который я выложила в Интернете после моего второго путешествия в Ленинград, и который сегодня уже практически стал «историей» (1992 год), хоть и частично, но все-таки передает то, как воспринималось настроение ранних девяностых посторонним наблюдателем. Многое изменилось, но далеко не все. Этот текст должен был стать криком о помощи.

**Записки из Санкт-Петербурга**

Перелет из Берлина длится всего около двух часов. В петербургском аэропорту Пулково меня ждет мой муж, прибывший раньше меня, вместе с одним из тех его немногих родственников, у кого есть машина. Чтобы встретить меня, этому родственнику приходится взять отгул на целый день. Если ехать на общественном транспорте, то дорога до нашей маленькой квартиры заняла бы по времени примерно столько же, сколько занял мой перелет, к тому же у меня много чемоданов, набитых подарками для семьи и друзей. Скоро Рождество. Ни одного такси нет поблизости. Когда они действительно нужны, их никогда нет, кроме того, такси, как правило, в три раза дороже, чем любая обычная попутка. Но тормозить попутку сегодня, со всеми, вызывающими нездоровое любопытство пакетами, было бы слишком опасно.

Взлётно-посадочная полоса в этот раз не настолько обледенелая, как в прошлом году. Тележка для багажа стоит доллар, это пять тысяч рублей, таможенный досмотр проходит быстро.

Кажется, что количество легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое, но их еще не столько, чтобы пройти было нельзя. Идет легкий снег, улицы более или менее свободны. По обочинам дороги все еще можно увидеть автомобили с поднятым капотом – раньше это был излюбленный трюк тех, кому надо было, чтобы кто-то внутри оставался в тени. Дома я обнаруживаю, что одного полиэтиленового пакета нет. А он важен – там, кроме всего прочего, нужные многим людям лекарства. Мы звоним по телефону, нас бесконечно отсылают по другим номерам, наконец, мы попадаем на женский голос, который просит нас перечислить содержимое нашего пакета. – Там был еще зеленый зонтик? – столь же наивно, сколь и дружелюбно спрашивает дама под конец. О нем я действительно забыла упомянуть. Мы сразу же приезжаем за пропажей и

находим все содержимое уложенным в другой, больший нашего по размеру полиэтиленовый пакет, к которому прилагается педантично составленный на красивом белом листке бумаги перечень вещей. Домой – уже на общественном транспорте – мы возвращаемся, спустя три с половиной часа.

Изменился ли Санкт-Петербург?

Изменилось многое: мусор, который ранее неделями возвышался над сломанными, переполненными и полностью проржавевшими контейнерами к радости бесчисленных крыс, собак, кошек и птиц – выносить это можно было только, пока все не начинало оттаивать – теперь убирают несколько чаще (но не достаточно часто – через два дня после уборки помойка выглядит также как и раньше). Общественный транспорт, кажется, стал работать более регулярно. Стали реже гореть трамваи, аварии в метро случаются реже – их причины никогда не сообщают, лишь позже мы узнаем, что в Московском метро часто плохо закрываются двери и вспыхивают пожары. Обратившись к прохожему за помощью, сейчас уже довольно часто можно получить вежливый ответ – еще несколько месяцев назад только нарычали бы. В метро уже не все спят с изможденными агрессивными лицами, бросается в глаза, что многие стали читать, причем не только газеты, но и книги – к моему тайному восторгу даже на знаменитых, сверх меры длинных и высоких, быстрых эскалаторах. При выходе из автобуса тебе уже дружелюбно подают руку. Посторонние люди объясняют мне, что не нужно без необходимости компостировать билеты. Если в прошлый раз все тонуло в снежной каше, то сейчас туннели, переходы в метро, дороги и даже тропинки в парке почищены, по крайней мере, так, что по ним можно пройти. Бесчисленные киоски – еще недавно продуваемые ветром будки – почти все обновлены. Теперь они отапливаются, и у них есть двери и решетки.

За углом недалеко от нас (проспект Мориса Тореза) появился небольшой новый супермаркет вполне западного вида. Цены немного ниже, чем у нас, но для местного населения все-таки очень высоки. Однако, несмотря на это,

люди приходят сюда за покупками. Жилье вокруг принадлежит более мелким или более крупным частным собственникам среднего уровня, есть съемные квартиры. Машины в доме нет ни у кого.

Люди на улицах одеты лучше, чем год назад.

За окном сейчас, как и в Германии 23 градуса мороза. Слава Богу, кажется, почти у каждого в этой стране есть теплая меховая шапка. Количество шуб, зимних курток, теплых сапог и перчаток, похоже, увеличилось, но на многих станциях метро, там, где тепло, все еще стоят пожилые женщины в рваной одежде и тонких платках, продающие какие-то мелочи, за которые они в лучшем случае могут выручить несколько рублей. Иногда стоят целыми рядами, держа в руках щенят и котят, часто там стоят и те, кто просит милостыню. Порой они стоят вплоть до полуночи – там, где пластиковые витрины с живыми цветами, внутри этих витрин ставят горящие свечи, чтобы цветы не замерзли. Выглядит очень красиво. В нашем (средневысотном) доме вдруг на много часов отключают воду. Чтобы пользоваться туалетом, мы, как в войну или в послевоенное время, ведрами носим снег в ванну. Он не тает, в квартире (с центральным отоплением) температура иногда опускается до 12-14 градусов (временами поднимается немного выше). Поэтому чтобы постирать, снег нужно растопить в кастрюле на плите. Полная кастрюля снега дает только 1/4 объема воды – когда-то мы это учили по физике. У наших друзей отопление вообще вышло из строя. Им обоим больше восьмидесяти. Они носят по три-четыре слоя одежды, но поскольку вся она старая и истертая, то это не помогает. В дело идет и старая печь, которую надо топить углем, вот только угля нет. Вместо этого ее топят газетами, мусором, коробками… Оба – профессора.

Пенсий их обоих не хватает на жизнь, поэтому жена все еще преподает в университете. По закону это еще возможно. С этой супружеской парой мы проведем Рождество. Они останутся у нас до трех часов утра и потом абсолютно спокойно по снегу и льду пойдут с нами к остановке, где мы

посадим их в частную машину, предварительно оплатив их поездку. После этого им предстоит еще долгий рискованный путь – никогда не знаешь, с кем садишься в машину, а кругом так скользко. Здесь принято даже среди ночи звонить тем, у кого ты был в гостях, после того, как благополучно добрался до дома – для успокоения.

Мы идем к другим друзьям. Пожилой даме почти девяносто, но она говорит на безупречном немецком, она тоже раньше преподавала в университете. Недавно она заснула со слишком горячей грелкой на животе и получила такие сильные ожоги, что ей нужна чуть ли не трансплантация. А она лежит дома и ждет, когда все пройдет само. Позже по телефону мы узнаем, что один из племянников Ефима, Гриша, сильно поскользнулся на льду, и его срочно нужно оперировать. Врачи намереваются оставить его лежать на четыре недели – у них рождественские каникулы – если, конечно, им дополнительно не заплатят. Официально медицина бесплатна, как и в советские времена. Но в данном случае из-за промедления может произойти несчастье. Мужчина и без того страдает эпилепсией, одна нога у него почти не двигается. Сломана как раз здоровая. Нам стоит 300 долларов, чтобы его прооперировали сразу – небольшие деньги, но это только один случай, когда помощь требуется срочно. Я уже привезла для Гриши лекарства (как буду делать это и в течение следующих 15 лет), но и в Германии сложно найти врачей, выписывающих такие рецепты исключительно из любви к людям. Правда, все эти лекарства можно купить и в России, но здесь это непосильно дорого. Жена этого (неработающего по инвалидности) родственника Ефима уже два года не получает зарплаты. Она работает на фабрике, где раньше изготавливали электронные приборы для подводных лодок. Сейчас там делают пирожки (конверты из теста, наполненные капустой или мясом) – метаморфоза, которую можно было бы считать смешной, если бы она не была столь печальной – в любом случае, это очень по-русски. Сам мужчина получает крошечную пенсию – ни прожить, ни умереть.

В один из следующих дней мы идем к нему в больницу. Это огромный комплекс из белого кирпича, ему примерно десять лет, и он считается лучшим среди такого рода учреждений. До недавних времен эта больница носила почетное советское наименование; сейчас его – непонятно зачем – перекрестили в Клинику святой Елизаветы. В вестибюле располагается раздевалка, я вижу, как все посетители снимают сапоги и ныряют в принесенные с собой домашние тапочки, также как они это делают дома. Мне это нравится, это сокращает много ненужного труда. Здесь хорошо топят – даже слишком хорошо. В углу больничного холла – маленькая стойка со скромным ассортиментом: сладости, ночные рубашки, бритвенные принадлежности и т.п. – как я понимаю, в данном учреждении всем этим люди обеспечивают себя в большей степени самостоятельно.

Повсюду уже отлетает краска, в палатах тоже. Из-за этого все выглядит запущенным и не привлекательным. В палате нашего племянника лежат шестеро мужчин. Почти у всех грязные промокшие повязки, покрывающие, как видно, обширные, зияющие раны, зашитые кое-как – последствия драк в алкогольном опьянении, как мне сообщают. Санитаров нет. Кровати древние, вот-вот сломаются, матрацы тощие, грязные и без простыней. Кто не принес из дому постельное и нательное бельё с полотенцами, тому остается только пожалеть об этом. Как мы узнаем от одного из руководителей, больница находится в нищенском состоянии. Нет даже самых примитивных лекарств – аспирина, аналгетиков, обезболивающих – равным образом отсутствует перевязочный материал, шприцы и т.п. Здешней едой давятся только те, к кому никто не приходит. Участь того, у кого нет родственников – грязь, голод, одиночество, боль. Когда темнеет, выползают тараканы, и, по их обыкновению, гуляя по потолку, падают на кровати. Мне становится тревожно, когда я вижу, что большинство пациентов в тяжелом забытьи лежат с открытыми ртами (что-то похожее мне рассказывал мой брат о кораблях морского торгового флота Германии в пятидесятых годах).

Нашего племянника, между тем, прооперировали, по-видимому, он был в руках компетентного специалиста. Но на огромной, аккуратно зашитой ране нет повязки. О стерильных бинтах для перевязки и прочем даже и думать не приходится.

У племянника сильные боли. Его сын сконструировал для него на кровати приспособление из гирь, позволяющее хотя бы немного приподниматься. Позже будет приходить один из друзей, чтобы проводить с Гришей массаж и физиотерапевтические упражнения. Также никто ничего не сказал по поводу существующей в этом случае опасности тромбозов, нет лекарств против свертывания крови. Случайно я бросаю взгляд в ванную (она есть только в этой палате): открытое, переполненное отходами и кровавыми бинтами мусорное ведро распространяет вонь. Крышки нет ни на унитазе, ни на бачке с водой, унитаз течет. Еще в палате есть маленький, весь покрытый грязью умывальник. Я помню, в США кто-то из моих знакомых после выхода на пенсию основал организацию по сбору списанных, но еще пригодных предметов больничной мебели, лекарств и инструментов и последующей транспортировке их в развивающиеся страны – именно это следовало бы сделать и здесь.

Другой друг, попав вследствие серьезного расстройства сердца в военный госпиталь (они всегда лучше, чем остальные больницы), сбежал домой: после того, как он ночью из-за сильных болей позвонил в звонок, долго не приходившая массивная санитарка строго прикрикнула на него: – Вам лет сколько? В ответ на то, что ему семьдесят семь, он получил грубое наставление: – Еще радуйтесь, что живете, и говорите спасибо за каждый день! После этого санитарка исчезла на всю оставшуюся ночь. Вечером пациентам в этой (привилегированной) клинике часто вкалывали снотворное, чтобы они не мешали ночным дежурным (если таковые были). Это напоминает мне об одном старом писателе, которому мы, зная о его болезни, позвонили вечером после нашего приезда. Он возбужденно кричал в

телефонную трубку: «Приезжайте, обязательно сегодня же приезжайте, кто знает, буду ли я завтра еще жив!».

Мы – сами смертельно усталые после перелета – пришли к нему в десять часов вечера. Он жил на пятом этаже древнего здания в мрачном подъезде с крошечным лифтом, который на каждом этаже задумывался, поехать ли ему дальше. Этот вечер мы провели очень по-русски, со смехом, водкой и тысячью историй. Когда мы, наконец, пошли домой, и нас провожала до двери его милая жена, пожилая танцовщица, он кричал нам через три комнаты: Эльке Вильмовна, приходите еще, я Вас люблю! Вскоре после этого он умер, по-моему, у него вода в ноге стала все быстрее подниматься к сердцу. Это был писатель Израиль Меттер.

Через несколько дней – самый ужасный в тот наш приезд звонок. – Что случилось? – спрашивает мой муж своего старого знакомого по телефону. – У тебя такой странный голос. Тот отвечает: – Произошло нечто ужасное. К матери моего друга залезли в квартиру, когда она была одна дома. Вернувшись на родину, сын нашел ее убитой. Он физик, и на две недели приехал в гости из Америки. Муж спросил: – Я его знаю? – Нет, не знаешь, это Х. Муж оказался давним знакомым этой семьи.

Ужасная весть достигла нас именно тогда, когда я уже начала меньше, чем обычно бояться, реже оглядываться в темноте на улице, идя в гости, заходить в мрачный коридор, не включая фонарик. Почти во всех подъездах темно и пахнет писсуаром. В большинстве случаев кругом лежит мусор. Любой посторонний вызывает напряжение, иногда просто страх, в любом случае недоверие и настороженность. В узкие лифты, по возможности, не следует входить с незнакомыми людьми: в прошлом году внезапно – подобно моде или эпидемии – разразилась целая серия нападений и изнасилований в лифтах.

Все это происходит так быстро, при этом бал правит жестокость, которую трудно себе представить. Того, кто сопротивляется, похоже, сразу

же заставляют замолчать. На директора одного страхового агентства, с которым мы были отдаленно знакомы, недавно напал неизвестный и избил до полусмерти. Спустя некоторое время его гражданскую жену поймали в подъезде четверо мужчин и перекидывали ее как мешок друг другу до тех пор пока она почти не лишилась чувств. Пострадавшие теперь постоянно меняют квартиры, оба взяли телохранителей.

Их дочь примерно в это же время тоже попала в странное происшествие – на нее наехал автомобиль – и получила тяжелое сотрясение мозга. Случайно? По чьему-то намерению? Дороги в Петербурге широкие, и переходить через них опасно для жизни. Я нигде больше не слышала о стольких погибших под колесами машин, как среди наших петербургских друзей и знакомых. Несмотря на снег и лёд, тут принято ездить на такой скорости, что даже при всем желании не успеть затормозить. Хотя, кажется, такого желания ни у кого просто не возникает. Вот на женщину, занимающуюся уборкой в метро, в спешке бесцеремонно налетает здоровый мужик. Слава Богу, она, в ярости защищаясь, хватает его и начинает ругать. Проходящие мимо не его, а ее (!) призывают успокоиться. Он несется дальше, даже не извинившись.

Однажды раздается звонок в домашнюю дверь, мой муж простодушно открывает, раньше, чем мне удалось этому воспрепятствовать (большинство людей отпирают замок, только после того, как узнают по голосу, кто пришёл). За дверью оказываются два свидетеля Иеговы, мужчина и женщина, и начинают свою обычную проповедь. Но на самом ли деле это свидетели Иеговы? Почему они тогда сразу же убираются восвояси, как только я подхожу к двери, чтобы показать, что мы в квартире (по крайней мере) вдвоем? Позже приходит вызванный нами слесарь и за день ремонтирует всю ванную – на Западе такого и сегодня не встретишь! Меня в это время дома нет, а мой муж, которому нужно куда-то идти, оставляет рабочего одного в квартире. За такое легкомыслие Фиме достается от друзей, но по его

возвращении домой все оказывается в порядке, а оставленный счет столь маленьким, что даже стыдно сказать. Та же самая история с понадобившимся вскоре ремонтом старого черно-белого телевизора. Кто прав? Только возвратившись домой, в Потсдам, мы обнаруживаем, что, по меньшей мере, портфель моего мужа, был кем-то тщательно перерыт. Конечно, все свои деньги мы носили при себе.

Хоть это и банально, но всегда так хочется хотя бы несколько слов обронить о красоте Петербурга. Когда кругом бело от свежевыпавшего снега, а дома освещены солнцем, когда льдины громоздятся на замерзшей Неве или медленно движутся по ней, когда на небе встает холодная и ясная луна и таким светом заливает путь, что ночью спокойно идешь через парк, когда березы растут из снега так, как будто они его часть, тогда просто не хочется верить в то, какая бедность царит над всем этим, сколькие сейчас здесь страдают, скольких убивают, с каким отчаянием люди противостоят экономическому и политическому хаосу и, наконец, о том, как быстро и таинственно этот город покидают последние (?) интеллигенты, не уничтоженные Сталиным и его последователями (не говоря о тех, кого заморили голодом немцы). Если есть такая возможность, уезжают даже те, кто совсем стар. За четырнадцать дней нам рассказали о трех семьях из нашего окружения, целиком выехавших в Англию, Германию и США.

В Русском Музее с нами заговаривает смотрительница зала. Оказывается, более двадцати лет назад она слушала лекции моего, вскоре поле этого вынужденного эмигрировать мужа в Институте им. Герцена и затем прочитала большинство из его книг. Такие встречи случаются у нас повсюду – в метро, в раздевалке, в парке, на эскалаторе, на концерте, на рынке – кажется, легендарная русская интеллигенция до сих пор остается большой (правда все уменьшающейся) семьей, в Петербурге более, чем в Москве. Люди знают друг друга с давних пор, слышат новости об изменениях в работе и семье, каким-то образом, проявляют участие друг к

другу – далеко не всегда с симпатией, но все-таки с определенным интересом – сарафанное радио работает, даже когда выходит из строя все остальное.

Мы снова в гостях у друзей, у супружеской четы Граниных. Они занимаются изданием журнала *Lettre International* на русском языке. Деньги известного мецената российских интеллигентов Сороса внезапно перераспределили, и журнал, считающийся одним из самых взыскательных на международном уровне, пока не может выйти в свет. К тому же произошло еще и другое несчастье: их пятидесятипятилетняя сотрудница недавно была изнасилована и убита на четвертом этаже того самого – очень красивого – дома, в котором раньше жил недавно умерший в Америке поэт и Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Мне с трудом удается остановить хозяйку, когда она начинает рассказывать нам еще о двух убийствах, произошедших на лестничных клетках. По дороге домой я снова оглядываюсь на каждом шагу, в трамвае, особенно на выходе, рта не раскрываю, чтобы не разоблачить себя как иностранку и испытываю облегчение, только когда за нами закрывается двойная железная дверь нашей квартиры. На квартирах, как правило, ставятся только номера, табличек с указаниями фамилий нет. В дом можно попасть, только зная дверной код или при помощи ключа, т.е. открыв электрозащелку. В лучшем случае, есть работающий домофон. Наш сломался, и дверь в подъезд уже в течение нескольких дней не закрывается – это вызывает мучительный дискомфорт.

В новогодний вечер мы внезапно получаем приглашение от одной супружеской четы, которую мой муж знает еще со времен университета. Я их тоже знаю – много лет назад мы познакомились на конференции в Австрии. Мы тогда пили с ними водку, сидя около полуночи на наших гостиничных кроватях, – после перестройки нам предстояло увидеться впервые. И вот мы с мужем отправляемся к ним, в красивейшую часть Петербурга, на Фонтанку – это недалеко от Дворцовой площади около Пушкинского дома. Архитектура этого места захватывающе гармонична, ночное освещение и

снег довершают впечатление. Замерзший канал, на улице почти никого. То, что в этом неслыханно согласованном магическом городском ландшафте есть от декораций и театра, в самом прекрасном смысле этого слова, в сумерках проступает еще явственнее. Мировой театр с самой благородной историей, и нигде знаки бедности и преступления не кажутся более абсурдными, чем здесь. Дверь солидного, сдержанного, старинного, бережно отреставрированного городского дворца не заперта, звонка нет, но вот она распахивается сама собой (похоже, тут есть видеокамеры). Нас впускает вооруженный охранник, со строгой миной спрашивающий фамилию пригласившего нас лица. Услышав фамилию, он становится еще неприветливей, требует наши паспорта и снимает телефонную трубку. Здесь уже мы точно осознаем, что действительно находимся на опасной территории. Однако, тот, кто нас пригласил, успокаивает охранника, мы можем пройти к лифту. Мы у Собчака, недавно избранного мэра Петербурга. По образованию он юрист и политолог, сейчас профессор Санкт-Петербургского университета. Его политические отношения для нас неясны, и мы избегаем этой темы, знаем только, что были какие-то недобрые кампании и антикампании. Он проводит нас в кухню – во всех остальных комнатах сейчас как раз ремонт – и его жена снабжает нас закуской, широко известными русскими деликатесными разносолами, подаваемыми к водке. Разговор протекает в искренней, прямой и, в сущности, открытой атмосфере. На наш вопрос, есть ли у него решение по выходу из катастрофического экономического положения, он дает ответ: самое важное – это сократить немыслимо высокую численность (и без того голодающих) вооруженных сил и оживить отечественное производство (почти все, что можно купить в супермаркетах, импортируется из других стран и частей света).

Эта чета в последние два года после первоначальной эйфории стала подвергаться критике по поводу их разорительных путешествий (всегда вдвоем) и личного обогащения, справедливость которой мы не можем

оценить. На обратном пути мы все-таки сходимся в одном мнении: великолепие и роскошь, которые царят уже в гигантской кухне, вовсе не свидетельствуют о сдержанности в расходах, приличествующей в такой нищенски бедной и разоренной – несмотря на потенциальное богатство – стране.

В первый день Нового Года мы при чудесном свете солнца совершаем прогулку в парке, переходящем в лес. Кругом все на лыжах, иногда попадаются старые модели, сделанные из дерева. Я разыскиваю одно определенное место посреди зарослей, открытое мной год назад. И действительно: они сидят здесь же, как будто и не уходили все двенадцать месяцев – группа примерно из двадцати мужчин, хриплые, весёлые голоса которых слышны уже издалека. Теперь уже при 26 градусах мороза (в прошлый раз было 30) они сидят и играют в шахматы посреди снега. Нигде в этом городе я не встречала такой радости и хорошего настроения. Нас вновь приглашают играть, опять предлагают выпить водки. У входа в парк я спрашиваю, можно ли здесь найти беговые лыжи. Найти можно (даже взять напрокат), но без креплений и ботинок. Где раздобыть эти необходимые принадлежности, остается загадкой. Я решила, что в следующем году привезу их с собой из Германии.

Но кто знает, будет ли он, этот следующий год. Уже очевидно, что Ельцин даже до конца этого года не останется президентом. Что будет потом, еще неясно, кажется, только с хаосом все ясно. С неслыханным неистовством усиливаются противоречия, вызванные рыночной экономикой. Один очень известный и популярный автор рассказывает нам, что он, чтобы прожить, должен подрабатывать в ресторане, куда ходят новые русские – люди, для которых ничего не стоит оставить тысячу долларов за обед. Однажды, полностью выдохнувшись, писатель попросил там стакан чаю, так ему дали понять, что если хочется чаю, то нужно его купить.

В прошлогоднем новогоднем поздравлении президент пожелал, чтобы чеченский народ вновь вернулся к нормальной жизни (что не помешало ему отдавать дальнейшие приказы о безжалостных бомбардировках этого народа), в то время как такие пожелания, а лучше сказать, помощь, были, по меньшей мере, также безотлагательно необходимы его собственному народу. Время сошло с ума: две-три недели спустя, уже дома, в Потсдаме, меня достигают три новости, иррациональность которых – особенно в свете описанного здесь – просто обескураживает:

1. Недавно в Москве была убита шестидесятипятилетняя невестка Карла Либкнехта – кто-то хотел завладеть ее маленькой квартирой.

2. Ведутся речи о том, что РАСПУТИНА нужно причислить к лику святых, как причислили недавно царя Николая II (того самого, который позволил объединиться голодающему протестующему народу).

3. Несколько дней назад в церкви Кремля в Москве в узком кругу в качестве царя Николая III – с пластиковым скипетром и царской шапкой, сделанными по образцу исторических реликвий – был коронован дальний родственник семьи Романовых – уже седьмая коронация за последние шесть лет. (Следующий отпрыск Романовых, примерно шестнадцати лет от роду, уже прибыл в Москву – на всякий случай). По всей видимости, на Западе все еще есть безмерно богатые тайные или явные монархисты, готовые поддерживать любого – поддельного или настоящего – Димитрия в надежде, когда-нибудь каким-нибудь образом этим воспользоваться, вне зависимости от того, сколько крови было пролито в том прошлом или еще может быть во имя него пролито.

Бедная богатая Россия!

## Эпилог

Выложив эту статью в Интернет, я закончила ее призывом к помощи и оставила свой адрес.

В течение долгого времени ничего не происходило. Потом мне вдруг написала одна фармацевтическая компания и предложила лекарств на пять тысяч долларов. Это была огромная сумма. Вскоре я получила много больших пакетов с самыми необходимыми медикаментами – аналгетики, сердечные лекарства, средства при заболеваниях простаты, средства для регулирования давления и многое другое. К моей большой радости, у всех них еще не истек срок годности, притом, что большинство этих лекарств по разрешению врача можно было использовать и после срока годности.

В следующий раз Ефиму, к сожалению, пришлось ехать в Петербург одному, потому что я к этому времени стала в своем университете руководителем института и, как и в Орегоне, уже не могла отлучиться в силу множества административных задач. Я сложила весь медицинский груз в три огромных чемодана (если послать по почте, то наверняка все украдут) и с бьющимся сердцем повезла мужа в аэропорт. Как ему удалось, избежав больших таможенных расходов, довезти это все до нашей квартиры в Петербурге, для меня осталось загадкой. Я знаю только, что случайно с ним вместе летел кто-то из его русских друзей и выдал один из трех чемоданов за свой. Мы планировали, что родственник Ефима принесет эти вещи как бы в качестве подарка в описанную выше больницу для нужд всех пациентов. Мы надеялись, что после этого к племяннику моего мужа Грише, который болел постоянно, будут относиться более внимательно.

Какая наивная иллюзия! Главный врач, с которым мы оба разговаривали, обещал манну небесную, и не выполнил ничего из обещанного. Он взял дорогие лекарства под свой надзор, даже уведомление о получении нашему родственнику выдал. Но когда врачу напомнили об этом

при следующем пребывании Гриши на стационарном лечении, он уже ни о чем не знал. Можно не сомневаться в том, что он перепродал лекарства тем из пациентов, кто мог заплатить и, таким образом, нажился на них – это была пощечина нашему идеализму и тяжелый урок! Такие же случаи слишком часто происходят с развивающимися странами и на международном уровне.

Снег преследовал нас до самой Бретани. Кто сможет сказать, что видел когда-либо заснеженный Мон-Сен-Мишель? Конечно, есть такие глянцевые фотографии, на которых окружающее побережье выглядит как сибирская степь, но я не знаю никого, кто бы это действительно видел своими глазами, также как никого, кто бы видел гору полностью покрытой водой. Даю дружеский совет из многолетнего опыта:

Лучший день для посещения этого, одного из самых притягательных для туристов места – последний в году, хотя, с Вартбургом дело обстоит, наверное, точно также. В начале девяностых мы часто проводили Рождество и Новый Год в Бретани – иногда с гостями иногда одни. Они вправду бывают, эти опустевшие стоянки, на которых обычно останавливаются сотни автобусов, чтобы выплюнуть галдящую толпу.

Бывает по-зимнему ясное небо над обезлюдевшими переулочками и холодный, около нуля градусов, прозрачный воздух, в котором вдруг появляются редкие кружащиеся снежинки, *словно там вдали, за небесами вянет сад высокий*[27] – как в стихотворении Рильке.

Гулко раздавались наши шаги в церквях, мы были там наедине с собой и богом – в его существование мы верили не без сомнений, однако он вызывал у нас большое уважение, поскольку люди возводили в его честь эти архитектурные шедевры, остающиеся неизменными, несмотря на то, что миновала тысяча лет. Когда смотришь с самого верха из готических окон, то веришь, что многие, и среди них тысячи детей с десятого по двенадцатый век

[27] als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Пер. с нем. Вячеслава Куприянова.

выдвигались в походы, чтобы помочь Святому Михаилу, до сих пор излучающему золотой свет с высоты шпиля, освободить от неверных Святой Гроб. Здесь собирались они, караваны пилигримов из Германии и Франции, чтобы отправиться в путь к Средиземному морю. Здесь легенды и истории вплетаются в воздушную разноцветную мантию из пылкого рвения и фанатизма, жажды приключений, военных кличей и глубокого умиления перед чудом веры. Какой это неслыханный подарок – получить всю гору в единоличное обладание, какой незабываемый опыт. Только так можно услышать, о чём говорят каменные фигуры, увидеть, как торжественные рыцарские залы с гигантскими каминами, в которых можно было зажарить половину быка, наполняются гомоном, жизнью и звоном бокалов. Мир дольний и горний сходятся здесь вместе в страстной жажде вырваться из повседневности, сокрушить все границы, будь это даже границы смерти. Каждый раз, когда мы оказывались в этом уединении, они становились ближе, изменчивые тени[28] прошлого, среди которых были и те несчастные, что спустя годы и десятилетия больными и убогими возвращались из крестовых походов, тщетно желая, чтобы Папа освободил их от клятвы, данной на кресте. Хитрый церковный сановник не думал их освобождать, напротив, они подвергались осмеянию и поношению. Если в этот раз удача им не улыбнулась, то при следующем походе они вновь должны были следовать призыву Папы, здесь он не знал милости. История этого места всегда непременно трогала того, кто когда-либо ей занимался, преодолевая бесчисленные ступени, ведущие к высшей святости, также как тысячу лет тому назад это делали крестоносцы – может быть, даже на коленях – взбираясь к небу, чтобы стать ближе к Богу. *Deus lo vult* – так звучал боевой клич папы. *Так хочет Бог.*

Если бы он только знал, Боженька, какие желания ему приписывают.

[28] Ср. И.В.Гёте: «Вы снова здесь, изменчивые тени,/ Меня тревожившие с давних пор,/ Найдется ль наконец вам воплощенье,/ Или остыл мой молодой задор?» Пер. с нем. Б.Пастернака

**Рождество в Бретани**

Мы впервые остались одни и не желали ничего другого. У всех мест свои собственные законы, и это, столь близкое сердцу Ефима местечко в Бретани нужно было еще бережно приучить оставаться теплым и уютным даже в холодное время года. В это верилось с трудом, но Эткинды еще никогда не проводили здесь ни Новый Год, ни Рождество. Конечно, мне нравилось, что здесь можно было создать что-то новое, что-то, принадлежащее только нам двоим, в чем я – с уважением – не должна была следовать прежним семейным традициям. Прежде всего, я принялась за огромный камин, который, насколько я знала, практически никогда не использовался. Нужно было вызвать трубочиста, чтобы тот убрал изнутри и снаружи плющ и прочистил вытяжку. Мне было известно, как легко в камине возникает пожар, если оставить наверху старую сажу. Крестьянский дом в Мюнстерланде, в котором мы с дочерью прожили десять лет, сгорел из-за этого, едва после нас заехали следующие жильцы. Потом мне пришлось понять, что если хочешь растопить камин, то все остальные дровяные печи в доме должны быть холодными, иначе они будут мешать друг другу. Затем нам нужно было раздобыть дрова – старый столяр, делавший полки на стене, сообщил нам верное место.

И тут начался затяжной дождь, по временам, хотя и не всегда, характерный для бретонской зимы. Он обнаружил другую проблему – скупо покрытый растительностью въезд к обоим домам превратился в наполненную грязью яму. Мы обратились за советом к Ришарам, живущим на соседнем дворе в двух километрах от нас, и получили от них адрес, по которому можно было недорого достать щебенки. Какая это была роскошь, когда нам ее доставили, и мы, трудясь в поте лица, разбросали ее лопатами по нужным местам. (Позже мы поймем, что это нужно делать каждые

несколько лет заново, потому что все уходит в землю). После этого привезли дрова – целый кубометр сбросили с машины – нам самим пришлось их складывать под большой крышей открытого навеса – работа, занявшая долгие часы. При этом выяснилась еще одна наша общая черта: преимущественно занятые умственным трудом, мы оба были рады любой возможности поработать физически. Я уже в первое наше лето в Бретани заметила, с какой сосредоточенностью и с каким тихим удовольствием Ефим начал – едва мы приехали – что-то ремонтировать и мастерить, то по необходимости, то по какому-нибудь шутливому поводу.

Теперь он мог наброситься на козлы, распиливать или раскалывать топором огромные бревна. Моя тревога, что непривычная работа может таить в себе опасность, быстро рассеялась. Любо было поглядеть, как осмотрительно и без всякой спешки он обращается со всеми инструментами, как он уважает собственное пространство каждой вещи, не навязывая своей воли ни человеку, ни зверю, ни предметам. Наоборот, он как будто каждый раз украдкой спрашивал разрешения, можно ли ему сделать то, что он хочет. Я поняла и успокоилась: он не поранится, и все вокруг будет его охранять, потому что он никогда не причинит вреда другому. И действительно никогда ничего плохого не происходило, кроме уже упомянутого случая, когда из газовой печи вырвалось пламя и собака Ефима – вместе с его собственной смелостью – спасли дом от взрыва.

Наконец, Ефим привык и к рождественской ёлке, которой мне так болезненно не хватало в наше первое Рождество в Дрездене. Все те годы, когда мы праздновали вместе, в России ли, в Бретани или в Германии, он приносил ее сам, и мы украшали ее тем, что было под рукой – старыми игрушками моих детей, лентами, сделанными из соломы звездами, шоколадными кренделями, яблоками и, конечно, настоящими свечами, как в моем детстве, и как я это продолжала делать, будучи в Америке. Все-таки в Америке нельзя было даже представить себе, какими благовоспитанными мы

были тогда в сравнении с современными детьми. Мое детство – а я была самой младшей – пришлось на сороковые – начало пятидесятых, т. е. на время, когда, в лучшем случае, было принято, так сказать, просвещенно-авторитарное воспитание. Какие-то требования мы соблюдали безукоризненно, какие-то учились обходить – но это было уже позже. Рождественские ритуалы мы все любили и не нарушали. Я и сегодня слышу, как потрескивали свечи, когда мой дядя читал рождественскую историю из Евангелия от Луки, вижу, как мы украдкой бросали взгляды на скромные подарки, обернутые белым полотном, и вспоминаю прекрасную безбожную естественность, с которой мы пели уже тогда считавшиеся старинными рождественские песни, часто на много голосов, хоть никто в семье не ходил в церковь и не был верующим, или как слушали игру братьев, у которых уже были уроки виолончели, скрипки и фортепиано. Нас связывало счастье музыки, которой мы занимались без особой цели и честолюбивых надежд, но со страстью – опыт, определивший всю нашу жизнь. Только один из моих братьев потом действительно работал в филармонии, а жизнь без музыки не мог себе представить ни один из нас. Что касается меня самой, то я с мамой и братом (как раз тем, который играл в оркестре) пела в одном или двух хорах и участвовала во многих концертах в Германии и за рубежом, от Парижа до Палермо, будь то в чудесных соборах или в роскошных концертных залах. Без эстетического чувства и педагогического дара моей матери, которая с ранних лет занималась с нами музыкой и сама на удивление хорошо играла на фортепиано, это все было бы немыслимо. Поэтому меня удивляло, что Ефим, несмотря на то, что его мать была певицей, был чужд музыки и считал, что ничего в ней не понимает.

Год или два спустя, мы снова приехали в Бретань, на этот раз у нас в гостях была семья моей дочери. Теперь уже мой зять взялся за лопату, чтобы раскидать щебенку на въезде, дочь украшала ёлку, а я оберегала двухгодовалую внучку Дину, с восторгом бросавшуюся на Снуки – даму,

чувствительность которой ей еще надо было научиться уважать. Потом Дина открыла для себя лестницу, ведущую из каминной комнаты наверх, и больше ее уже нельзя было удержать: ей нужно было по сто раз убеждаться, что она уже может подняться и спуститься по ней сама, а мы, с большим терпением сменяли друг друга, чтобы подобно ангелам стоять у нее за спиной, оберегая от падения и, одновременно, не нарушая ее радостно уверенной самостоятельности. Передо мной и сейчас счастливый смех Ефима, наконец, вновь окруженного суматохой детей и семьи. Мои внуки с тех пор всегда с полным убеждением называли его дедушкой и вешали его фотографии над кроватями. Они сразу же чувствовали, что к детям он относился как к величайшим творениям, которые нужно в большей степени оберегать и любить, нежели воспитывать. Иногда мне казалось, что он, таким образом, стремился наверстать с другими то, чего ему не хватило в собственном детстве. Не было ни одного ребенка, который бы его не любил и не отвечал бы нежностью на это внимание и благосклонность. Кроме моей семьи, занятой то тем, то другим – на Рождество (или в Новый Год) у нас оказался еще и один из самых дорогих друзей – Гидон Кремер. Мы виделись в Локенхаусе, в Австрии на его фестивале (без Ефима), потом в Париже, Потсдаме и Берлине, но самой доверительной была наша встреча в Бретани, в те молочные, светло-серые дни, матовость которых заставляет блестеть все вокруг. Между мужчинами завязалась дружба, питавшаяся как из любопытства к другому, так и из взаимного восхищения. Их много что связывало: общее происхождение, богатый фонд похожих переживаний из советского времени, опыт эмиграции и обретения нового (собственного) мира в чуждых тяжёлых условиях. Также любовь к Германии. Под конец они решили написать совместную работу – и все это в мерцании свечей на рождественской ёлке – Гидону, с тех пор верному другу, её в детстве также украшала мать, происходившая из балтийских немцев. Его скромность, его необычайная культура, его смешливость и привычка не привлекать к себе

внимания и хорошо себя чувствовать в самых простых условиях, нас тогда поразили также глубоко, как и его открытая сердечность и теплота, соединенные с безусловной, исполненной чувства долга, знающей и игривой страстью к музыке. По сей день он остается верным другом.

Как я могу, написав это последнее предложение, вновь и вновь не вспоминать о его величайшем доказательстве любви: годы спустя за два дня до погребальной службы по Ефиму (1999 год) я позвонила Гидону в Париж, не зная даже, застану ли его. Обычно он появлялся в Париже раза два в год, и оставался там очень недолго. Поэтому чудом было то, что он сразу же снял телефонную трубку. Он уже все знал. Даже по телефону было слышно, как глубоко его горе. Я как можно более скромно попросила его сыграть на погребальной службе – я знала, что он почти каждый вечер выступает с концертами в разных городах по всему земному шару, и что это почти немыслимо. К кому-нибудь другому в этой ситуации я бы просто не посмела обратиться. Он был как всегда искренен:

– Я очень хотел бы это сделать, но не знаю, успею ли. Не рассчитывай на это, у меня концерт в Париже на следующий вечер. Но я сделаю, что смогу. Если удастся приехать, то я буду играть без всякого сопровождения. Может быть, ты сможешь предупредить об этом органиста?

С его тонким чувством такта он сам в этой ситуации предвидел, что церковный органист мог быть, таким образом, обижен и попытался предотвратить это.

И вот он действительно приехал, за несколько минут до начала службы. Времени как раз хватило на то, чтобы его обнять, поблагодарить и услышать, что ему сразу же нужно будет лететь назад и что до аэропорта его довезут. Она начал играть, и будто волна прошла по храму. Никто не знал, кто стоит там, на хорах, я не проронила об этом ни слова, как того хотел сам Гидон. Он служил в этот момент свою собственную службу любви и прощания по человеку, с которым ему было суждено встретиться поздно, и который как

собственного сына во всех обстоятельствах окружал его добротой и любовным участием. Его боль и его любовь дрожали в каждом звуке. Многие украдкой оборачивались к хорам, но никто не мог увидеть или догадаться, что в этой маленькой часовне в Потсдаме сейчас находится один из лучших скрипачей мира. Об этом говорила только музыка, и у меня было такое чувство, как будто все присутствующие это понимали. И что он играл – кто в конце 1999 года знал аргентинского композитора Астора Пьяццолу? И даже если его кто-то и знал: кто бы отважился тогда играть его произведения на погребальной службе – ведь в ту пору он был известен только своими танго? Только Гидон мог решиться на это. Пьеса из сборника *Tracing Astor*[29] струила одиночество, потерянность, плач и одновременно осознание того, что это не конец – мне снова вспомнился Орфей и звери, и камни, которых он заставлял плакать. Здесь в капелле тоже были те, что окаменели, и небо лишь знает, достигли ли их эти звуки. Мою благодарность Гидону не выразить словами. Я не перестану верить в то, что Ефим слышал, как он играет, слышал с этой его улыбкой на губах, выдающей удивление и неверие в то, что из-за него невозможное стало явью. Он не верил ни в смерть, ни в вечную жизнь, верил только в то, что что-то остается. Может быть, осталась именно эта улыбка – как улыбка Чеширского Кота, что продолжала витать в комнате, когда сам кот уже исчез. Ефим безмерно восхищался этой книгой, как и всем, что давало художественное выражение детской лёгкости в обращении с волшебством.

[29] По следам Астора

**Наши места**

Мы периодически жили одновременно сразу в четырех квартирах: в Париже, Потсдаме, Петербурге и Бретани.

Звучит так, как будто бы мы были богаты или расточительны, а мы не отличались ни тем, ни другим. Когда мы познакомились, кровом для наших первых встреч стал мой дом в Юджине. Но все тогда было таким же временным, как и мой дом. Я его снимала, он не был моей собственностью, и большой сад был для меня важнее, чем сам дом. Я и сейчас вижу, как Ефим идет по нему, с любопытством суёт свой нос в каждый угол – в гостиницах и пансионах он, к моему ужасу также с удовольствием это делал. Иногда в комнатах оказывались люди, которых это крайне удивляло – в этом случае он, конечно, сразу же извинялся. Когда он, будучи у меня в гостях во второй или третий раз, обнаружил мой кабинет, находившийся парой ступеней ниже по лестнице, и как бы скрытый от глаз, то испытал огромное облегчение. До тех пор он не мог понять, где я, собственно, работаю и пишу книги и статьи, которые он уже держал в руках или даже читал. Удобство жилья для него, прежде всего, заключалось в наличии двух квадратных метров, на которых можно было спокойно работать. Это мог быть крошечный угол: стол, стул, хорошее освещение – этого было достаточно. Все остальное тоже могло быть, но совсем не обязательно. И вот он нашёл мою библиотеку, письменный стол, пинборд с фотографиями всех, кого я любила, и был удовлетворен. Все было подвергнуто внимательному осмотру, который сопровождался множеством вопросов.

Это временность сначала присутствовала везде, где мы находились, ведя нашу бродячую жизнь: в его доме в Юджине, который он занимал по обмену, на трогательно вычурной, обставленной в викторианском стиле вилле Аглаи в Вермонте, где мы в течение нескольких дней снимали маленькую комнату,

в разных мотелях, иногда столь же безрадостных, как картины Эдварда Хоппера и даже в загородном доме его старшей дочери на арендованном ею острове на озере Мичиган (Канада), куда она пригласила нас в гости, любезно разрешив нам пожить там неделю вдвоём. Рабочее место там, правда, имелось, вот только пространства было недостаточно даже для получасовой прогулки. Сама я  от этого не страдала, часами катаясь на принадлежащем дому каноэ, охраняемая огромной белой индейской собакой Огги. Пес неподвижно как памятник сидел на носу и – я твердо уверена – доставил бы меня домой, если бы мне случилось заблудиться между бесчисленными островками. Я страшно боялась, что Огги пошевельнется и беспрестанно заклинала его этого не делать – даже если бы он просто выпрямился, мы бы неизбежно перевернулись – но ничего плохого не происходило, и я возвращалась обратно. Вода не была стихией Ефима; хотя он любил плавать, для счастья ему была необходима твердая почва под ногами. Даже на втором, большем по размеру острове, собственно полуострове, куда его пригласили позднее (этот остров дочери Ефима и её мужу подарил его добившийся успехов в бизнесе сын от первого брака), Ефим никак не мог почувствовать себя спокойно, ведь лес был таким густым и непроходимым, что там обязательно должны были водиться медведи – не говоря уже о мириадах комаров. Ему не нравился этот остров. Но он никогда не говорил этого своей дочери.

Впервые мы почувствовали себя вправду как дома на даче в Бретани, хотя мы тогда еще должны были скрывать наши отношения. Повсюду меня подкарауливали духи людей из прошлого, у которых я поначалу чувствовала себя в гостях. Прежде всего, это была женщина со светлыми волосами и нежным лицом – его жена Екатерина, фотография которой висела в каминной комнате, и всегда потом там оставалась. Екатерина умерла восемь лет назад, и уже скоро моей излюбленной привычкой стало ухаживать за ее могилой на находившемся неподалеку деревенском кладбище и сразу же

после каждого нашего приезда приносить туда свежие цветы, раньше, чем это делал Ефим. Когда он это обнаружил, то был очень тронут. Позже мы с ним ходили на могилу вдвоем. Для меня это стало неотъемлемой и любимой частью моего пребывания там – независимо от него. Когда я прихожу туда сейчас, то разговариваю с ними обоими. Потому что сейчас он тоже там, рядом с ней. Двойное место было куплено сразу после смерти Кати.

В Бретани Ефим по-настоящему чувствовал себя дома и хотел, чтобы его там похоронили. И вот я могу приезжать на его могилу самое большее один раз в год, и никогда не буду лежать рядом с ним. Это долго меня печалило, а потом я решила, что, вообще, нигде не хочу лежать.

Когда мы были здесь в первый раз, я спала не в основном доме, а в меньшем по размеру соседнем здании, где у меня был мой рабочий кабинет. Я хорошо понимала: тому, кого хотя бы один раз предавали, трудно снова начать дарить свое доверие. А Ефима предавали много раз. В его внутреннее пространство мне приходилось проникать постепенно – как в символическом, так и в прямом смысле этого выражения. *Всему свое время: время насаждать, и время вырывать посаженное*[30]... Его удивление по поводу того, что после восьми недель, в течение которых мы непрерывно были вместе, мы также гармонично сосуществуем, как и в первые дни, даже еще более естественно, не знало границ.

В соседнем с домом здании раньше был большой амбар, там хранили сено, потом его кое-как приспособили для жилья, но там была отдельная кухня, ванная комната и туалет. Я начала потихоньку прибираться, наводить чистоту, распугивать мышей, выкуривать моль из старой одежды и бороться с древесным жучком. Когда семья вскоре после переселения из Ленинграда в Париж (в 1974 году) получила во владение (на удивление дёшево) эту землю с домом, денег не было, и приходилось обходиться только самым нужным. После того, как во время нашего пребывания всё чаще и чаще стали

[30] Книга Экклезиаста или проповедника. Гл. 3. Ветхий Завет.

объявляться гости, моего стремления к красоте и уюту было уже не сдержать, и я постепенно начала повсюду, даже в основном доме своими силами заменять ненужные и сломанные вещи новыми. Мебель, которую я покупала, была подержанной и имела свою историю, поэтому вписывалась в этот прекрасный старинный дом так, как будто всегда стояла здесь, и только люстра, которую так любила Катя, жена Фимы, а я считала ужасной, висела на своём месте и освещала ее красивую фотографию над старым, привезенным из Ленинграда, книжным шкафом. Но с этим я была согласна.

Позже мы переоборудовали и крошечный свинарник – изначально он предполагался на случай, если какое-то из животных заболеет, и в нём нельзя было даже стоять выпрямившись. Мы заново покрасили его, настелили там дощатый пол и получился симпатичный домик для приезжавших к нам детей. Мы думали о наших внуках и правнуках, полные иллюзий, что они здесь все встретятся, подружатся, и будут играть друг с другом. И один раз, в 1999 году, в день, когда я собрала на общий праздник всю мою семью, это почти получилось: почти неделю здесь жили вместе около двадцати человек из Англии, Голландии, Франции и Германии, даже из США, было много детей – но это была только моя семья. Старшая дочь Ефима ни разу за десять лет не заглянула в *Бельвю*, хотя в общей сложности мы проводили там не больше 8-10 недель в году. А значит, возможностей это сделать – при нас или без нас было много. Только младшая дочь время от времени приезжала со своим мужем из Парижа, чаще всего осенью – она не любила жару. Пока её отец был жив, мы хорошо ладили. Да, она однажды, когда мы вместе готовили на кухне в Париже, даже спросила меня: – Elke, je veux vous quelque chose (Эльке, я кое о чём хочу тебя спросить).

Я кивнула. Мы объяснялись по-французски, хоть в школе я его и не учила (вместо этого латынь и греческий), но тем временем уже достаточно начала понимать и кое-как говорить.

Ты ведь у нас уже часто бывала? (Она тогда еще жила со своим безработным мужем у отца).

– Да, и что? – Я всё ещё не понимала, куда она клонит.

– Ты ведь очень любишь Фиму?

– Конечно.

– Ты могла бы выйти за него замуж?

Я растеряно уставилась на неё. Ни один из нас до сих пор об этом не думал. И зачем? Мы ведь оба были свободными людьми и были вольны делать, что хотели.

– Это вопрос Фимы?

– Нет, Боже мой! Он понятия не имеет, просто я думала, это было бы хорошо, и я бы меньше переживала за него. Он бы был не один…

Последнее прозвучало немного смешно, потому что на самом деле, Ефим за нее всегда гораздо больше переживал, чем она за него. Отовсюду, куда бы его ни приглашали в качестве гостевого профессора, даже из Америки, он всегда регулярно летал в Париж, чтобы взглянуть на неё, отпраздновать её День Рождения и всеми способами ей показать, с какой любовью он о ней заботится.

– On verra[31], – сказала я.

В тот момент я ничего не могла ответить и скоро позабыла об этом вопросе.

У нас появились другие заботы.

[31] фр. Поживем – увидим.

## Сердечная карта

Это случилось году в 92-м или 93-м, когда мы по разным рабочим делам приехали из Парижа в Берлин. Ефим должен был выступать в Литературном Доме на Фазаненштрассе, а вечером следующего дня меня ждали с докладом в университете в Падерборне. Было уже предрождественское время, и рождественские рынки росли как грибы. Тогда еще не было глобализации, и каждый из этих рынков славился своими особенными угощениями и поделками, повсюду можно было найти что-то удивительное – будь то из стран третьего мира или от местных ремесленников, уж не говоря о международном кулинарном ассортименте. Ефим уже сделал свой доклад и его хорошо приняли – как всегда. И вот у нас появилось свободное время, для того чтобы погулять по городу. Поскольку мы оба не очень хорошо знали Восточный Берлин (хотя я там родилась), то пошли в направлении Берлин-Митте, к площади Жандарменмаркт – тому месту, где до сих пор находится один из красивейших в Берлине рождественских рынков. Мы долго шли по старинному кварталу святого Николая, который даже во времена ГДР оставался своего рода визитной карточкой города, в силу чего его для иностранных гостей приводили в ухоженный вид. Потом мы покупали рождественские подарки – при этом я снова и снова удивлялась, насколько быстро Ефим принимал решение, когда что-то выбирал, пили глинтвейн и заглядывали в каждую, попадавшуюся на пути церковь. Внезапно – вопреки моему обыкновению – я решила отказаться от доклада в Падерборне и остаться с Ефимом.

Уже тогда во мне появилось чувство, что я ни минуты не должна тратить на несущественные вещи, чтобы суметь как можно лучше провести отпущенное нам время. В конце концов, ему было за семьдесят, а мне за

пятьдесят, хоть на здоровье мы оба и не жаловались. Это было просто какое-то неясное ощущение, но я вдруг позвонила в Падерборн и нашла предлог, из-за которого не могла приехать. Странным образом, у меня даже угрызений совести по этому поводу не возникло, хотя я еще ни разу так не делала. Мы с облегчением отправились побродить в оставшееся время по улицам, открывая старое и новое, нашли аллею Сталина, образцово-показательный объект времен ГДР в московском кондитерском стиле, радовались снегу и сибирскому холоду и, наконец, нашли приют в маленьком пансионе, где для нас была заказана комната. Уже было поздно, и мы оба чувствовали себя усталыми. Посреди ночи Ефим разбудил меня:

– Элькеляйн, может, сходишь в аптеку, купишь мне какое-нибудь лекарство? У меня боли слева, в спине, в груди и в плече…

– И давно уже? – моментально проснувшись, в ужасе спросила я.

– Уже с вечера. Все сильнее болело.

– И ты ничего не сказал?

– Я думал, пройдет…

Я осторожно прощупала область сердца, задала все возможные вопросы о характере его болей – вывод был ясен. Я быстро оделась – намерения идти в аптеку у меня не было. Если Ефим жалуется, что ему больно, то, насколько я знаю, это должно быть что-то серьезное. Я стала искать телефон – мобильных телефонов тогда еще не было. Меня все больше охватывала паника, с трудом мне удалось взять себя в руки. Аппарат нашёлся в коридоре, но это был стоявший у входа автомат с монетками – если нет подходящей монетки, то не позвонишь. Сверху на скотч была приклеена монетка в пятьдесят пфеннингов. Одна – а в пансионе по меньшей мере пять комнат! Только сейчас я осознала, что мы здесь абсолютно одни, и что владельцы пансиона живут где-то в другом месте. И тут я в спешке сделала ошибку, на которую не имела права: вместо службы скорой помощи я

набрала номер службы помощи при нападениях. Нет пощады! Германия – страна порядка.

– Пожалуйста, обратитесь в службу скорой помощи.

Раньше, чем я успела что-то сказать, на том конце уже повесили трубку, чтобы освободить линию для «настоящих» несчастных случаев – взломов и т.п. Похоже, собственность важнее жизни. Единственная монетка была использована, аппарат ее проглотил.

Я судорожно обыскивала отделения кошелька, карманы пальто, мои платья, костюм Ефима, карманы брюк – все, что попадалось под руку. И вот – наконец, в последнем нашлась монетка в пятьдесят пфеннингов, не перекочевавшая к нищему. Моя рука дрожала, когда я, опустив ее, медленно и осторожно набирала номер – один-один-два – только бы в этот раз не ошибиться. Прошло, наверное, только шесть минут с тех пор, как я выбежала из комнаты, а мне они показались вечностью. В службе скорой помощи ответили, спокойно и четко спросили о том, какие симптомы, какая улица, какой дом, приказали, чтобы больной не вставал с постели, и через три минуты действительно были у нас. Невероятно!

Они приехали сразу со специальным чемоданчиком для пациентов с инфарктом, прыснули Ефиму под язык нитроглицерин из бутылочки, в один миг спустили его на носилках по лестнице вниз к стоящей наготове машине, и мы с синей мигалкой отправились в Еврейскую больницу (ту самую, в которой сейчас работает моя дочь на станции диализа) – случайно ближайшей оказалась именно эта клиника. – Нам подходит, – механически подумала я. Хоть тогда это и было уже только название.

Я не знаю, как долго я ждала в холодном свете коридорных неоновых ламп – часа два точно. Время от времени прошумит кто-то мимо с беспомощной или сострадательной улыбкой и бежит дальше. Бесполезно было пытаться привести в порядок мои сбивчивые мысли – не получилось бы. Вместо того, чтобы о чём-то думать, я молча заклинала:

– Ты должен бороться, Фима! Ты же любишь жизнь как никто другой. Вспомни Ницше: *что обещает нам жизнь, мы должны исполнить для жизни*[32]. У нас же все только началось. *Carpe diem*. Не оставляй меня одну. Я с тридцати лет защищала свое право быть одной и отказалась от него для тебя – неужели это было напрасно? Ты не можешь со мной так поступить! И, вообще, ты только поправляйся, я буду оберегать твое сердце как зеницу ока. Твое сердце тебе больше не принадлежит, ты часто так говорил. Оно мое, и я его не отдам. Я знаю, оно много пережило, но теперь с этим покончено. Мы будем много смеяться, тебе ведь это так нравится, как я люблю твою иронию, твою нежную, веселую и печальную иронию с сознанием человеческой суетности. Пожалуйста, очнись и улыбнись, ради всего святого. Кто же мне будет говорить *можно* каждый вечер?

В какой-то момент кто-то положил мне руку на плечи, как будто в одном из этих плохих сериалов про врачей – одно клише за другим. Голос сказал: – Вы можете сейчас увидеться с ним ненадолго, но потом вам нужно будет уехать домой, завтра можете приходить снова. Это инфаркт, но не тяжелый. Завтра посмотрим, что будем делать дальше. Фима улыбался, белый как простыня, он совсем измучался.

– Ты спасла мне жизнь. – Нет, это ты мне! Они выгоняют меня из больницы. Попытайся заснуть – *мой самый любимый мальчик. Целую тебя. Спокойной ночи*. Он уже спал и все ещё улыбался, а его лицо было чистым, спокойным и совсем юным.

Я где-то нашла белой и лиловой сирени – его любимых цветов – их я принесла ему на следующий день. Врач заверил нас, что больше ничего не нужно предпринимать, что в этом нет необходимости. Он сказал, что Ефиму

[32] Ф.Ницше «Так говорил Заратустра», вольная цитата. В оригинале: «Was uns das Leben verspricht, das wollen wir dem Leben halten. / Что обещает нам жизнь, мы хотим исполнить для жизни» Пер. с нем. Ю.М.Антоновского. Здесь: «Was das Leben uns verspricht, das müssen wir dem Leben halten».

нужно еще три недели оставаться в больнице, много лежать и очень медленно заново учиться ходить, жить, дышать. Я каждый день была там по восемь часов, до ночи, хотя официально этого тогда еще не разрешали. Но люди из персонала клиники, скорее всего, поняли, что им не удастся меня снова прогнать. Ему больше нельзя было курить, и нужно было менять питание. Я была рада тому, что врач с ним поговорил строго, вполне в моем духе. Я давно поняла, что в России ежедневный рацион составляют, прежде всего, мясо, картофель, яйца, сметана и водка, редко овощи. Рыбу, салат, фрукты практически не едят.

На это накладываются еще и все неурядицы. Кто при этом останется здоровым?

– Иначе я ни за что не могу ручаться, – говорит врач. – Ваша жена должна за Вами следить.

– Но я не его жена.

– Ах, так, – задумчиво посмотрел на нас врач.

Ефиму очень медленно, но все-таки становилось лучше. В это время я жила у своей давней подруги – той самой, с которой мы когда-то ходили на парусной лодке до Хельсинки. От нее до больницы было полчаса. Такой холодной зимы в Берлине уже давно не бывало, вечером и ночью столбик термометра падал до русской температуры – минус двадцать градусов. Рождество в больнице. Я приволокла все, что могло бы сделать уютным белую стерильную палату. Ефим был в палате один, какое счастье! Я превратила ночной столик в стол для подарков: книги, цветы, еловые ветки, всеволновый приемник, чтобы он мог слушать русское и французское радио, толстый свитер и маленькие маринованные сардины, которые он так любил.

– Если ты будешь меня так баловать, после болезни я стану совсем невыносимым.

– Ничего страшного. Ты уже невыносим. Или просто так взять и получить инфаркт – это нельзя назвать невыносимым? Обещай мне больше

никогда не терпеть так долго, если у тебя что-нибудь болит, а сразу же вызывать врача, если меня нет рядом?

– Обещаю.

Он действительно держал слово и дважды в Париже ночью вызывал скорую помощь – оба раза он оставался в одиночестве только на одну ночь, и ему внезапно становилось плохо. Слава Богу, и в том, и в другом случае это была ложная тревога. По-настоящему плохо ему стало только однажды, уже несколько лет спустя, когда он между семестрами ненадолго летал в Израиль на обрезание к правнуку. Было страшно жарко, и в одной маленькой книжной лавке, куда он в поисках тени зашел во время своей утренней прогулки, он вдруг потерял сознание и очнулся, уже когда его тряс за плечо владелец: – Что с Вами? Вызвать машину скорой помощи?

– Нет, уже лучше. Спасибо Вам. Это все жара. Он медленно возвратился домой, где его ждали дочь и внучка Ася с ребенком. Только бы никто ничего не заметил! Иначе они не дадут ему завтра улететь. А ему хочется назад, как можно быстрее, туда, где он уже чувствует себя совсем как дома…

Перелёт он выдержал. Сегодня я знаю, рак к тому времени, по всей видимости, уже был, но еще долгое время не проявлялся, потому что в кишечнике нет нервных окончаний, и боли отсутствовали. Кроме этого, после его инфаркта мы старались жить крайне размеренно.

Тогда, по пути в берлинскую клинику, я однажды в ледяной тьме увидела лежащего на дороге мужчину. На улице было почти безлюдно. Я попыталась выяснить, пьян он, ранен или с ним что-то еще случилось. Он только невнятно бормотал, но спиртным от него не пахло. Одной мне было его не поднять. И вдруг меня осенила мысль, скорее воспоминание: в Орегоне я однажды видела, как у одного больного диабетом понизился сахар, и ноги подкосились, будто резиновые. Его спутница бросилась в ближайший магазинчик и купила ему кусок пирога. Это помогло практически сразу. Я невольно полезла в сумку. Трудно поверить, но там и вправду оказался

кусочек пирога – мой старый друг Андреас отдал мне его час назад, мол, когда я, наконец, запомню, что у него старческий диабет, и что ему это нельзя. Я спросила: – У Вас, может быть, диабет? Он с усилием кивнул.

– Послушайте, сейчас Вам надо съесть этот кусочек пирога – быстро! Я засунула пирог ему в рот. Он стал послушно жевать. После этого я попыталась поставить его на ноги – не получилось. Я стала просить прохожих помочь мне. Один ответил: – Этот пьяный мужик меня не интересует.

Второй: – Нет времени, девушка, Вы уж как-нить сами. Третий: – Простите, но мне нельзя поднимать тяжести. Четвертый что-то буркнул о пролетариях… Пятой оказалась молодая женщина. Я подошла к ней с угрожающим видом: – Пожалуйста, вы обязательно должны помочь мне, поставить этого человека на ноги, иначе он замерзнет. Она попыталась уклониться, но тут я рассвирепела: – Иначе я на вас заявлю в полицию за неоказание помощи! Она с неохотой принялась помогать, и мы с трудом подняли мужчину. Благодаря моему пирогу он уже мог стоять сам, хотя бы шатаясь и ухватившись рукой за ограду. Женщина сбежала, будто чёрт от ладана. Я между тем тоже наполовину замерзла, к тому же Ефим ждал. Ни возможности связи, ни какого-нибудь магазинчика поблизости – ничего не было.

– Где Вы живете? – спросила я мужчину. Он уже мог лучше говорить, и я поняла, что живет он совсем неподалёку. Всё равно нам понадобилось еще полчаса, чтобы дойти, а потом еще квартира оказалась на пятом этаже… Я даже не помню, как мы тогда добрались до нее. Помню только, как мужчина беспрестанно бормотал: Осподи, раззи ж такое бываить? Вы што ли ангел? Верно, ангел и есть. Взаправду… ангел. И на кой же я Вам сдался? Ток ангелы такими бывають. Когда мы, наконец, дошли до его квартиры, я нашла там таблетки инсулина, дала их ему, а его вверила судьбе – ему нужно было поспать. Еда в холодильнике была.

Когда я тихонько повернула замок, открывая дверь, он уже начал похрапывать.

– Может, тебе надо было стать штатным спасателем? – сказал Ефим, когда я ему рассказала о причине моего опоздания. – В любом случае, он прав: ты точно ангел.

За его иронией еще скрывался ужас, который ему еще недавно пришлось пережить.

**Вена**

В 1997 году нас пригласили на семестр в Вену. Для меня это одновременно был первый в жизни оплачиваемый творческий отпуск, и я наслаждалась им всеми фибрами моего существа – не нужно вести занятий, ходить на скучные заседания. До сих пор из-за того, что мне постоянно приходилось менять университеты, я все время пропускала срок, в который творческий отпуск предоставляется. Но до того как отправиться в Вену нам ещё надо было в Париж, чтобы все подготовить. Впервые Ефим обнаружил весьма забавную хитрость в отношении денег – обычно он был к ним абсолютно равнодушен. Он выяснил, что его больничная касса могла бы оплатить перелёт из Берлина в Париж к месту проживания ему и даже мне (как сопровождающему лицу), если бы наши отношения были каким-то образом узаконены. Франция была, по-моему, первой европейской страной, где в ратушах стали выдаваться свидетельства о *внебрачных отношениях*, т.е. о гражданском браке. Выяснилось, что такое свидетельство будет иметь силу для больничной кассы, даже если мы его получим после перелёта. Поэтому, как только мы прибыли в Париж, к делу были подключены двое наших друзей, которые пришли в ратушу и поставили свои подписи в качестве свидетелей. Это были мой друг Ирвинг из Орегона, имевший вторую квартиру в Париже и своим энтузиазмом по поводу Монумента впервые

обративший мое внимание на Ефима – с тех пор он относился к нам с особенным участием – и одна верная подруга Ефима, которая с тех пор, как Ефим поселился в Париже, всегда сама настаивала на том, чтобы перепечатывать на машинке написанные им от руки работы, исправляя при этом случайные неточности – и это без всякой оплаты, по-настоящему дружеская услуга! Её сын, Андрей Маркович, который, будучи ещё совсем молодым человеком, принимал активное участие в работе парижской переводческой мастерской Ефима (в этой мастерской все сочинения Пушкина были переведены на французский язык), сегодня является одним из самых известных французских переводчиков Достоевского.

Регистрация прошла быстро и по-деловому, так сказать, на бегу, за пять минут. Потом, мы пошли чего-нибудь выпить, смеясь по поводу нашей сделки. Заплатив сорок пять франков пошлины, заработали одну тысячу пятьсот немецких марок. Фима радовался больше всех: на эти деньги мы могли сделать новое окно в Бельвю, в Бретани. Гостиная в основном доме, несмотря на то, что в ней было два окна, была такой мрачной, особенно в пасмурные дни, что нам иногда становилось неуютно за старыми массивными стенами. Нужно было больше света. А теперь у нас была на это, по меньшей мере, половина средств. У нас еще было несколько свободных дней. Потом мне нужно было еще раз слетать назад в Орегон.

Внезапно приехала из Канады дочь Ефима. *Hannibal ante portas*[33] – военный клич древних римлян. Я знала, как он её уважает. Он ведь тогда отправился из Юджина в Сиэтл, чтобы представить своей строгой дочери будущую жену (хотя та ее очень хорошо знала со времен детства в России).

И в этот раз старшей дочери дома не сиделось. Что это за новая непрошеная гостья опять появилась на её ниве? О существовании этой персоны она догадалась уже по тому, что её отец вдруг начал носить с

[33] лат. Ганнибал у ворот.

любовью подобранные рубашки и пиджаки. Сам он себе их точно не мог приобрести – дочь знала, если нужно было купить новую вещь, он всегда выбирал самое дешевое.

Короткий телефонный звонок, и вот она уже была здесь, просто так, из Торонто в Париже, чтобы посмотреть, всё ли в порядке. Папа обрадовался. Видя её или разговаривая с ней, он всегда сиял. С её стороны были осторожные попытки пойти на сближение. Я же отнеслась к ней с большим доверием, мне хотелось подружиться с ней – у нас же было только пять лет разницы. Становление моего мировоззрения пришлось на семидесятые годы – это было время студенческого движения, тогда же начиналось движение женщин за независимость – поэтому я ненавидела в ту пору ещё считавшееся нормой соперничество между женщинами. В семье у меня были только братья – не удивительно, что я всегда радовалась общению с новыми подругами и знать ничего не хотела об отживших свое предубеждениях. Я встретила её с почти наивной открытостью, как сестру, по которой давно тосковала, в то время как она со сдержанностью, уважением и, прежде всего, с любопытством меня изучала. Сегодня я предполагаю, насколько чуждым ей было то, что, как она видела и чувствовала, связывало нас с её отцом. Хотя в её присутствии он был очень сдержанным, по нашим глазам было видно, насколько сильно мы привязаны друг к другу. Но кто может долго скрывать свою сущность? При первой возможности она изложила мне свои условия: если у меня с *папочкой* все серьёзно, то мне должно быть ясно, что я должна о нём действительно заботиться и всегда быть с ним, особенно теперь, после его инфаркта.

Разве меня нужно было учить? Мысленно я улыбнулась – мы ведь с Фимой уже давно все уладили и договорились, что я как можно быстрее уеду из Орегона, найду работу в Германии и, по возможности, всегда буду рядом с ним. Но он боялся сказать ей об этом, был нем как рыба, в то время как моя собственная дочь уже почти с самого начала наших отношений радовалась за

меня, все время спрашивала о нём и была вместе со мной счастлива, ещё до тех пор, пока его увидела.

Но потом дочь Ефима сказала фразу, которую я никогда не забуду, и которая меня очень удивила и обрадовала. С тем же чувством я вспоминаю её и сегодня. Незадолго до нашего прощания она произнесла: – You know, my mother and you – you would have been great friends. I would be very happy if you really would take care of him (Efim) – permanently. (Знаешь, моя мама и ты – вы бы прекрасно поладили. Я была бы очень счастлива, если бы ты стала заботится о нем (о Ефиме) – постоянно).

**Ревность**

В первый раз её – сам того не желая – вызвал наш первый общий друг Ирвинг, которого Ефим знал еще с Орегона и всегда любил. Уже давно запланированная с Ирвингом и группой его друзей из Франции двухнедельная вылазка в Пиренеи совпала с той датой, к которой Ефим, точно со мной об этом не договорившись, ждал меня в Бретани. Задержка вышла всего на пару дней, но когда я, соскучившись и ни о чём не подозревая, позвонила ему, голос его был холоден и насмешлив:

– Тебе нравится гулять с Ирвингом?

– Да, конечно, здесь чудесно. Но я скучаю…

– А я сижу здесь один и жду тебя – прервал он меня. – Если у тебя все так чудесно, я завтра тоже уеду куда-нибудь.

– Но ты же знаешь, осталась всего пара дней…

– Меня тут один приятель в Ним пригласил. Если ты через три дня не приедешь, я уеду один.

Я почувствовала прилив темной ярости. Никто не имеет права так со мной обращаться. Собственно, все было ясно и мы обо всем договаривались. Только из-за того, что ему вдруг стало одиноко, я должна чувствовать себя

виноватой? Должна уехать и всех бросить? В конце концов, все заранее заказано и оплачено. Прежде чем я снова смогла соображать, он повесил трубку. Когда я после этого разговора вернулась к остальным, они сразу же заметили, что со мной что-то не так. – Он ревнив, как двадцатилетний юнец, – ответила я на их расспросы.

Друзья посоветовали:

– Оставь его ненадолго, пусть он спокойно обо всем подумает, а завтра снова позвони.

Следующим вечером была попытка номер два, но целый день перед этим я ходила с тяжелым сердцем. Я могу понять ревность, но вместе с тем как унизительно это недоверие. Я сказала ему:

– На два дополнительных дня я могу не оставаться, но раньше, чем закончится неделя, которую мы изначально запланировали для похода, я не уеду отсюда. Ты бы сделал тоже самое.

Я почувствовала, что он немного успокоился. Мы договорились встретиться в Везон-ла-Ромене – сохранившемся с античных времен городке на юге Франции, в центре которого у меня жила приятельница. Я сказала, что сразу же поеду туда, как только наш поход закончится. Это был единственный компромисс, на который я была готова пойти – он понял это без объяснений. Подумал ли он прошлой ночью о том, насколько резко мне уже пришлось изменить свою жизнь с тех пор, как мы встретились?

Те дни, которые мы провели в Ниме у друга Ефима, русского художника Олега Цингера и его жены Нанни, были чудесны, а моя приятельница – раньше я была её научным руководителем – была, конечно же, очарована Ефимом – все было так, как будто бы ничего не произошло.

*

Год спустя.

– Ты здесь уже бывала когда-то?

Мы ехали по направлению к Иль-де-Ре – острову в Атлантическом океане у западного побережья Франции – в гости к одной моей подруге. Я, сидя за рулем, ответила:

– Я ведь тебе рассказывала, лет тридцать назад мы с моим другом проплывали мимо этого места на той парусной лодке, что в каждом порту оказывалась самой маленькой. Ефим погрузился в молчание. Ехать нам оставалось еще долго. Мы двигались по городу, поэтому скорость была медленной. Были каникулы, на дорогах было много машин, и мне приходилось концентрироваться. Прошло много времени, прежде чем я вдруг заметила, что он совсем ничего не говорит.

– Что-то случилось?

– Нет, я думаю о разных абстрактных вещах. Его лицо выражало замкнутость, я уже знала его такое лицо – лицо Монумента, с тех времен, с начала нашего знакомства в Орегоне.

– Может быть, я тоже смогу понять эти абстрактные вещи? – пошутила я, не видя за собой вины и одновременно чувствуя с его стороны какой-то загадочный упрек.

– Едва ли.

Мы ехали дальше по чудной местности, располагающей к вину, хорошей еде и беззаботности – недаром Миттеран именно здесь всегда старался проводить свой отпуск – ехали уже часа три, не проронив не слова. У меня тоже проснулось упрямство. Я видела, что Ефим борется с собой, но ему нужно было самому с этим справиться. У меня в голове не укладывалось: неужели можно обижаться на то, что было тридцать лет назад притом, что я приняла всех его подруг и друзей, живых или мертвых, и мы даже навещаем их вместе? Разве он не испытывал всегда наслаждения от того, что мог рассказать абсолютно обо всем и быть понятым без морализаторства? Мне вспомнилась моя мама, часто подтрунивавшая над моим фанатичным правдолюбием:

– Не всегда нужно все рассказывать, – говорила она, – большинство людей не выносят правды, даже если и утверждают обратное. Получается, она снова была права? Наконец, мы нашли маленький пансион, чтобы переночевать. Подруга ждала нас только на следующий день. В молчании мы занесли наверх чемоданы, в молчании разложили вещи. Идти в таком состоянии ужинать я не могла. Мы стояли у моря, не решаясь заговорить друг с другом.

– Что ты со мной делаешь? – внезапно вырвалось у меня. Почему ты позволяешь себе упрекать меня из-за столь давних историй? На это никто не имеет права – даже ты! Или ты жил как монах? Ты что, бог? Мне нужно извиняться за то, что у меня, свободного, не связанного узами брака человека, был друг? За что ты меня наказываешь? За то, что я тебе доверилась и рассказала об этом? Ты думаешь, я и дальше буду так поступать, если ты будешь так на это реагировать? Молчание в наказание – это же хуже, чем в католической церкви – фу!

Во время этой долгой речи Ефим будто освобождался от железных тисков.

Никогда еще он не смотрел на меня с такой беспомощностью. Как если бы он медленно возвращался к самому себе, заново находя место в своем внутреннем мире.

– Прости, – сказал он и встал на одно колено, будто на сцене, а не в сумерках на узкой полоске песка у воды. При этом он был абсолютно серьезен:

– Я не хотел быть несправедливым, ты имеешь полное право рассердиться. Но иногда это так тяжело – я ни с кем не хочу тебя делить, даже с твоими воспоминаниями не хочу. Я знаю, как это глупо, – его голос надорвался, как тогда, когда я позвонила ему в Вермонт и он сказал: – Я не знал, что это так сильно. Я обняла его. Примиренные, мы сидели на тёплом песке, прижавшись друг к другу.

Я знаю, нынешнее поколение не умеет говорить об интимных вещах, о чувствах, тем более об эротических переживаниях. Для этого не существует языка, разве что язык поэзии. Но он не годится для повседневности, в которой так или иначе приходится жить. Ефим знал, что я принадлежу ему и душой и телом, но его робкое чувство требовало все новых знаков, подтверждающих, что он не ошибся.

– Зачем тебе нужен этот старый еврей? – то и дело спрашивал он меня с тех пор.

Но эта нежная самоирония выдавала, что он достиг согласия с самим собой и с нами.

Я понимала, что время от времени его, скорее теоретически, начинала беспокоить наша разница в возрасте. В нашей совместной жизни мы её не чувствовали. Я была на двадцать три года моложе его, но все-таки мне было пятьдесят, и за плечами была уже насыщенная, богатая событиями жизнь, я объехала уже полмира – часто в одиночку, у меня, как и у него, были дети, внуки и огромный круг друзей. Другое дело, если бы мне было двадцать, когда мы встретились, и я была бы его моложе на сорок с лишним – как «та, чьё лицо»…

Самая красивая из всех, сделанных мной, фотографий Ефима появилась именно в Иль-де-Ре. Она и сегодня стоит у меня на ночном столике. Эта фотография запечатлела всю нежность двух человек, что знают все о пристрастиях друг друга и разделяют их, видя в другом равного себе. Однако в те десять лет, что нам были отведены, рецидивы «супружеских сцен» еще пару раз случались. Один раз мой давний друг и коллега собрался заехать ко мне в Бретань – без жены, что было редким случаем – и день другой погостить. Конечно же, я его радушно пригласила. Мы с Ефимом были в тот момент еще в Париже, но к моменту приезда гостя планировали приехать в *Бельвю*. Неожиданно Ефиму пришлось по делам задержаться еще на два дня в городе, и он ждал от меня, что я тоже с ним вместе уеду позже.

– Ты не можешь остаться в доме вдвоем с мужчиной! – сказал он со старомодным пафосом (мне тогда было пятьдесят два).

– Могу я узнать, почему?

– Ну, так не полагается.

– А ты не путаешь нас с героями «Крейцеровой сонаты»?

– Как бы то ни было, я этого не хочу.

– Но я обещала, я не могу не принять своего старого друга! Кроме того, ему нужно где-то остановиться.

– Почему бы ему не остановиться в гостинице?

– Дело не в этом. Через два дня он уже уедет, и мы опять долго не сможем увидеться.

– Ты остаёшься? – спросил он так, как будто вообще не слышал моей последней фразы.

– Я уезжаю, естественно.

Внутренне я была очень обижена. Если он мне не доверяет, то, по меньшей мере, пусть пострадает в наказание. Но я смутно догадывалась, что русская «честь» снова сыграла с ним злую шутку.

Он доверял мне – всегда. Но то, как мы выглядели для других, должно было соответствовать нашему внутреннему состоянию. Конечно же, он забывал о том, сколько женщин такого же возраста мне приходилось терпеть в качестве его посетительниц – вне зависимости от того, могла я при этом присутствовать или нет. Как это у Гейне: «Старинная сказка! Но вечно/ Останется новой она,/И лучше б на свет не родился /Тот, с кем она сбыться должна!»[34]

Итак, я уехала, и провела два совершенно ничем не примечательных дня со своим другом, показывая ему окрестности и ловя себя на том, что все время рассказываю ему о Ефиме. Наконец, приехал Ефим, так что последний

[34] пер. А.Н.Плещеева, ср. в оригинале: „Es ist eine alte Geschichte, doch ist sie täglich neu, und wem sie just passierte, dem bricht das Herz entzwei“.

вечер мы могли провести все вместе. Но мой муж, обычно чрезвычайно компанейский человек, который мог легко развлечь всю компанию своей эрудицией, шармом и остроумием, тут вёл себя вежливо, но не произнёс ни одного лишнего слова. Его лицо было непроницаемо, он казался настоящим «Монументом», выглядел отталкивающе, без улыбки, без теплоты, без блеска. Больше чем «да», «конечно», «нет», «ни в коем случае» из него было не вытянуть. Спать он ушёл демонстративно рано. Мне было стыдно за него, я извинялась. Никогда не забуду сердечных слов своего друга:

– Да, верно, он был не особенно приветлив сегодня, но его шарм и выдающуюся личность я за этим все равно разглядел.

В третий раз его фантазия нашла особенно странные пути. Один мой друг из Орегона, гей, остановился тогда в Париже, ему пришлось съезжать с той квартиры, где он жил, и в этой затруднительной ситуации он позвонил мне и попросил пристанища на один-два дня. Конечно, я его пригласила. Он был моложе меня на тринадцать лет, хорошо выглядел и был очень мил. О женщинах он даже не думал никогда, и мне казалось, это сразу чувствовалось. Но Ефим внутренне воспротивился ему, он не мог понять, что этот совершенно по-другому близкий мне человек, для него не представляет никакой опасности. Для него я была желанна, и он не мог себе представить, что кто-то может чувствовать что-то другое. Этим вечером он был так несносен, обращался с гостем настолько враждебно и скверно, что это было на самом деле обидно. Вальтер хоть всерьез и не обиделся, но и не забыл этого. Они больше никогда не встречались друг с другом. Другой мой приятель, тоже гей, но старше меня по возрасту – он часто навещал нас в Потсдаме – у мужа опасений не вызывал, он даже отпускал нас прогуляться одних, когда ему нужно было закончить работу или хотелось поспать после обеда. К тому времени он уже привык, что я могу проводить время с друзьями.

Лев Разгон

Жизнеутверждающим окончанием данной главы должен стать рассказ о том, как Ефим в Москве познакомил меня со своим другом – Львом Разгоном. Тому тогда было уже за девяносто; после этой встречи до его смерти мы виделись с ним еще два или три раза. Льву уже было очень трудно ходить, но он все ещё был красивым пожилым мужчиной, излучающим тепло и доброту, при этом остроумным, внимательным человеком поразительно живого ума. Своей памятью он мог бы дать фору и пятидесятилетнему. Он целый вечер рассказывал нам о своей работе в знаменитой комиссии по помилованию, состоящей почти без исключения из людей искусства, ученых и писателей и уполномоченной при наличии единогласного вотума изменять уже вынесенный приговор к смертной казни на пожизненное заключение. Я – мы оба – были под сильнейшим впечатлением от того, с какой глубокой серьезностью он рассказывал о том, как изучает нескончаемые дела, об ужасах преступлений, часто совершаемых еще очень молодыми людьми, о своем неустанном стремлении спасти жизнь, молодую жизнь, в котором он так точно запоминал обстоятельства дела, что его аргументации не мог воспротивиться ни один из членов комиссии и о том, какое счастье он испытывал, когда ему вновь удавалось построить не просто удачную и содержательную, а выстраданную бессонными ночами, исполненную зрелого размышления речь, которая, в конце концов, убеждала аудиторию. На заседания его привозили на машине – он едва мог ходить. Горы дел ему доставляли на дом, сам принести он бы их все равно не смог. Так он, проведший семнадцать лет в ГУЛАГе, потерявший там свою первую жену и написавший об этом времени потрясающую книгу «Непридуманное», использовал свои последние силы, последние недели и дни для того, чтобы распространять надежду, может быть, когда-то спасшую жизнь ему самому. Надежду на то, что человек может исправиться, что понимание возможно, и

что оно того стоит, где бы то ни было не сдаваться в борьбе за это. Это создавало исходящее от него мощное излучение: *Voilà – un homme!*[35] Когда под конец мы заговорили о том, что он каждый год ездит в Италию, чтобы несколько месяцев провести со своей давней спутницей жизни, его лицо светилось полной боли и любви улыбкой:

– Я её, наверное, уже больше никогда не увижу, – тихо сказал он, указывая на переставшие его слушаться ноги. И слезы медленно прокатились по его щекам. Мы почувствовали, что здесь кто-то храбро и тихо готовит свое прощание и уважительно замолчали вместе с ним, дав ему прийти в себя. Позже мы увиделись с его подругой в Милане и рассказали ей об этих, разделенных с ним, минутах молчания.

С того дня Ефим при любом удобном случае, смеясь, говорил:

– Что касается симпатий Эльке, тут у меня только один соперник, и ему девяносто три года – это Лев Разгон.

*Nil pluriformius amore.*

**У Фрейда и Сиси**

В венском аэропорту нас встречал Вольфганг Краус, пригласивший нас на первые недели пожить в его второй квартире, пока мы не устроимся в гостевом доме университета. По причудливому стечению обстоятельств эта квартира находилась наискосок от квартиры известного господина Зигмунда Фрейда на улице Берггассе. Ефим знал Вольфганга Крауса по своим прошлым приездам в Вену, по-моему, он даже один раз был в Ленинграде. Вольфганг – основатель Австрийского общества литературы и зарубежных «Австрийских библиотек», был в высшей степени образованным и любезным человек, может быть, только с чрезмерным пиететом по отношению к

[35] лат. «Се человек!»

важным персонам (как и многие австрийцы). Он был очень консервативен – в самом лучшем смысле слова. Однажды он вместе с Ефимом делал телевизионную передачу, так они и подружились.

Его квартира, отданная нам во временное владение, была просторна, ухожена, с обширной библиотекой и удачным местоположением. Мы были чрезвычайно благодарны Краусу за то, что нам не сразу пришлось вселиться в номер стандартного, безличного этажа общежития. В этой квартире был особенный интерьер, создаваемый прекрасной старинной мебелью. Хозяин жил здесь раньше со своей женой – они уже давно развелись. Она, по-видимому, находилась на лечении в психиатрической больнице – не знаю, почему так вышло. Я невольно спрашивала себя, у кого я сейчас в гостях – у нее или у него. Ведь волшебство уюта и эстетики чаще всего создают женщины. Но этот вопрос остался без ответа. Краус тогда жил со своей подругой, но сохранил старую квартиру. Признаться, я начала немного понимать случившееся с его женой, когда заметила, что при всем его вежливом обращении со мной, он видит во мне только красивый аксессуар, прилагающийся к Ефиму. Похоже, тут все еще властвовали древние предрассудки: даже когда я (по совету Ефима) подарила Краусу в благодарность одну из своих книг, ничего не изменилось. Вещи, которые можно воспринимать серьезно, пишут всё-таки мужчины – так можно было выразить его невысказанные предубеждения. Ну и замечательно, – подумала я – пусть себе остается при своем мнении. Мне было довольно и того, что Ефим, будучи гораздо старше него, на самом деле был намного современнее, моложе и искреннее и всю свою жизнь уважал и поощрял самостоятельность женщин.

Конечно, мы побывали у господина Фрейда – в конце, концов, я же еще психолог и психотерапевт, а не только литературовед. Genius loci[36] его

[36] лат. Дух-покровитель

квартиры отличается крайне переменчивым нравом. С одной стороны, атмосфера частной жизни, с бесчисленными маленькими фигурками, статуэтками греческих богов, привезенными из путешествий или подаренными кем-то сувенирами и знаменитым килимом на не менее знаменитом диване. Одновременно, это – то место, где был «изобретен» психоанализ – наука и метод лечения, при котором врач как будто бы в большей мере пассивен и незаметен. Мне всегда было непонятно, почему мои современные коллеги-врачи с таким страхом стремятся скрыть от пациента все, что связано с их личной жизнью. Сам Фрейд в этом отношении вел себя совершенно по-другому. Большинство его пациентов были знакомы с его женой и детьми, прежде всего с дочерью Анной, которая с годами всё чаще работала вместе со своим отцом, долгое время подвергавшим сеансам психоанализа её саму – правда, они отнюдь не шли её на пользу. Конечно, сеансы для других пациентов, проводились тогда отдельно. К моему удивлению, некоторых из них Фрейд принимал даже на горном курорте, где проводил отпуск, в тех случаях, когда считал это необходимым и правильным. Прежде всего – Лу Андреас Саломэ, свою любимую студентку и коллегу, ровесницу и подругу Анны, а также принцессу Мари Бонапарт, которая одновременно была его пациенткой и духовной подругой – без её энергичного и деятельного участия Зигмунд не смог бы вовремя скрыться в Англии от нацистов. Не имеет значения, что некоторые из его теорий отстали от времени, были развиты его последователями, прежде всего, Александром Мичерлихом, или даже отвергнуты – например, феминистками. Никто не сможет поспорить с тем, что психоанализ распахнул огромные ворота, ведущие к пониманию бессознательного, и продвинул человечество на пути самосознания далее, нежели все прочие науки. Фрейд был одним из величайших мыслителей XX века – именно потому, что обратил внимание на, казалось бы, незначительные, никем не замечаемые вещи и научил их интерпретировать.

В это время я стала подмечать, что Ефим часто подчёркивает свое бесстрашие – и действительно, даже в самых пугающих ситуациях он сохранял удивительное спокойствие, рассудительность и ясность ума: например, когда обнаружил, что ограбили его гостиничный номер в Ленинграде, или когда в Москве – меня тогда с ним не было – шедший навстречу прохожий вдруг ударил его ногой в грудь. Или когда нам случалось идти по тёмным улицам Ленинграда ли, Санкт-Петербурга ли, не говоря уж о подвыпивших типах на трамвайных остановках, которые мгновенно могли прийти в ярость, даже если разговаривать с ними абсолютно доброжелательно. Очевидно, они всегда ожидали неприязни по отношению к себе, и не могли без недоверия реагировать на дружелюбие – печальное наследие советского прошлого.

Я и вправду никогда не видела его напуганным, что бы не происходило. Выходные за выходными мы, не встречая ни одной живой души, проводили в безлюдных горах близ Барселоны – мы были приглашены в этот город на несколько месяцев. Незадолго до объединения Германии мы взбирались по крутым на сотни метров возвышавшимся скалам Саксонской Швейцарии недалеко от Дрездена, в так называемом Бастае – кроме ржавой железной лестницы, тогда там не было еще никаких приспособлений, чтобы добраться до вершин, а в Петербурге, в начале 90-х, мы спокойно заходили в любой, подъезд, как бы мрачен он тогда не был, в любой лифт, когда нас приглашали к себе  в гости друзья. Часто случалось так, что в подъезде не было света, или ломался лифт, часто в темноте нам встречались подозрительные личности – Ефим никогда не боялся, а я храбро следовала за ним, хоть порой и с колотящимся от страха сердцем, в то время как все вокруг нас рассказывали о нападениях, убийствах, поджогах, о том, как вырывают золотые зубы, пропадают скрипки Страдивари и пр.

Но что он видел во сне? Я много анализировала сны, будь то с психологических или литературоведческих позиций. Является ли страх тем,

от чего можно отвыкнуть, что подчинено воле? Существует ли другая сторона страха? То, что я видела в случае Ефима, представляло собой просто-таки образцовую ситуацию. Почти каждую ночь он страшно кричал, будто отбиваясь от кого-то в кошмарных снах, и был бесконечно благодарен мне за то, что я его как можно быстрее будила, окликая по имени и, успокаивала, заверяя, что всё в порядке, и что это был только сон. После этого он, едва очнувшись от увиденного, начинал рассказывать. Его рассказы напоминали какой-то мрачный, но очень увлекательный фильм – настолько живо он умел рассказывать, даже в полусне. Когда впечатление ото сна стихало, он снова спокойно засыпал – уже крепко и глубоко. В основе каждого такого сна была ситуация преследования, связанная с опасностью похищения, жестокими персонажами, нападающими на него в темноте или предательством во всех мыслимых вариантах. Постепенно я стала понимать, что днем он, усилием своей мощнейшей воли изгонял призраков прошлого. Ночью же он был беззащитен, и они выходили из своих убежищ и наносили ему – согласно открытому Фрейдом психическому механизму навязчивого повторения – бесконечную череду новых ран (также и физических), обид, унижений и травм предательства, как будто тяжёлый период его жизни никак не мог закончиться. Сегодня я, как, впрочем, и оперировавший его под конец врач, твёрдо убеждена в том, что виной его смертельной опухоли стали эти, испытанные в жизни разочарования и разрушительные переживания, и страх, который он так долго и так успешно подавлял, чтобы не тревожить семью и самому оставаться дееспособным.

Наша вторая квартира в Вене, в гостевом доме университета, была несколько безличной, но вполне нормальной. Ефим, как всегда, рано вставал по утрам, чтобы успеть совершить свой обязательный моцион и зарядку, потом мы завтракали. Так было в течение многих лет повсюду, где бы мы ни находились. Но здесь в Вене, где люди столь консервативны и так любят

позлословить, у меня в один прекрасный момент появился реальный повод для беспокойства.

Ефим часто рассказывал, что ему очень нравится совершать свои прогулки в том маленьком парке, где стоит большой памятник Сиси – статуя последней австрийской императрицы. Там, в её обществе, он и предавался своим упражнениям. Нужно еще сказать, что он старался заниматься физкультурой без свитера (зимой) или даже без рубашки (летом) – так Ефиму посоветовал его врач после того, как тот перенес тяжелую болезнь – это случилось, когда умерла его первая жена Катя. Однажды муж, вернувшись с прогулки, с удивлением сообщил, что был призван к порядку полицейским, который вдобавок потребовал у него документы, удостоверяющие личность. Я внутренне испугалась и попыталась полушутя предупредить его:

– Смотри, в следующий раз они тебя схватят и арестуют как бродягу, извращенца или даже педофила на том основании, что ты раздеваешься перед малолетней Сиси, да еще и демонстрируешь ей свои упражнения. Он посмотрел на меня так беспомощно, что я рассмеялась. – Как ты не понимаешь, таких типов самых разных мастей предостаточно, а парки – их излюбленная территория. Откуда ограниченному полицейскому знать, что ты выделываешь свои пируэты перед Сиси с чистыми помыслами, не думая оскорбить её своими развратными фантазиями!

– Они что тут все сумасшедшие? – спросил Ефим, всё еще находясь в крайнем замешательстве. Я взяла с него обещание быть немного осторожнее и, по возможности, найти другое место для физкультуры. Это произошло лет двадцать назад. Когда я слышу о событиях, происходящих в Германии в последние годы, о следующих друг за другом скандалах, связанных с изнасилованиями, особенно в интернатах и церковных общинах, т.е. совершаемых священниками и учителями, то испытываю запоздалую радость от того, что в этой и других ситуациях уже своим присутствием и более

критическим взглядом на вещи могла немного защитить его от глупых и обидных сплетен.

Даже в Бретани, когда он во время наших прогулок к морю абсолютно непосредственно заговаривал с детьми, я порой замечала устремленные на него подозрительные взгляды взрослых, сразу успокаивавшихся, когда я – очевидно, жена – присоединялась к нему, чтобы принять участие в болтовне. Величайшее удивление и величайшую скорбь испытывал Ефим от того, насколько болен этот мир, где люди в проявлениях интереса и участия, прежде всего, видят опасность и враждебность.

Вена была к нам дружелюбна. Ефим начал читать лекции по русской литературе и поэтике, я в большинстве случаев его сопровождала. Поначалу в аудитории оставались свободные места, хотя лекции могли посещать слушатели со всех факультетов. Мне бросилось в глаза, что практически не было преподавателей – в лучшем случае, один с той кафедры, от которой Ефим получил приглашение. Я решила поиграть в свою любимую игру: она состояла в том, чтобы слушать выступление Ефима так, как будто я его еще ни разу не слышала и ничего не знала о предмете его речи. Только так можно было увидеть все своеобразие его подхода. Поначалу он казался наивным, лишенным всякой теоретической базы. Ход его рассуждений был доступен каждому. Но вот уже, незаметно для слушателя, горизонт начинал все более расширяться, открывая многоэтажное здание его мысли, прозрачной и достаточно просторной, чтобы осветить всё множество приводимых примеров и параллелей из других национальных литератур. Цитаты на четырех языках, в стихах и в прозе, лёгкими жемчужинами срывались с его уст. Он держал перед собой конспект, но уже с первых минут полностью отстранялся от него и, говоря свободно, охватывал слушателей взглядом, устанавливая с ними особенную связь. У него была феноменальная память, даже когда ему было уже за восемьдесят, но несравненно большее впечатление производила его способность, обращаться к каждому из

присутствующих лично, от каждого добиваться понимания, как если бы он говорил только с этим человеком. И также как в диалоге, в публичной речи его сдержанное обаяние сильнее всего действовало в тех случаях, когда ему хотелось убедить, когда речь шла о священнейших для него вещах – литературе, языке, поэтике. Когда дело касалось этих сфер, идеи, передаваемые им, легко воспринимались аудиторией, хотя он их никогда не преподносил на серебряном блюдце. Нет, это происходило совсем по-другому: покорившись исходившей от него теплоте и высоте его знаний, аудитория слушала его аргументацию по поводу литературного психологизма так, как будто это был увлекательный роман и покорялась его убеждению уже до того момента, когда его речь подходила к концу. Когда после этого кто-то спрашивал: «А на какой концепции вы основываетесь?», он улыбался и говорил:

– На той, которую вы только что услышали, сударь. Я не использую готовых образцов, я развиваю мои собственные модели, построенные на основании точного наблюдения за языком. Я знаю работы Фуко, Лакана, Дерриды и иже с ними, также как и вы. Но я умоляю вас, освободитесь от этого всего и доверьтесь своим собственным чувствам и наблюдениям, тогда и вы сможете найти для этого подходящий язык.

Публика слушала его с изумлением и щедро награждала аплодисментами. На следующей лекции, как я заметила, появилось гораздо больше коллег, как будто бы разнеслась весть о том, что здесь, наконец-то можно размышляя говорить и говоря размышлять, что здесь творится настоящая «гуманитарная наука», естественно, скромно, независимо и убедительно. Так продолжалось и дальше.

С каждой неделей поток слушателей все увеличивался, всё больше приходило профессоров и научных ассистентов, которые садились за парты вместе со своими студентами и, также прилежно всё конспектировали. А Ефим стоял перед ними, и, казалось, ничего не замечал. Без претенциозности,

и одновременно с великой силой запечатлевал он свои слова в их сердцах, и, отпуская слушателей в конце лекции, дружелюбно улыбался в благодарность за увлеченность и внимание. Уже спустя много лет после его смерти на симпозиуме исследователей творчества Гёте, походившем в Африке, я встретила одного коллегу из Вены, которого, как и меня, пригласили в Йоханнесбург выступить с докладом. Вечером на приёме за бокалом вина я заговорила с ним, упомянув, что видела его на лекциях Ефима. На самом деле, он тогда первым пришёл. Его кажущееся закрытым лицо вдруг распахнулась, будто дверь замка, а его обычный, вызывавший всеобщую робость сарказм улетучился, уступив место искреннему восхищению, как только он услышал и вспомнил о Ефиме. Без сомнения, он глубже, чем другие осознавал тогда, что кто-то перед ним в аудитории раздаривает свои сокровища, кто-то, никогда не задумывавшийся о конкуренции и не оспаривавший ничью квалификацию. Просто потому что не мог по-другому. Это был Венделин Шмидт-Денглер, теперь его уже нет. Я никогда не забуду наши ночные разговоры с теми коллегами, что не ушли спать после напряжённого дня, проведенного в Кейптауне – он был самым умным, ироничным, мог больше всех пить и не пьянеть – вот и ему здесь поставлен маленький памятник.

Как всегда, Вена поражала обилием чудесных музеев, выдающейся архитектурой, кофейнями, иерархию которых нужно выучить, чтобы знать, в каких из них можно встретиться со знаменитостями, а в каких избежать таких встреч, театрами, музыкальными залами, парками и дворцами. Мы побывали на великолепном концерте русской пианистки Леонской, и после концерта долго беседовали с ней. Еще более волнительной была встреча с дирижёром Куртом Зандерлингом (он умер совсем недавно – в 2011 году, когда ему было почти девяносто девять лет) после его удивительного концерта. Тогда ему было почти восемьдесят, Ефим знал его с тех времен, когда он, Солженицын и Зандерлинг проводили лето на даче в одном

местечке недалеко от Ленинграда и встречались каждый день. Как всегда, Ефиму пришлось преодолеть себя, прежде чем он решился лично заговорить со старым другом – так велик был его страх оказаться навязчивым. Но мне всё-таки удалось его убедить, и вот уже оба, как ни в чём не бывало, разговаривали по-русски, вспоминали о том, что пережили вместе и радовались новой встрече.

Зандрелинг со всей настойчивостью приглашал нас посетить его в Берлине. Но до этого не дошло.

Хоть нам и очень нравилось в Вене, но всё-таки нас то и дело что-то неприятно поражало: то стилизованные под барокко или готику (выполненные в эпигонском, подражательном стиле) церкви, то роскошный оперный театр, в котором Гитлер в студенческое время слушал преимущественно Вагнера, то несокрушимый культ Сиси – Сиси или Моцарта – что ту, что другого можно было увидеть почти в каждой витрине. Скоро мы взяли за привычку уезжать на все выходные куда-нибудь в горы, оставаться там на ночь в каком-нибудь крестьянском подворье, бродить, открывать для себя новые места. В особенно красивых уголках мы начинали предаваться мечтам: – Здесь можно было бы купить домик, с этим видом на горы или на реку… Здесь можно было бы спокойно писать. Мы всегда брали с собой работу, и часто я одна отправлялась в лес или в горы, в то время как Ефим готовился к следующей лекции. Три, четыре часа по снегу и льду, по высокоствольному лесу. Перед моим внутренним взором вставали то персонажи из рассказов Штифтера, его удивительно точные описания местностей, свойственное ему ощущение полного одиночества, то исполненные граничащей с ненавистью любви тексты Томаса Бернхарда или Эльфриды Елинек – при этом выяснилось, что мой недавно купленный первый мобильный телефон в горах не работает. Значит, нет возможности позвонить Ефиму, чтобы он не беспокоился. Если учесть, что по пути почти никто не встречался, а со мной в любой момент могло что-то случиться –

совсем небезопасное дело. Но я не могла отказаться от этих прогулок. В Орегоне я привыкла каждый выходной проводить с друзьями у моря или в горах. Для катания на лыжах тут, правда, не было возможности, но мне было уже необходимо много двигаться, иначе возникал синдром отмены.

Вечером нас ожидал простой ужин, приготовленный крестьянкой.

– *Можно?* – спрашивал Ефим между десятью и одиннадцатью часами. У нас всегда был в запасе изысканный зеленый вельтлинер, но мы любили пропустить по бокальчику какого-нибудь местного винца. В остальное время я запоем читала – еще никогда мне не удавалось беспрепятственно наслаждаться чтением в течение столь долгого времени – это же был мой первый творческий отпуск на полном обеспечении. Как в раю. Вместе с материалами для моей книги – это было исследование, посвященное отношениям матери и дочери в литературе – я жадно глотала биографии Петра Великого, Вольтера и Мадам дю Шатле, его сказочно образованной, красивой и блистательной подруги; я снова спокойно перечитывала «Войну и мир» и другие произведения великих русских, все лучше узнавала Цветаеву и Ахматову и всё глубже погружалась в историю этой униженной, бедной, гордой и прекрасной страны – России.

Вечер за вечером я больше и больше узнавала её, десять долгих лет мы, собственно, только тем и занимались, что говорили о России и постоянно размышляли о том, сколько раз она была в кабале, о её поэтах, художниках, музыкантах, властителях и царицах, крестьянах, ремесленниках и обывателях, о её утопиях и падениях и о великом, великом терпении. Ефима переполняли разные истории и сведения, анекдоты и факты, а прежде всего любовь к каждой подробности. У Ефима не было ностальгии – ведь мы могли съездить в Россию в любое время, и делали это в течение отведенных нам лет по два-три раза в год, но он был глубоко предан своей стране, испытывая неустанное сострадание обделённым, униженным и оскорблённым и любовную гордость за великих представителей нации и силу русской

природы. Под конец нашего полугодового пребывания в Вене мы побывали на публичном чтении пушкинского «Евгения Онегина» легендарным немецким режиссером Петером Штайном, после чего я начала понимать, почему недостаточно знать это произведение только по опере Чайковского. Я стала читать текст Пушкина в разных немецких переводах, сравнивать их и обсуждать с Ефимом, лично знавшим всех переводчиков, и мне впервые открылась тонкая ирония и невиданное изящество языка этой удивительной поэмы. Поскольку одновременно я работала над сочинением о литературе ГУЛАГа, это позволило мне гораздо лучше понять сцену из книги Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», в которой декламация «Онегина» во время перевозки по этапу сначала чуть не стала причиной гибели героини, а затем спасла ей жизнь. В составе с заключёнными было запрещено иметь при себе печатные издания. Необразованный охранник и не думал, что кто-то может запомнить наизусть такой длинный текст и читать его вслух. Когда героиня стала декламировать строки поэмы под дулом направленного на нее пистолета – на случай, если она лжет – охранник начал неукротимо смеяться. Нет ни одной другой страны в мире, где бы чреватые взрывом противоположности не были бы так близки друг от друга!

Но были в Вене и другие друзья, которых мы разыскали: Лиза и Хайнц Маркштейны, в то время оба были убежденными социалистами и бесконечно тёплыми, верными и сердечными людьми, которые скромно жили и писали свои сочинения в маленькой трёхкомнатной квартире. Лиза – единственная переводчица произведений Солженицына на немецкий язык, которую он сам признавал, несмотря на практически парализованную руку и выявленный позже рак, отличалась неслыханным трудолюбием, преподавала, читала лекции, выступала с докладами и ухаживала за своей (позже также заболевшей раком) дочерью.

Хайнц писал увлекательные и пользовавшиеся успехом книги для юношества на такие неожиданные темы как, скажем, деятельность

Маймонида или других выдающихся исторических личностей, воодушевляющих своим примером, и через развлечение способствовал становлению самостоятельного мышления молодых людей. У них мы всегда чувствовали себя как дома, а обмен новостями о русской литературе и обществе не знал конца.

Чрезвычайно трогательными были наши немногочисленные встречи с графом Баттьяни и его женой, графиней Эстерхази. Когда Ефим в течение года был стипендиатом Берлинского исследовательского центра «Wissenschaftskolleg», он познакомился с писателем Петером Эстерхази. Каждый четверг в центре проводились слушания докладов с последующим обедом, на который также приглашались и супруги стипендиатов. С Петером Эстерхази мы почти всегда сидели за одним столом (Ефим вскоре перешёл с ним на «ты»). По настоятельной просьбе Ефима он дал нам адрес своей тетки – той самой графини Эстерхази. Во время вступления Красной Армии в Вену Ефиму, тогда еще молодому офицеру, встретился такой же, как он молодой человек, и они быстро подружились. Собственно, граф после внезапного решения перейти на сторону противника попал к русским в качестве пленного, и Ефим, прекрасно говоривший по-немецки, его допрашивал; позже его отправили в Сибирь… Это было пятьдесят лет назад, они с Ефимом потеряли связь друг с другом, и вот в Вену отправилось письмо, призванное возобновить прежнюю дружбу. В своей «Барселонской прозе», изданной в России в 2001 году вместе с «Записками незаговорщика» Ефим рассказал удивительную историю их новой встречи. Здесь я приведу этот рассказ, как он был написан Ефимом, после чего присовокуплю к нему свой эпилог. Ефим умер до тех пор, как смог бы сделать это сам.

**Ференц, граф Баттьяни** (Ефим Эткинд, (пер. с рус. Ренате Штольце)

«Выспроси его, - сказал полковник Потапов, - не понимаю, чего он лопочет». Он оставил нас одних. Передо мной был молоденький, миловидный, похожий на девушку офицерик в венгерской форме; погоны висели тряпками, пуговицы вырваны с мясом. Он сидел неподвижно, положив руки на колени, и осторожно на меня поглядывал. По-немецки говорил без акцента, но очень медленно, подбирая слова. Это было странно; обычно пленные мало заботились о форме своих ответов и старались поскорее задобрить советского офицера, от которого можно было ждать любых действий. Мой собеседник был благовоспитан и главное, полон врожденного достоинства.

Выяснилось, что он - Ференц Баттьяни, потомок графского рода, давшего Венгрии министров, генералов, ученых. Мобилизовали его недавно - раньше он был освобожден по болезни. Воевать на стороне немцев не желал: политика нацистов была ему отвратительна. К Советскому Союзу издавна питал симпатию; все его друзья были из кругов леволиберальной интеллигенции. Он дождался мало-мальски благоприятных условий и ночью перешел линию фронта. Русские бойцы схватили его, приняли за разведчика и жестоко избили, прежде чем сдать командованию (под глазом у него был синяк, на лбу ссадина). Из полка его передали в дивизию, оттуда в армию - и теперь он сидел передо мной в армейском штабе, в отделе разведки.

Допросить его еще не успели - я стал первым его военным следователем. Сомнений он не внушал; рассказанная им история казалась правдивой. Он - перебежчик, заслуживающий доверия. Разговаривал я с ним долго; о военных делах он ничего не знал, да ведь и пробыл-то на фронте, у озера Балатон, всего несколько дней. Он жил в Будапеште, рассказал о настроениях в городе; по его словам, все ждут конца войны, немцев не любят, встретят советскую армию с облегчением, даже с радостью. Население венгерской

столицы сделалось гораздо боязливее, чем было еще недавно: люди никогда так панически не пугались бомбежек, так дружно не набивались в убежища - почему? Очень просто: близок конец войны, никто не хочет погибнуть в последние недели, слишком глупо.

А перебежал он не из трусости, он не спасает свою шкуру: он хочет помочь Венгрии чем только может. «Я хорошо знаю в этом краю все дороги», - настойчиво объяснял он, стараясь сохранить достоинство, страдавшее из-за оборванных пуговиц, нечистоты, небритости, измученности, голода. От него дурно пахло, он это сознавал и, как потом сам мне говорил, готов был провалиться сквозь землю от стыда. Здешние дороги, даже лесные тропы он знает с детства - у семьи имение подле озера, тут ему приходилось жить больше, чем в Будапеште. «Могу пригодиться и для пропаганды, - предложил он, опередив меня.- Фамилия Баттьяни известна каждому венгру, хоть немного знающему нашу историю. Можете себе представить, как убедительны для всех наших слова Ференца Баттьяни, - моему примеру последуют многие не решавшиеся на такой шаг из ложного

понимания чести. Я же убежден, что человек чести не может воевать за Гитлера и Гиммлера». Позднее он мне подробно рассказал о своем предке - Лайоше Баттьяни, который возглавлял первое венгерское правительство в период революции 1848 года, отстаивал независимость Венгрии от Австрии, был арестован победившими австрийцами и по приговору военно-полевого суда расстрелян в Пеште в 1849 году. Ему было немногим более сорока; понятно, что он стал в своей стране легендарной фигурой. Вот от кого унаследовал Ференц Баттьяни идею чести.

Полковник Потапов, как полагается начальнику советского разведотдела, рявкнул: «Брешет!» Ему было трудно понять, что молодым венгром могли двигать гражданские идеалы. Ясное дело, его прислали вынюхать наши планы, запомнить наши позиции, сосчитать наши орудия: «Вот увидишь, он рванет обратно...» - «Но ведь от него можно ждать

серьезной помощи!» - «Чепуха! - Потапов выражался крепче. - А в дорогах сами разберемся!» Долго я втолковывал бдительному полковнику, что Баттьяни нам необходим: во-первых, его имя незаменимо для пропаганды среди венгерского населения; во- вторых, венгерского языка я не знаю, и Котляр тоже не знает, а у нас теперь будет немало пленных венгров - допрашивать их и я, и Котляр сможем только при помощи Баттьяни, который говорит по- немецки; ну а в-третьих, он же не пленный, а перебежчик - какие у нас основания ему не верить? Потапов отмахивался: насчет пропаганды пусть заботятся политики из Седьмого отдела, это к нам отношения не имеет... А в переводчики я его не пущу - как ты можешь знать, что он вас не облапошит?

Убеждать Потапова мне было трудно, он меня не терпел. Достаточно сказать, что наш начальник ходил вокруг привлекательной Муси Котляр, второй переводчицы штаба, которая решительно его отвергла, меня же Потапов (не без некоторых оснований) считал удачливым соперником. Властью он не злоупотреблял (за это мы были ему благодарны), но всячески стремился унизить меня в ее глазах. Однажды, пригласив нас обоих к себе в кабинет по случаю очередного победного салюта, он потребовал перевести ему содержание какого-то трофейного документа и, прервав мой ответ, сказал: «Выпей залпом, потом сообщишь». Я опрокинул поднесенный мне стакан, попытался что-то сказать, но не мог - пропал голос: в стакане оказался чистый спирт, спаливший мне гортань. Потапов торжествующе хохотал, поглядывая на Мусю; она не улыбнулась. Мог ли он питать ко мне симпатию? Для него я был, как он сам любил выражаться, «толстограмотный хлюпик».

Все же Ференца Баттьяни он мне оставил помощником. Я раздобыл в хозчасти гимнастерку, шаровары и поношенную, но еще годную солдатскую шинель; граф умылся, выбрился и уже на третий день воскрес. Кормили его в офицерской столовой, уравняв с нами в правах, и он действительно стал

моим переводчиком при допросах венгерских солдат. Надо было поглядеть на выражение их лиц, когда они узнавали, кто их собеседник. Граф Баттьяни? Неужели этого парня в советской гимнастерке зовут самым знаменитым в стране именем? Вероятно, француз испытал бы такое же потрясение, если бы в сходных обстоятельствах ему повстречался герцог Орлеанский или генерал Бонапарт.

Графа Баттьяни реакция соотечественников не только смешила - он постоянно чувствовал свою ответственность перед ними и, пожалуй, перед историей. Беседовал он с каждым подолгу, без моего участия, и не столько расспрашивал, сколько убеждал. Говорил он им с глазу на глаз то же, что объяснял по радио и в листовках: продолжая поддерживать Гитлера, Венгрия покрывает себя позором; Советский Союз защищает справедливость, вместе с ним за высокие идеалы человечества сражаются Франция, Англия, Америка - все демократии мира; не верьте измышлениям фашистов, будто бы советские плохо обращаются с пленными - я, Ференц Баттьяни, свидетельствую о господствующих здесь, у русских, справедливости и человеколюбии. Перейдя в плен, говорил он еще воевавшим солдатам, вы избавитесь от страшной ответственности за гитлеровские преступления, сохраните здоровье и жизнь, которые так нужны послевоенной Венгрии и вашей семье... Это было необыкновенно ценно, тем более что война в Венгрии шла к концу и можно было рассчитывать на благоразумие противника. Деятельность Баттьяни давала ощутимые результаты: число пленных росло, большинство из них ссылалось на доводы, услышанные по радио или прочитанные в листовке, - имя Баттьяни имело магическое воздействие.

Мы жили в одном доме, часто беседовали по вечерам, он был доверчив и преданно благодарен, однако не уставал удивляться чуждым ему нравам: можно ли пить так много вина и в особенности водки?

Можно ли так жить, чтобы никогда - никогда! - не развалиться в кресле, не отдохнуть, не вздремнуть? Его изумляла неутомимость, неумение предаваться кайфу, даже когда представлялся случай, спокойное равнодушие к опасности - все это он постоянно наблюдал, все это ему нравилось. Вообще он продолжал искренне верить в русское великодушие и благородство, в справедливость нашего общества и даже строя.

Прошло недели две; однажды вечером он рассказал мне о том, что его, видимо, постоянно мучило. Готовясь к переходу, он зарыл в землю в лесу фамильные часы Баттьяни, доставшиеся ему как последнему в роде, - они передавались из поколения в поколение, на них были выгравированы графский герб и имя прапрадеда, их первого владельца. Он без труда найдет дерево, под которым закопаны часы: теперь туда попасть легко - это место осталось в тылу наступавшей Красной Армии. Он просит дать ему на час-другой машину - это так важно для всей семьи! Утром я изложил его просьбу полковнику Потапову. «Ты что, сдурел? - ответил тот. - Машину - этому твоему прохвосту? Я же тебе сказал, что он рванет к своим. Мало ли он сказок придумает! Нашел дурака!» Я знал Потапова, я вообще хорошо знал крупных советских чиновников, штатских или военных, - они были друг на друга похожи. Но на этот раз позиция Потапова поразила меня бесчеловечностью: Ференц честно, даже самоотверженно, иногда ночами работал с нами и на нас; просьба его легко выполнима, и она так понятна! Я пытался говорить о послевоенной Венгрии:

«Как нам нужно иметь здесь преданных друзей! И ведь он Баттьяни, он, может быть, станет министром иностранных дел, он приедет в Москву и скажет, что никогда не забудет полковника Потапова, который...» - «Который послал его - знаешь куда?» - произнес полковник, и затянувшийся диалог был окончен на том коротком слове, без которого Потапов разговаривать не умел.

Надо было что-то сказать Ференцу, а я не знал что. Передать наш разговор с Потаповым? К недоумению примешивалось чувство патриотизма, у каждого из нас усилившееся в годы войны; до смерти не хотелось представлять ему нашу армию и наших командиров в дурном свете. Как можно было понять отказ Потапова, я и сам толком не мог определить: трусость? жлобство? равнодушие? садизм?

неприязнь ко всякому, кто говорит на другом языке? классовая ненависть? расизм? Наверное, все это вместе взятое, сжато выражаемое им оборотом: «А пошел ты...» Баттьяни хотел верить в русское великодушие, и я высоко ценил эту его наивную иллюзию. Что-то я сочинил невнятное: шофер болен, вот как только он поправится... Мы поедем вместе, мне хочется принять участие в этом приключении, да и опасно, боюсь отпускать его без меня... Он, кажется, поверил, а мне было стыдно. Каждый раз теперь было стыдно, когда мы оставались вдвоем.

Но продолжалось это недолго - через несколько дней меня выручил приказ о передислоцировании штаба 26-й армии из Шарсент- миклоша в австрийский городок Брук-на-Муре. Операции в Венгрии были позади, Ференц Баттьяни уже был не нужен, и его включили в группу военнопленных, этапом отправляемых в тыл, в лагерь. Я узнал об этом накануне: «Как, пешком?» - «Дойдут, не волнуйся, - ответили мне в штабе. - Все доходят». Но я знал, что у Ференца нет башмаков; вся армейская обувь была ему велика, у него были маленькие, нежные ноги - как у барышни. В штабе он передвигался, но пройти несколько сот километров? Это была верная гибель. Я затеял еще один разговор с Потаповым, и опять он окончился тем же: «А пошел ты...» Мне оставалось, смирившись с необходимостью, раздобыть портянки.

Утром граф Баттьяни долго и неумело обворачивал ноги; он понимал, что его ждет. Понимал он и то, что с ним обошлись бесчеловечно. О фамильных часах он больше не заговаривал - видимо, был проницательнее,

чем я себе представлял. Перед самым уходом он сказал мне: «Если доведется попасть в Будапешт, найди мою жену. Ее девичья фамилия Эстерхази, она живет в доме своих родителей. (Он дал адрес, кажется, это была улица Эстерхази.) Расскажи ей про меня - про то, как мы вместе работали, как я хотел им помочь и что из этого вышло. Скажи ей, что я не забуду ее и наших близких... А вот вернусь ли? Дойду ли? Боюсь, что не дойду. Но этого ты ей не говори».

Мы обнялись. Он ушел. А я уехал в Брук-на-Муре.

Случилось так, что недели через две-три я оказался в Будапеште - такая выпала вдруг командировка. И я отправился по адресу, названному Ференцем. Дом я нашел без труда; это был видный особняк. Во дворе мне встретилась женщина с ведром. Я спросил - по-немецки - где найти госпожу Баттьяни-Эстерхази, она тревожно оглядела меня и сказала: «Не знаю, не знаю». «Простите, - настаивал я, - простите, сударыня (gnädige Frau), я должен вернуться в часть, мне хочется рассказать ей о муже, я недавно с ним расстался». Она поставила ведро и, сказав: «Пойдемте», почти побежала. Следом за ней я вошел в гостиную, она потребовала: «Рассказывайте...»

Рассказывал я подробно, почти ничего не скрывая. Только о фамильных часах и о том, как Ференц без обуви отправился по этапу, я умолчал. Она что-то перебирала пальцами, может быть, четки - этот ее жест я запомнил навсегда. И вопрос ее запомнил: «Думаете, он будет жив? Он вернется?» Я заверил ее - непременно.

После войны я несколько раз пытался что-нибудь узнать о нем, или о ней, или о семье. Безуспешно - никто мне не помог. Дошел ли Ференц Баттьяни до лагеря? Дождалась ли его молодая женщина, перебиравшая четки? Не раз я вспоминал о нем, о его судьбе в кровавые дни венгерского восстания 1956 года. Я знал, что это восстание спровоцировали Потаповы. Гитлеровский фашизм они одолели, но все прочие сложности бытия решали посредством возгласа: «А пошел ты...»

В 1996 году я оказался стипендиатом Берлинского исследовательского центра (Wissenschaftskolleg zu Berlin); однажды мне довелось обедать за одним столом с молодым венгерским писателем Петером Эстерхази - я знал его прозу, мы печатали кое-что во «Всемирном слове», петербургском варианте международного журнала «Lettre internationale». Я рассказал Петеру изложенную выше историю Ференца Баттьяни и почти в шутку спросил, не родственник ли он его жены, мадам Эстерхази. Петер ответил: «Подожди несколько дней, я выясню...» Неделю спустя он принес мне записку с адресом: «Удивительное дело, она оказалась моей теткой! Муж ее жив, но тяжело болен».

Я сразу же написал письмо: надеюсь, Ференц меня не забыл - мы многое пережили вместе, наконец-то мне удалось напасть на его след... Из Бадена под Веной ответ пришел сразу, но писала она: Ференц ответить не может, с недавних пор он поражен болезнью Альцгеймера, ничего не помнит - ни далекого, ни близкого. «Помню ли я Вас? Каждое слово, сказанное тогда Вами о Ференце, могу повторить теперь, больше пятидесяти лет спустя. Мы часто говорили О Вас, теперь буду Вас ждать - приезжайте».

В октябре-ноябре 1997 года я должен был читать курс лекций в Венском университете; мы приехали, Эльке и я, в Вену. Первый же мой телефонный звонок был в Баден; несколько дней спустя мы нашли их особнячок - и вот, более чем через полстолетия, я увидел Ференца Баттьяни. Навстречу вышел розовощекий, приветливо улыбающийся человек, ласково поздоровался, спросил: «Где ты живешь?» Я ответил: «В Париже», - и попытался напомнить о нашей дружбе в конце войны. Он внимательно выслушал и сказал: «Красивый город Париж», - ничего другого он не услышал или не заметил. Минут через десять повторил: «Где ты живешь?» - и так несколько раз. Я всматривался в его стариковско-младенческие черты; это был он и не он. Прежнего Ференца Баттьяни почти не осталось, хотя какая-то знакомая тень брезжила в этом лице, которое внушало ужас сочетанием

самодовольного благополучия, благовоспитанной учтивости и полного отсутствия мысли. Жена его (она представилась Мариттой), респектабельная пожилая дама, ни одной черточкой не похожа была на ту, которую я разыскал в Будапеште в марте 1945 года; она сидела на диванчике, а над ней висел большой живописный портрет той самой, да, той самой перебиравшей четки молоденькой жены угнанного в лагерь военнопленного графа. Глядя на нее нынешнюю и на ее давний портрет, можно было поверить, что это она: жизнь не пощадила ее, но и не изуродовала. Она посадила Ференца за отдельный столик, повязала ему салфетку и, поставив перед ним баночку, проговорила: «Пей свое пиво». Он безучастно потягивал безалкогольный напиток, а жена сказала: «С ним нелегко, ведь он не может ни читать, ни смотреть телевидение - не понимает. Вас он не узнал и не узнает - иногда он у меня спрашивает, где Маритта. А ведь как много и тепло он о вас говорил...»

И она, не вдаваясь в подробности, рассказала о его жизни после того, как в марте 1945 года его отправили из нашего штаба в лагерь военнопленных. Ференц Баттьяни добрел до Румынии, потом был переправлен в Сибирь; там, в одном из дальневосточных лагерей, его отдали под суд. Трибунал в августе 1950 года приговорил его к расстрелу - по обвинению в шпионаже. В то время Сталин, как известно, отменил смертную казнь, и расстрел Ференцу заменили двадцатью пятью годами лагеря. Из них он провел на советской каторге пять лет; в ноябре 1955 года его отправили домой вместе с немецкими военнопленными, возвращенными по договоренности с Аденауэром. За что его приговорили, в чем обвиняли? Он говорил об этом неохотно, слишком уж тошно было вспоминать о глупости и нелепой жестокости чекистов, изображавших военных судей. Во время процесса обвинитель спрашивал: «Ты что, в самом деле граф?» - «Да, граф». - «Ну, расскажи подробно, как ты издевался над трудящимися венграми, как эксплуатировал пролетариев...» - «Ни над кем я издеваться не мог и

эксплуатировать никого не мог, я учился в университете, потом недолго работал юристом». - «Но ведь ты граф?» - «Граф». - «Значит, издевался, значит, эксплуатировал. Рассказывай!» В таком же духе шел допрос о шпионаже: «С каким заданием ты к нам пришел, в нашу воинскую часть? Зачем перешел фронт?» - «Я был против преступной войны, я хотел по мере возможности помочь антифашистским силам...» - «Лжешь. Мы всё знаем. Если ты не сознаешься, тебе грозит расстрел». - «Сознаваться мне не в чем...» Приговор был вынесен почти сразу: высшая мера.

«Ференц вернулся. Это было чудо - надежд уже не оставалось. Мы год жили в социалистическом Будапеште, где графов не любили, потом вспыхнуло восстание 1956 года, и мы, все бросив, ушли: понимали, что угрожает нашей семье после разгрома венгерской революции. С опасностью для жизни мы пешком, по тайным тропам, пересекли границу; оказавшись по ту сторону, Ференц нашел работу как юрист в Рурской области, и там мы прожили больше двадцати лет. Когда рухнул коммунистический режим

и Венгрия стала самостоятельной, нам возвратили кое-что из нашей собственности. Обе семьи владели поместьями - и Баттьяни, и Эстерхази, мы смогли купить этот особнячок под Веной».

Стоит ли дивиться тому, что Ференц Баттьяни, дожив до восьмидесяти лет, оказался физически и духовно разрушенным человеком? Удивляться следует выносливости этого избалованного аристократа. Вот этапы его биографии: жестокие сражения у озера Балатон; переход в плен; десять лет советских концлагерей; травля бывшего графа в социалистической Венгрии; бегство через границу; двадцатилетняя эмиграция в Германии... Чтобы все это выдержать, надо быть титаном. Ференц Баттьяни выдержал и только в самом конце сломался.

Передо мной копия официального документа, подаренная мне Мариттой; он выдан начальником центрального архива венгерского министерства обороны.

Содержание: подтверждение длительности пребывания в плену.

На основе данных, которыми располагает командование, д-р Ференц Баттьяни (1915 г.рожд.) был с 8. 02. 1945 по 28. 08. 1950 в качестве военнопленного, с 29. 08. 1950 по 22. 11. 1955 в качестве осужденного в Советском Союзе.

Настоящее свидетельство выдано в целях получения материальной компенсации на основании Вашего ходатайства от 6. 11. 1991.

Будапешт, 29 апреля 1992

Подпись

(Чаради Йожеф, подполковник)

Никакой «материальной компенсации» Ференц Баттьяни не дождался. Примерно через полгода после нашей встречи мы получили траурное извещение:

Вспоминайте с любовью о Ференце, графе Баттьяни фон Немет-Уйвар, родившемся 4 октября 1915 г. в Киттзее, умершем 16 июня 1998 г. в Бадене.

Может быть, Маритта Эстерхази-Баттьяни последует моему настойчивому совету и напишет историю нашего беспощадного столетия. А я, вспоминая Ференца, возвращаюсь к одной и той же мысли: они делали все, что только было в их силах, чтобы превратить своих сторонников в непримиримых противников, друзей сделать врагами, - зачем? А низачем.

Эпилог (Эльке Либс-Эткинд)

В своём рассказе Ефим не упомянул об одной важнейшей детали. После нашего первого визита к семье Баттьяни в Бадене, муж, едва мы успели отправиться домой, внезапно спросил меня:

– Ты поняла?

– О чём ты?

– Она не знает. Он рассказал ей совсем другую историю.

Я всё еще не понимала, что он имеет в виду. Тогда он объяснил:

– Он не рассказал ей (своей жене), что перешёл на сторону русских. Она думает, что мы его просто взяли в плен, когда он, безоружный, оказался в ратуше этого маленького пограничного городка. Я думаю, то, что он об этом умолчал, было правильно. Теперь я осознала то, о чём он говорил. И, правда, в её рассказе всегда отсутствовало главное. Для неё он был безвинной жертвой односторонней военной операции. Мы еще долго говорили об этом, спрашивая друг друга, отнеслась ли бы она с уважением к тому, что услышала, если бы он ей во всем признался.

До смерти Ефима мы еще два-три раза бывали у супружеской четы Баттьяни-Эстерхази в Бадене под Веной, мы гуляли с ними, обедали вместе и долго разговаривали уже после того, как Ференц уходил спать. Мне никогда не забыть висевший над диваном прекрасный портрет двадцатилетней Маритты в натуральную величину. Она была высокой, стройной, с искренним ясным взглядом, направленным прямо на зрителя, и исполненным спокойного достоинства, при этом без всякого высокомерия, но с огромной верой в собственные силы. Такой же она оставалась и в восемьдесят лет и после, до самого конца. Удивительно, как она справлялась с уходом за своим мужем, у которого была болезнь Альцгеймера, как соединяла в себе внимание, любовь и заботу, не теряя самообладания и юмора. У Ефима в голове не умещалось, как память могла полностью покинуть тело и сознание. Он всё время заговаривал с Ференцем, пытался вызвать воспоминания о пережитых вместе событиях или поговорить с ним по-русски – тогда, пятьдесят лет назад, он, урождённый венгр, очень быстро выучил русский и бегло говорил на нем. Ничего… совсем ничего не осталось кроме по-детски любезного вопроса «Как тебя зовут?», с которым он то и дела ко мне обращался. У Ефима сердце разрывалось.

Спустя некоторое время после того, как мы уехали из Вены, нас достигло известие от Маритты о том, что Ференц умер. Мы не знали,

печалиться нам или радоваться, но облегчение было сильнее горя. Наверное, только самый близкий может вынести то, что с человеком невозможно никакое общение – ведь у него, по крайней мере, живы воспоминания о другой совместной жизни. Но я, хоть и не знала Ференца ранее, сохранила о нём тёплые и полные уважения воспоминания. Даже в этом разрушенном духе было еще столько доброжелательности, скромности, природного достоинства и благородства, что я могла себе представить, как Маритта не устояла перед его пылким юношеским обаянием, и почему Ефим пятьдесят лет хранил в своём сердце воспоминание о храбрости и любознательности этого человека, и, прежде всего, о том, как мужественно он вёл себя в плену. И вот он освободился от своего недобровольного и мучительного блуждания по миру. Свою жену он уже давно не узнавал.

Ефим все время настойчиво уговаривал Маритту описать свою жизнь, охватившую почти все столетие и две мировые войны. Я не знаю, когда точно она начала это делать, но однажды, когда Ефима уже не было, я получила посылку, в которой было примерно тридцать листов, написанных от руки – она просила меня их прочитать и оценить (я несколько раз предлагала ей в этом свою помощь). Я с наслаждением читала о её детстве, проведенном в различных замках, о том феодальном мире, что ныне ушёл в небытие, даже в младших ветвях династий, о её подростковом влечении к кузену, в семье которого они часто бывали, об играх юных наследников и чертах их столь различных характеров. С этих страниц будто струилось очарование Джейн Остин.

А однажды – у меня сердце тогда замерло – случилось то, что должно было случиться. Почтальон принес очередную пачку листов, в этот раз, с описанием того, как Ференц был схвачен Красной Армией, взят в плен, как он провёл годы в Сибири – вплоть до его возвращения. Я долго не хотела верить в то, что Маритта сохранила совсем иную историю, чем та, что случилась в действительности, то есть, что она не догадывалась о

добровольном переходе мужа на сторону противника, как тогда сказал Ефим, мы никогда об этом не разговаривали, даже тогда, когда виделись с ней в Вене – мы тогда встретились у собора св. Стефана – неподалеку жила мать одной моей аспирантки из Антверпена. Когда получалось, мы с ней встречались у её матери и шли с детьми гулять в Пратер, а вечера я проводила с Мариттой.

Я держала текст в руках и, читая, судорожно думала: – Что делать? Тут нужно еще упомянуть, что после смерти Ефима в России было опубликовано около двенадцати его автобиографических рассказов, объединенных под названием «Барселонская проза», к тому же часть из них вышла в газете, которую читают повсюду, где есть русские («Литературная газета») – из этого цикла взяты рассказы, которые я привожу здесь. Маритта, конечно, не понимает по-русски, но в Вене русских кишмя кишит, и они все друг друга знают. Как легко может случиться, что речь зайдет о последних днях войны и, естественно, о том хаосе, который также как и повсюду царил тогда в Вене. Я боялась представить себе, что кто-нибудь может сказать Маритте что-нибудь вроде: «Ах, дорогая графиня Баттьяни, я и не знала, что ваш муж тогда перебежал к русским. Это хотя бы того стоило?»

Всем известна бесцеремонность, с которой венцы могут злословить о знаменитостях и распространять порочащие сплетни. Даже не зная о том, что имя Баттьяни принадлежало к высшей аристократии, и соответственно, априори ассоциировалось с твёрдостью характера, мужеством и самоотверженностью, можно было понять, как легко такое откровение могло бы для Мариттy стать причиной инфаркта. И если бы она после него выжила, то навсегда бы возненавидела Ефима, чувствовала бы себя преданной им. Но я понимала и Ефима: она бы никогда ему не поверила, если бы он рассказал ей свою версию этой истории.

И у меня, в конце концов, именно так и получилось. После долгих размышлений и разговоров с друзьями я решилась написать ей правду. Я

сделала это очень тактично, искренне восхищаясь её мужем, как можно более бережно и осторожно, всеми силами стараясь смягчить удар. Слишком долго – всю жизнь – она жила с тем понятием чести, которое не терпит относительности. В соответствии с этим понятием перебежчик был предателем своей страны, государственным изменником, дезертиром, вне зависимости от мотивов, которыми он руководствовался. Он заслуживал смертного приговора, не столько по закону, сколько по кодексу чести. В отсутствии приговора он должен был бы покончить жизнь самоубийством. Во времена юности Маритты молодые дворяне еще дрались друг с другом на дуэлях, рассорившись или по «долгу чести». Для этого им одного слова могло быть достаточно, а тут такое!

Как бы я её не отговаривала, она стала проводить расследование, расспросила старого пастора, которого они оба тогда знали, и он заверил её, что Ференц никогда бы не стал его обманывать. Но дела это не прояснило.

Она действительно не понимала, что поступок её мужа, которым он спас жизнь всей своей роте, требовал большего мужества и чести, нежели геройство в духе «Принца Гомбургкого». Отказавшись от личной чести и бессмысленной смерти на поле брани (которую он без труда мог бы найти), он отрёкся от Гитлера и его мании величия, доказав всем: для того, чтобы жить дальше, иногда требуется больше отваги, чем для того, чтобы погибнуть. Как легко его могли убить! С незапамятных времен перебежчиков первым делом обвиняли в шпионаже и, не разбираясь, избивали до полусмерти. Так было и с Ференцем. Ефим смог спасти его тем, что потребовал от товарищей оставить его, наконец, в покое для подробного допроса. А что, если бы они его не послушали? Как молоды они все тогда были – непереносимо! На фотографиях мальчишечьи лица этих офицеров под слишком большими для них военными фуражками. Тогда большинству из них было по двадцать-двадцать два – будто только что сбежали с экзамена

в университет… А они уже должны были распоряжаться жизнью и смертью…

В памяти у меня всплывали другие фуражки и лица других мальчишек – английских – в восьмидесятые они среди ночи внезапно оказались у дверей моего стоящего в отдалении от остальных дома в Мюнстерланде (недалеко от Мюнстера, в Вестфалии). В ответ на мои растерянные вопросы они вежливо, но твёрдо сказали: – You are the enemy![37]

Тогда были совместные учения английских и немецких солдат, и они как раз распределяли роли для своей идиотской игры в следопытов. Понятно, что во время этого, невыносимого для меня диалога, на меня было направлено дуло автомата. Они попросили воды, и я с трудом могла себе представить, что тем, кто сейчас на самом деле был моим «врагом», могло ударить в голову в случае отказа. Правда долго я не раздумывала. Придя в ярость от их вторжения и угроз, я закричала на них так, что они, не дожидаясь воды, пустились на утёк под крыло своего начальника. Он пришёл потом, всё мне объяснил и принес все возможные извинения за глупость своих воспитанников.

Однако, вернемся к Ефиму и Ференцу, которые преодолев предписанную им вражду, стали друзьями, и к нам с Мариттой – мы, кстати, тоже успели подружиться. Поскольку Маритта безгранично мне доверяла, то, в конце концов, то сильнейшее возбуждение, которое вызвали у неё мои откровения, улеглось. Сколько писем мы друг другу об этом написали, сколько разговоров у нас было! В конце концов, мы сошлись на том, что без наших мужей нам это дело не распутать, и что лучше нам спасти нашу дружбу. После этого я еще один раз виделась с ней, потом мы уже только по телефону разговаривали, в большинстве случаев, звонила я, Маритта же всегда очень радовалась моим неожиданным звонкам.

[37] англ. Ты враг!

К этому времени она уже переехала в Будапешт, чтобы быть поближе к сыну. С возрастом у неё ухудшилось здоровье, она часто болела. Я звонила достаточно редко, и каждый раз она говорила, что была больна, и теперь выздоравливает. Вообще, я надеялась как-нибудь увидеться с Мариттой в её домике у озера Балатон, но всегда что-то мешало, или не было дешёвых билетов на самолёт. Однажды после долгого перерыва я позвонила ей, и трубку взял её сын. Я сразу почувствовала что-то неладное, но вежливо попросила позвать её к телефону. Он запнулся, сразу узнав меня по рассказам матери, стал извиняться, что не известил меня, сказал, что она часто обо мне говорила, обо мне и Ефиме… Она умерла. Я поклялась больше никогда не ждать дешёвых билетов, когда речь идёт о том, чтобы, возможно, в последний раз увидеться с другом или подругой. Какая потеря – сильная, красивая, отважная женщина – как бы мне хотелось, чтобы она ещё долго оставалась рядом со мной, хоть и далеко от меня.

**Владислав Жук**

Это третий человек, историю которого нужно привести здесь – сразу после истории Ференца Баттьяни – как своего рода удивительный пандан. Ефим и о нём написал рассказ, окончание которого мы увидели вместе. Этот мужчина, спустя пятьдесят лет после того, как был освобожден Красной Армией из концентрационного лагеря Эбензее, вспомнил Ефима, встретившись с ним, когда он был там с телерадиокомпанией «Вестдойче Рундфунк» на съемках телевизионного фильма.

Вот как об этом пишет Ефим:

**Эбензее** (Ефим Эткинд, из «Барселонской прозы», пер. с рус. Ренате Штольце).

В марте 1995 года мне позвонили из Вены. Женский голос спросил: правда ли, что пятьдесят лет назад я участвовал в освобождении концлагеря Эбензее? В самом деле, я в этом лагере был в мае сорок пятого года. Звонившая оказалась режиссером документального телефильма; она пригласила меня в Австрию на съемки, этому пятидесятилетию посвященные.

И снова я увидел то, что ошеломило тогда, в том далеком мае: неправдоподобную, божественную красоту синего озера и высящихся над ним грандиозных скалистых гор. Теперь комфортабельные особняки окружены садами, где цветут розы и жужжат газонокосилки. Только в одном месте - на восточной, кажется, стороне живописного и безмятежного поселка - высятся остатки бетонных ворот, закругленных наверху.

«Я вас помню»

В начале мая 1945 года справа от ворот были сложены штабелями голые тела. Они казались трупами подростков; потом я понял, что это жертвы голода - скелеты, обтянутые сухой кожей. На войне пришлось разное видеть; самым страшным воспоминанием был убитый солдат, которого утюжили гусеницами танки. Не забуду хруста костей и зрелища расплющенной плоти. И вот теперь эти как дрова сложенные, недавние люди... Я был уже не мальчик, в феврале мне исполнилось двадцать семь, но к такому меня не подготовила даже трехлетняя военная жизнь. Не отрываясь, я глядел и думал

об отце, умершем от голода в Ленинграде, о братьях и матери, переживших ужас блокады...

Оператор подкатил ко мне телекамеру, меня попросили поделиться воспоминаниями.

Я рассказал как мог про то, что тут было прежде и что увидел тогда потрясенный старший лейтенант Эткинд. Позади телекамеры стояло несколько человек, среди них низкорослый молодцеватый старик в австрийской шляпе с пером. Когда я кончил говорить и аппарат отъехал, он приблизился ко мне и сказал: «Я вас помню». Мне это показалось едва ли не смешным: как и что он мог помнить? Прошло полвека, молоденький советский офицер успел состариться - да и откуда он, мой неожиданный собеседник?

Старик с перышком представился: Владислав Жук, поляк. Прошел несколько лагерей - Освенцим, Маутхаузен, попал в Эбензее, который официально назывался «Рабочий лагерь «Цемент»«. Заключенные - их тут было до двадцати тысяч - пробивали в скалистой горе штольни. Обессилевшие от голода, замерзшие люди работали по одиннадцать-двенадцать часов, подгоняемые охранниками. Тех, кто падал, затаптывали сапогами насмерть, избивали плетьми. Трупы сваливали в общую яму или сжигали в крематории («Хотите, покажу, где он стоял?»). Начальником лагеря был оберштурмфюрер Антон Ганц, вездесущий садист; он ходил с огромным псом, которого натравливал на заключенных, а в пьяном виде палил из пистолета в кого попало: «Мы старались не попадаться ему на глаза, он мог застрелить или полоснуть по лицу бичом - забавы ради».

Владислав Жук прервал рассказ - мы перешли на мемориальное кладбище, где стоят памятники жертвам из многих стран: полякам, итальянцам, французам, венграм. О наших несколько десятилетий не вспоминали - Сталин считал всех пленных предателями. Только с началом перестройки возвели ржавую башню - памятник погибшим здесь советским

солдатам и офицерам. А вон там, в глубине, стоял крематорий, от него не осталось даже следа. Лагерную землю после войны продавали задешево, дома поблизости строили люди не слишком состоятельные, крематорий разобрали и камень пустили на фундаменты. У кладбищенской стены я увидел два монумента с еврейскими надписями. Под самый конец войны сюда стали свозить венгерских евреев (напомню: немцы уничтожили более шестисот тысяч евреев Венгрии - из десяти миллионов населения!), почти все они погибли здесь.

Владислав Жук предложил показать мне штольни - прежде я их видел только издали. Он открыл массивные ворота в одну из них, где теперь устроен музей: высота метров десять, а в глубину мы прошли, пожалуй, больше километра. Таких коридоров было, кажется, двенадцать. Немецкое командование придавало им большое стратегическое значение - с тех пор, как союзная авиация стала систематически наносить массивные бомбовые удары по германским военным центрам. Здесь, в огромных штольнях Эбензее, предполагалось разместить заводы, производившие «секретное оружие», которое гитлеровская пропаганда называла V-2 (V - Vergeltungswaffe, оружие возмездия). Ракеты так и не были доведены до производства, и в штольнях установили нефтеперегонные машины. Но гору приказано было долбить с максимальной скоростью, и увозить вагонетки с каменными глыбами приходилось бегом. Жук вывел меня из сырого мрака на светлый воздух; мы снова прошли через лагерные ворота. Жук остановился: «Здесь был аппельплац - место сбора». Мы сели на скамейку; он продолжал.

«Meine Herren…!»

«Пятого мая сюда согнали всех, кто мог ходить; нас оказалось тысяч десять - больных и умирающих было больше шести тысяч. Мы построились, как всегда, по баракам, но в тот день многое происходило иначе: например,

нас никто не пересчитывал. Лагер-фюрер Антон Ганц поднялся на какое-то возвышение. Его окружала цепь эсэсовцев с автоматами; так бывало, когда во время сбора вешали лагерников - для устрашения остальных. В этот раз никого не вешали. Но эсэсовцев было много, и это нас пугало. Что Ганц задумал? С вышек, окружавших аппельплац, на нас были направлены станковые пулеметы. Мы поглядывали друг на друга. Они на всё были способны - из сообщений, перехваченных накануне нашими доброхотами-информаторами, мы знали: американские и советские войска приближаются с двух сторон.

Ганц начал наконец говорить. Рядом с ним стоял Хрвойе Маканович, молодой хорват, переводивший с немецкого на несколько языков. Лагерфюрер хрипло произнес:

- Meine Herren!... Господа!

Раздались рыдания. Мы давно не слышали такого обращения. Ведь мы были последнее падло. И вдруг: «Meine Herren!» Значит, их дело труба.

Смысл короткой речи сводился к следующему: стало известно, что американцы собираются разбомбить лагерь; мы решили спасти от верной гибели наших заключенных.

Предлагаем перейти в штольни, там вы будете в безопасности, мы доставим продовольствие...

Собравшиеся единодушно закричали: «Nein!»

От одного из охранников, который относился к нам с сочувствием, мы уже несколько дней назад слыхали, что нас собираются согнать в штольни и взорвать входы. Все мы были обречены погибнуть в огромных могилах. И мы кричали: «Нет!» На разных языках звучало: «Нет!»

Это был решающий момент, мы понимали: наше «нет!» - открытый мятеж. Лагерники перестали быть заключенными. Мы еще не знали, чем кончится этот взрыв нашей мужественной решимости. Ганц мог дать приказ открыть с вышек пулеметный огонь, нас могли силой согнать в штольни;

эсэсовцев было много - не меньше шестисот сытых, здоровых, вооруженных парней. Разве мы могли им сопротивляться? А еще на их стороне были «Blockälteste» - старосты бараков, многочисленные «капо», солдаты вермахта. К неповиновению лагерфюрер не был готов, такого не бывало. Прошло несколько минут; нам они показались бесконечными. Ганц подошел к группе эсэсовцев, стоявших позади него, о чем-то посовещался с ними. Мы не слышали - они стояли метрах в тридцати от нас. Наконец Ганц нехотя, с трудом подбирая слова (Маканович так же медленно переводил), сказал, что если мы не хотим переходить в штольни, так и не надо: «Мы думали вас спасти. Вы предпочитаете погибнуть под бомбами? Дело ваше. За последствия мы не отвечаем».

Все вздохнули с облегчением. Ганц приказал разойтись по баракам. Мы понимали: власти у него уже нет; распоряжается он только для того, чтобы показать, будто он все еще хозяин. Окруженный эсэсовцами, Ганц ушел. А мы поняли, мы вдруг поняли, что ушел не только он, а все они, ушли навсегда, что мы свободны.

Счастье? Слово «счастье» мало что выражает. От наплыва чувств самые слабые из нас падали замертво. Кто мог, танцевал. На многих языках зазвучали «Интернационал» и «Марсельеза», потом люди запели национальные гимны: Италии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Греции, Испании...»

## Месть

О том, что произошло позже, когда праздник перешел в побоище, Владислав Жук говорил неохотно - вспоминать было мучительно. Расскажу коротко, опираясь на его слова и на показания очевидцев, которые мне удалось прочитать.

Первый, с кем лагерь свел счеты, был «блокэльтестер», староста одного из бараков, страшный Людвиг Х. Он был известен садизмом и извращенной приверженностью к порядку; заметив пятнышко на одежде заключенного, он мог исхлестать его тяжелым ремнем, с которым не расставался. Уже упомянутый переводчик Хрвойе Маканович рассказывал комиссии, расследовавшей несколько месяцев спустя «Дело лагеря «Цемент», о еженедельных «банных днях» - ответственным за них был Людвиг Х.

Зимой, при температуре 15–20 градусов ниже нуля, жители барака раздевались догола. Они оставались в деревянных башмаках и закутывались в свои тонкие одеяла. Под присмотром старосты барака, вооруженного тяжелой дубиной и сопровождаемого свирепыми помощниками, они, построившись пятерками, шагали к бане, метров восемьсот. Все это происходило после двенадцатичасового рабочего дня, ужина и вечернего сбора, который длился не меньше часа, так что мылись уже поздней ночью. Потом еще час ожидания на морозе, пока дойдет очередь. Потом, помывшись в духоте и дикой жаре, большинство ждет нагишом на снегу, пока все жители барака построятся и вместе отправятся колонной назад.

Заболевшие воспалением легких умирали. Увидев на лагернике вошь, Людвиг избивал его своим толстым ремнем. Начальство ценило рвение старосты. Лагерфюрер назначил его «исполнителем порки»; по совместительству он работал палачом. Понятно, что на него первого обрушилась ненависть лагерников. Об этом рассказал чех Драгомир Барта - единственный из заключенных, кому удавалось вести тайный дневник и который позднее написал историю сопротивления в Эбензее:

– Он пришел к нам в писарскую контору и стал неистово орать, протестуя против того, что его сняли с должности старосты. Разговор перешел в драку, Людвиг выхватил нож и кинулся на нас, как дикий зверь. Оружия у нас не было, и мы не ожидали нападения. Людвиг в бешенстве колол направо и налево. Текла кровь: почти все мы получили ранения.

Только когда мы овладели собой и вооружились столами, стульями, всем, что было под рукой, нам удалось справиться с Людвигом. Наконец мы вырвали у него нож и выкинули его за дверь. В лагере его все ненавидели, он многих засек насмерть. Перед писарской стояла группа заключенных. Увидев, что он лежит перед входом и залит кровью, они сразу поняли, что положение в лагере изменилось и что власть перешла в наши руки. Они набросились на Людвига. Протащили его до аппельплац - в нескольких метрах от нашей конторы - и привязали к столбу. Собралось много лагерников, сотни две. Каждому хотелось плюнуть ему в лицо. Его зарезали, и он еще долгое время висел, привязанный к столбу.

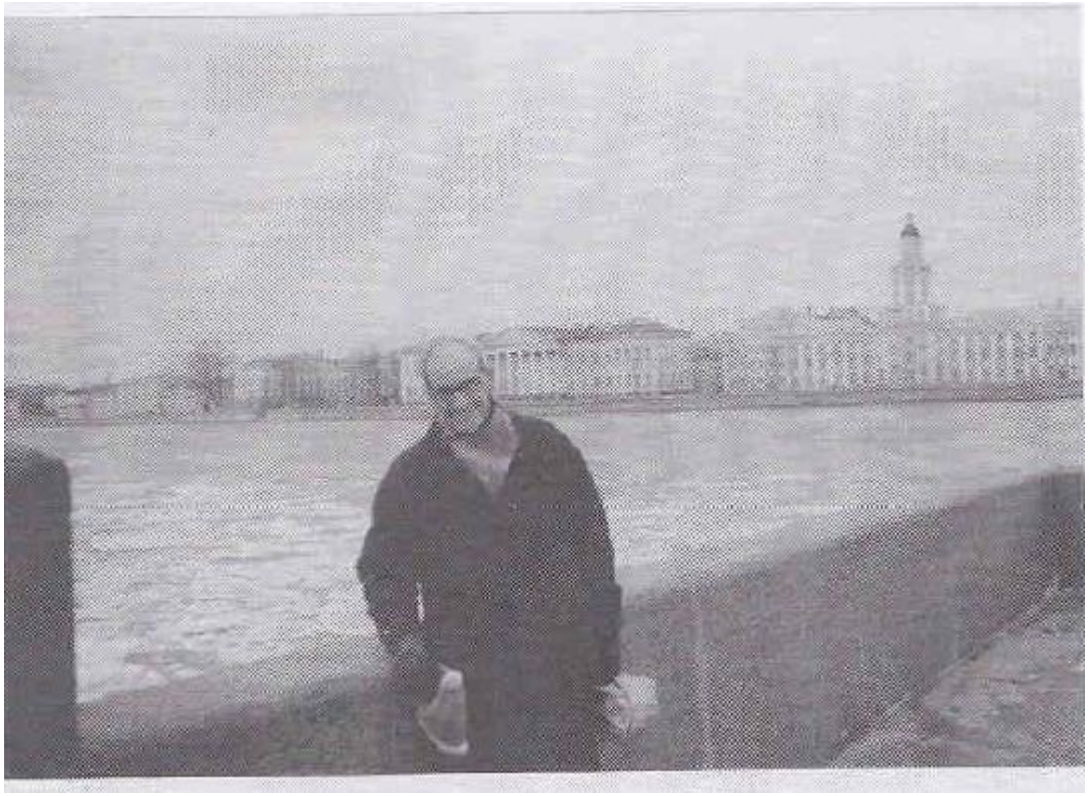
Так же расправились с цыганом Гартманом, который на всех нагонял ужас. А с Отто, госпитальным «капо», у которого было на совести множество жертв, разделалась испанцы: живьем швырнули в печь крематория. Многих лагерных старост, отличавшихся зверской жестокостью, утопили в пожарном водоеме. Всего в тот день убили более шестидесяти лагерников, которые истязали других.

LE DOCUMENT DE LA SEMAINE

Etkind

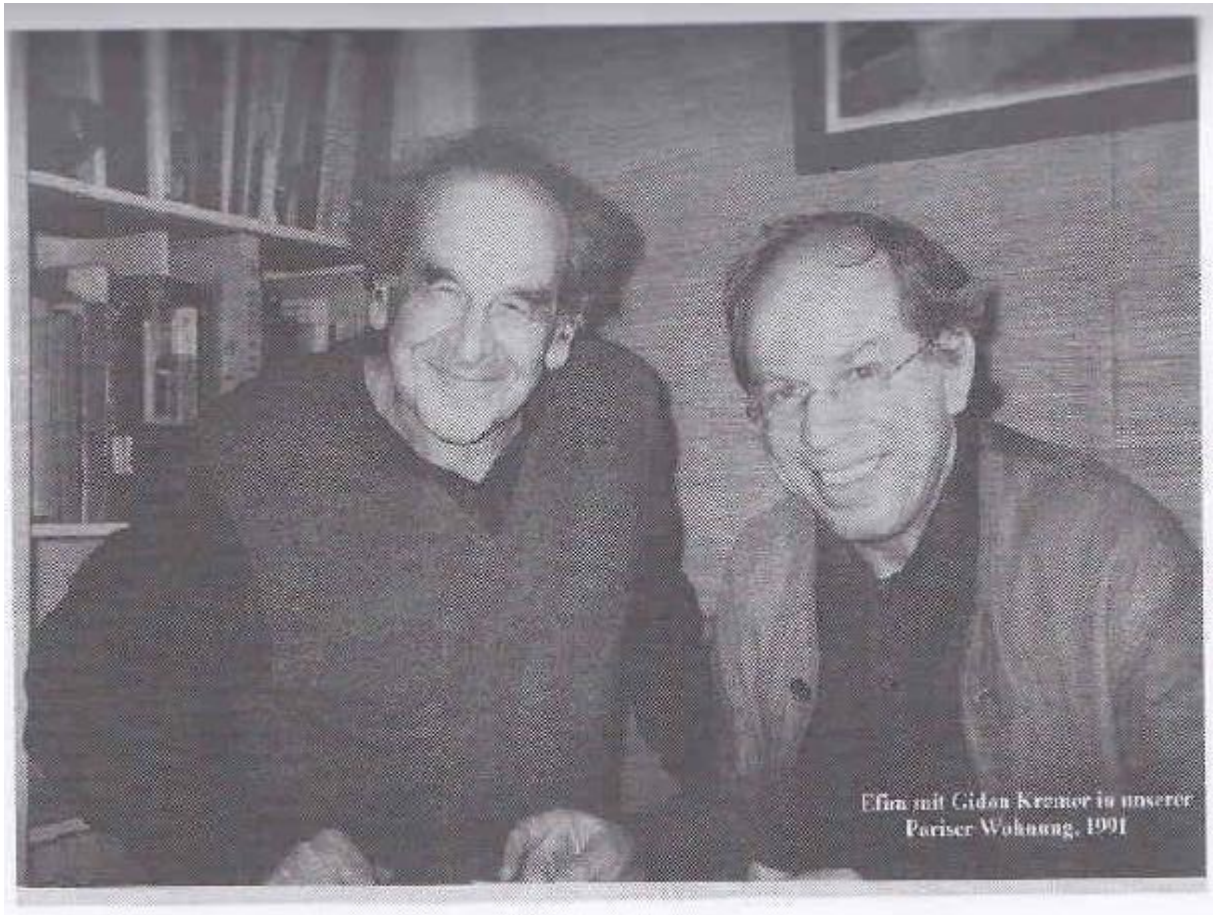
dissident malgré lui

**Статья об изгнании Ефима из Санкт-Петербурга в журнале «Новый обозреватель», Париж, 1978 год**



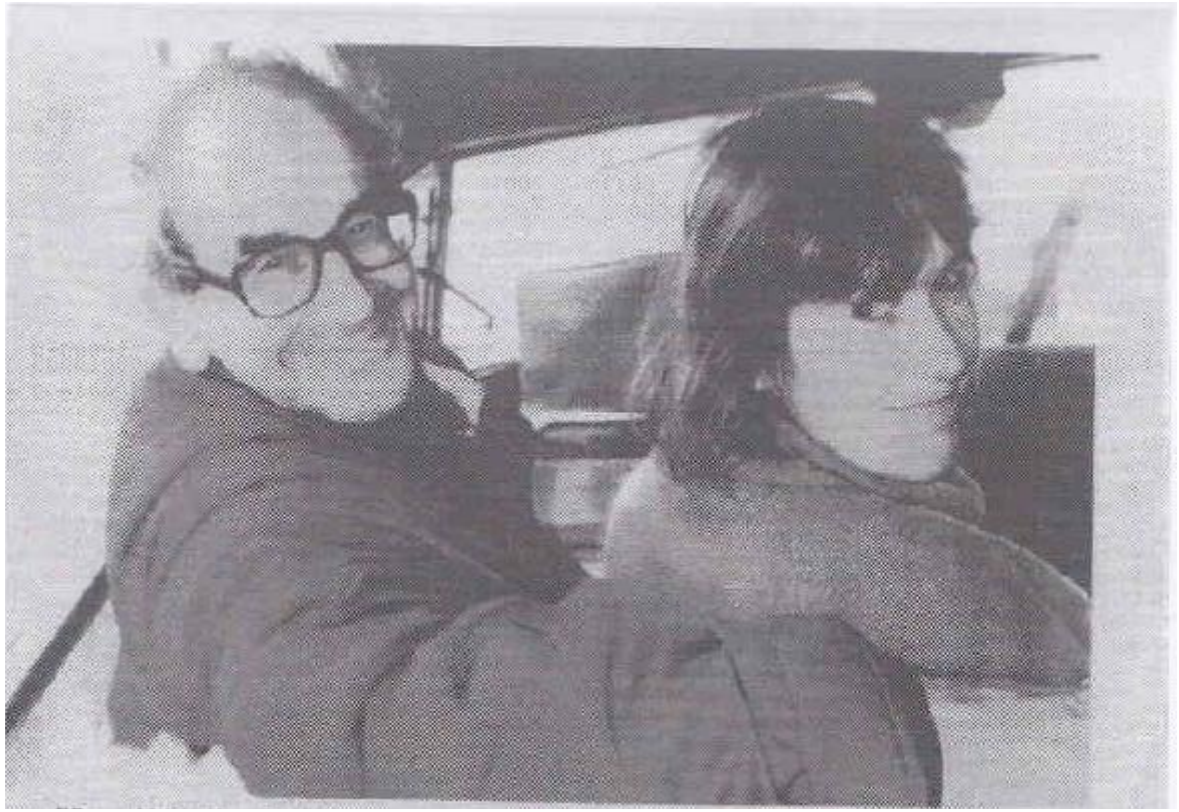
**Ефим Эткинд в 1992 году в Санкт-Петербурге (городе, где он родился)**

**На кухне у Льва Копелева. Кёльн, 1993 год**



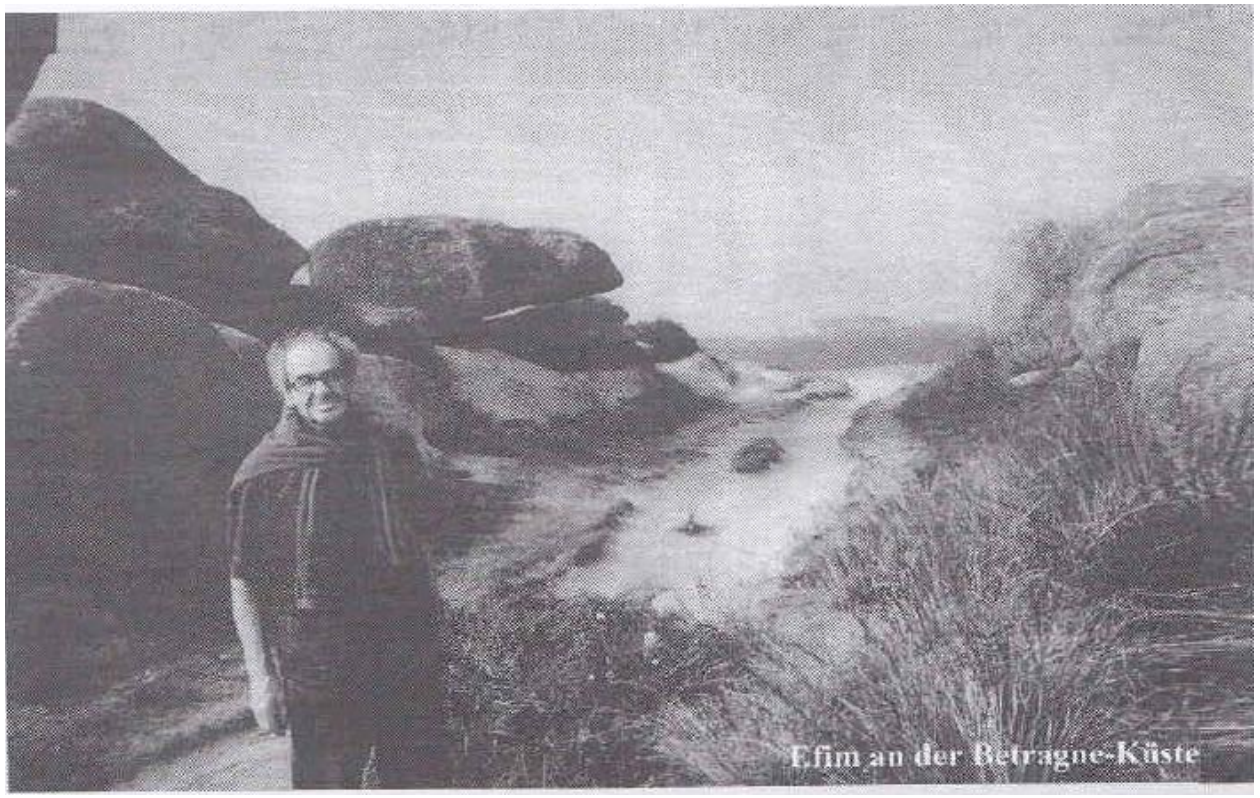

**Ефим с Гидоном Кремером в нашей квартире в Париже, 1991 год**

**Прощание в Бретани, 1992 год**

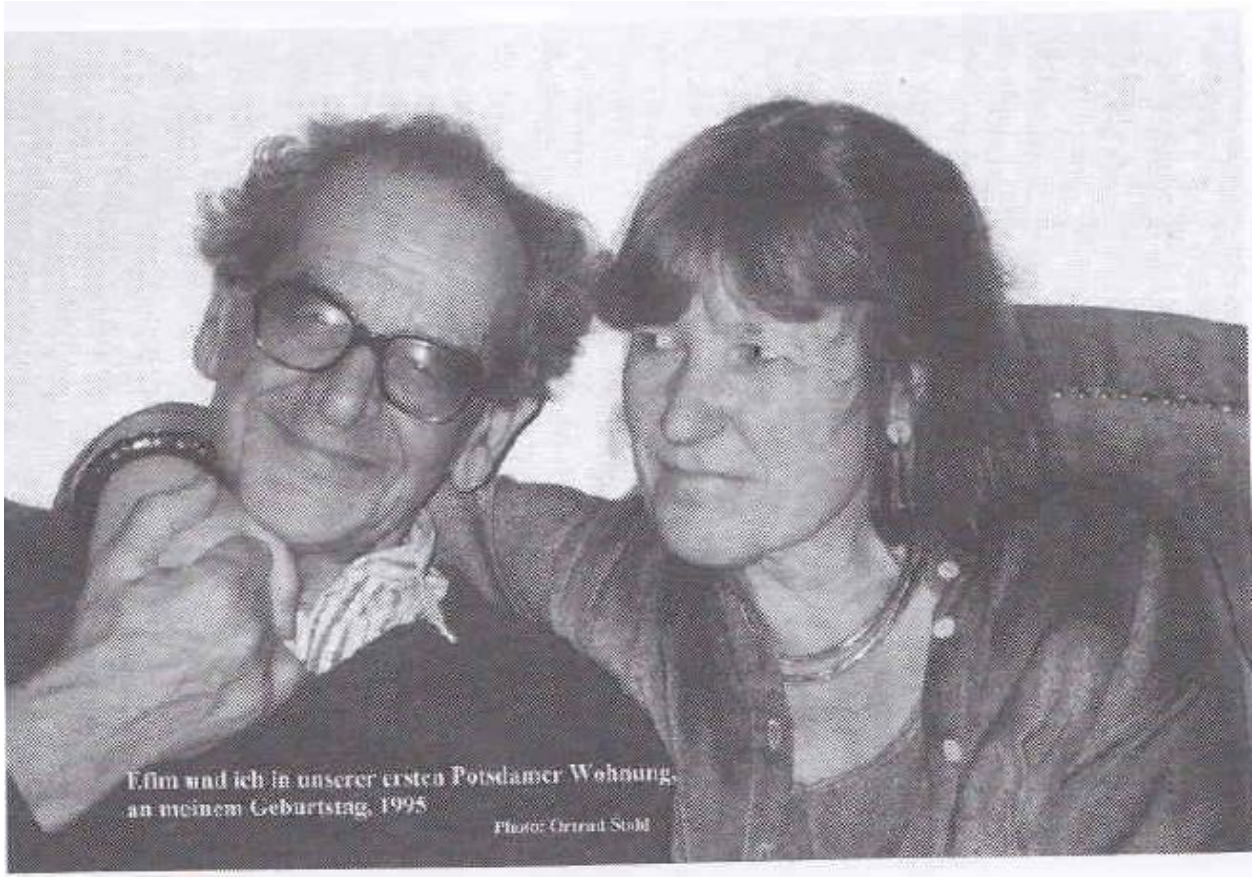


**Мы с Ефимом в Канаде, 1991 год**

**Фото Марии Шафрир**

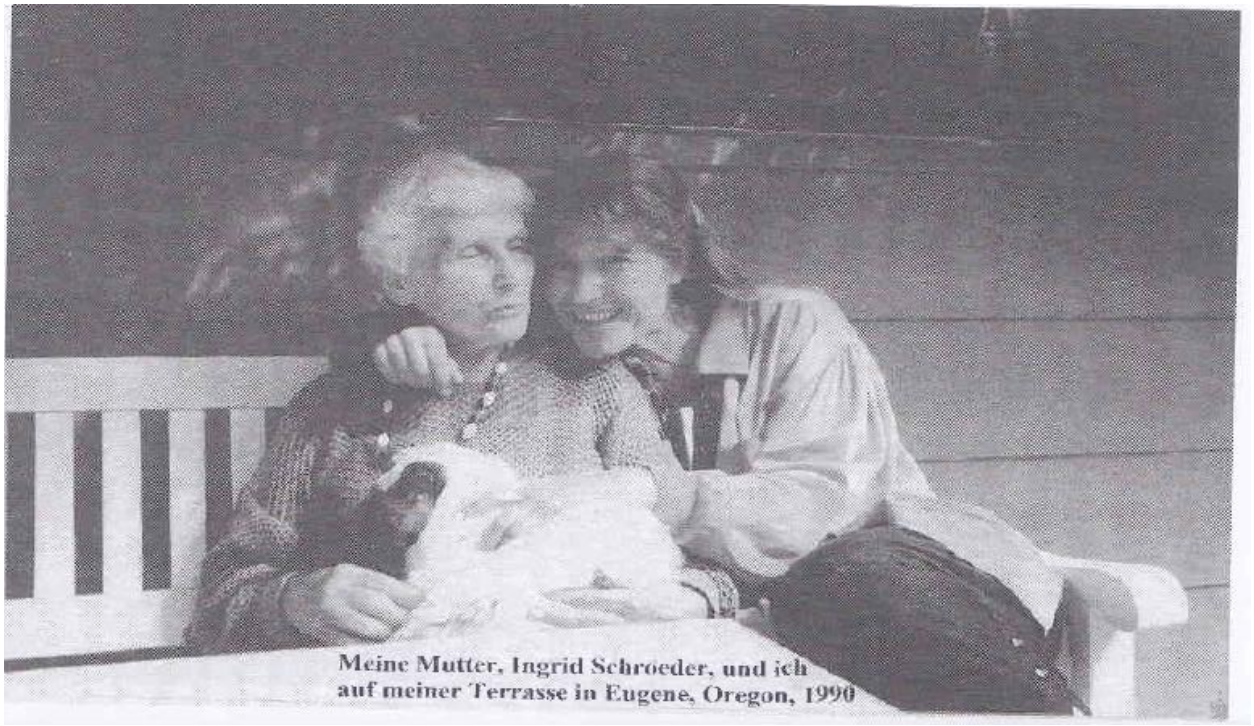



**Ефим на побережье в Бретани**




**Мы с Ефимом в нашей квартире в Потсдаме в мой День рождения, 1995 год.**

***Фото:*** **Ортруд Шталь**

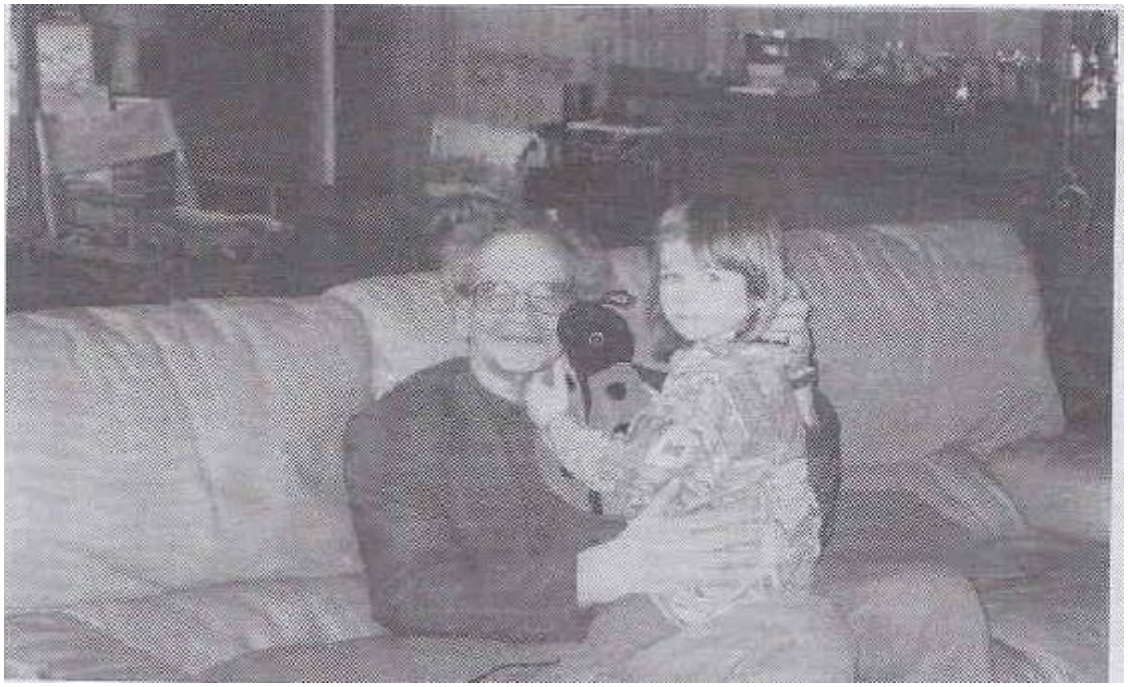



**Мы с моей матерью Ингрид Шрёдер на террасе моего дома в Юджине. Орегон, 1990 год.**

**С моей дочерью Саскией незадолго до её свадьбы**

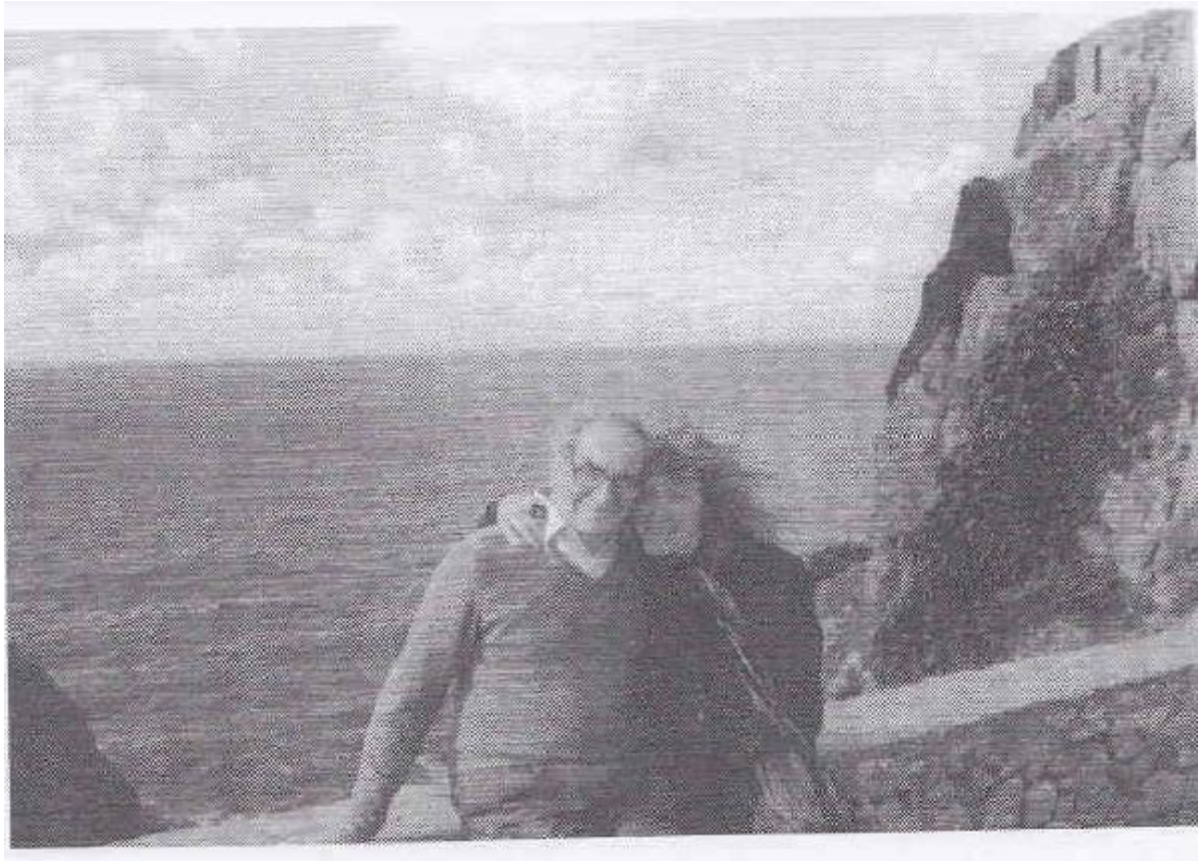
**Фото: Е.Эткинда**

**Андрей Синявский у нас в гостях в Париже, 1994 год.**



**Ефим с моей внучкой Диной, 1995 год.**

**В квартире Кости Клуге, Санлис / Париж**



**Ефим и Эльке в Бретани, 1992 год**

**Колли по кличке Снуки, любимая собака Ефима**

Прокаженные

Владислав Жук продолжал свой рассказ. На другой день, шестого мая, в лагерь вступили американские части - Третий кавалерийский полк («кавалерийским» он назывался по традиции; это была мотопехотная часть).

«Мы с восторгом, радостью, любовью встречали освободителей. Мы бросались навстречу танкам, пытались на них взобраться, хотели обнять и расцеловать танкистов... Американцы глядели с изумлением и страхом на дикую толпу полуголых, чудовищно отощавших людей, сталкивали нас с машин, старались оторвать руки, вцепившиеся в их гимнастерки, и, нажимая на газ, ускоряли ход. Потом я понял, почему они так испугались. Американцы не знали, куда приехали и кого освободили. Им, или большинству из них, ничего не объяснили заранее. Солдаты, глядя на нас, думали, что попали в лепрозорий, - о немецких лагерях они ничего не слыхали. Понятно, что они пришли в ужас, когда к ним кинулись прокаженные. Единственное, чего они хотели, - поскорее уехать подальше от этой чертовой заразы».

Вот отрывок из официального американского документа - это рапорт штаба Третьего кавполка:

Третий кавполк продолжил в этот день в шесть ноль пять свое продвижение в южном направлении, не встречая никакого сопротивления со стороны противника. На его пути снова оказывались военнопленные, занимавшие большие участки освобожденной территории. В час дня передовые отряды достигли населенного пункта Эбензее и сообщили, что в городе имеется концлагерь. Затем поступили сведения о том, что в лагере 16 тысяч политических заключенных и что условия их существования невыносимы. Каждый день от голода и запущенных болезней умирает около трехсот человек. Лагерники живут в грязи и зловонии; ничего нет

удивительного в том, что они готовы поедать своих мертвецов. Лагерь можно сравнить с Бухенвальдом или Ордурфом...

А в очерке по истории той же воинской части (изданном в 1946 г. в Сан-Диего) говорится:

6 мая перед отрядом А [...] была поставлена задача проникнуть в район Австрийских Альп. Отряд двигался на юг от г. Гмундена вдоль живописного темно-синего озера и дошел до г. Эбензее. На краю последнего был обнаружен концлагерь, отделенный от города бурной речкой. Описать этот лагерь невозможно. Слова не могут передать смрад гниющего человеческого мяса и ужас условий, в которых существовали голодные живые мумии... Ни один человек из Третьего кавполка не забудет этого концлагеря.

Снова вернусь к Владиславу Жуку. Не скупясь на подробности, он рассказал, с какой поспешностью американцы уходили из открывшегося им ада, от смрадных толп, принятых ими за прокаженных. Он повторил фразу, уже раньше изумившую меня: «А вас я помню!» И продолжал: «Американцы уже уехали, оставив уполномоченных, которые занялись организацией госпиталей и кухонь. Мы были подавлены равнодушием наших освободителей, нет, хуже - брезгливостью, даже отвращением. И вот через несколько дней я увидел, как в лагерь вошли два советских офицера: они шли, шли пешком мимо мертвых тел, пожимали руки живым, целовались с этими полутрупами, с этими прокаженными. Я вспоминаю вас обоих с благодарностью и восхищением».

Жук, разумеется, помнил не меня, а просто двух советских военных, поведение которых поразило его по контрасту с перепуганными американцами. Я слушал его взволнованное признание с изумлением - и, не хочу скрывать, с гордостью.

## В лагерной «Франции»

Пора рассказать о собственных впечатлениях того дня.

12 или 13 мая меня, переводчика, вызвал заместитель начальника армейского разведотдела, подполковник Никифорович, и сказал: «Поедешь со мной в немецкий концлагерь, - союзники нам сообщили, что там есть наши: будем их освобождать». Штаб размещался в Бруке-на-Муре, недалеко от Граца; езды до Гмундена и соседнего с ним городка Эбензее было часа два. Мы ехали на армейской эмке по дороге сказочной красоты. Где-то посредине пути нам повстречалась повозка; над ней развевался трехцветный флажок. С повозки соскочил бородач средних лет и, остановив нашу эмку, спросил на ломаном немецком: «Где дорога в Италию?» Он возвращался домой. Эти первые дни были порой возвращений. Навстречу нам шли колонны недавних военнопленных - французов, итальянцев, советских. Мы доехали до Эбензее и вступили на территорию лагеря через ворота, о которых я уже говорил. В американском рапорте верно отмечено: нет слов, способных передать увиденный нами ужас. Повторяться не буду.

Советских оставалось много - несколько тысяч. В опубликованных позднее документах я прочел, что ко дню освобождения в лагере Эбензее было 5346 поляков, 4258 советских, 2263 венгра, 1147 французов. Почти не было евреев: их уничтожили первыми (из умерших в 1944 году евреев 96 процентов было из Венгрии, 4 из Польши).

Никифорович собрал вокруг себя толпу советских пленных (было много и гражданских, носивших нарукавную повязку с буквами RZA - Russische Zivilarbeiter), долго с ними говорил, о чем - не помню, я был слишком потрясен всем, что видел. Но вот чего забыть нельзя: среди пленных оказался прежний военный начальник Никифоровича; он был командиром роты, когда будущий подполковник командовал взводом. Их встреча казалась нам неправдоподобной - они и сами трясли друг другу руки, не веря глазам.

Никифорович сразу же посадил своего однополчанина в нашу эмку, с ним еще троих и отправил машину в Брук. Они не доехали: в пути выпили по стакану водки, оказавшейся метиловым спиртом, и умерли все - выжил один водитель.

Ко мне подошел молодой лагерник в полосатой блузе и спросил, говорю ли я по-французски. «Как это славно! - крикнул он. - Мы приглашаем вас во Францию, будет пир по случаю освобождения (1e festin de la liberation)». Во Францию? Я не понял. Оказалось, что сразу после ухода эсэсовцев лагерное население поделилось по странам; на территории лагеря можно было видеть щиты с надписями: Италия, Венгрия, Польша, Франция, Люксембург, СССР и даже - Германия. Вся Европа - на территории лагеря Эбензее! Никифорович был занят с нашими людьми (советских было много и среди больных), а я отправился - во Францию. Из бараков вытащили столы, составили в огромный прямоугольник. Лагерники толпились снаружи и внутри, высоко поднимая бокалы с шампанским, и славили свободу. Мутная вода в жестяных кружках заменяла шампанское, на столе стояли миски с лагерной похлебкой, но французы были французами: талантливо и воодушевленно они разыгрывали праздничный банкет. В тот майский день я впервые увидел настоящих французов - до того мне приходилось иметь дело только с учителями французского, которые давно обрусели (кроме нашей любимой университетской преподавательницы Мадлены Геральдовны Меллуп: в глазах учеников она воплощала лучшие черты нации). И тогда же, по-моему, я осознал их врожденную и неистребимую театральность. Как они верили в свое шампанское, как с каждым глотком пьянели и веселились, как пели все громче и дружнее «Sur le pont d'Avignon», «Le temps des cerises», «Марсельезу», «Интернационал»! Потом мне не раз вспоминался этот удивительный спектакль; во Франции я живу четверть века и постоянно убеждаюсь в том, как для этой страны важен театр. Разве не театральной была Великая революция, ее Конвент, ее публичные гильотины? Или

грандиозный спектакль Империи (а до того - Консульства), когда вся французская нация играла в возрожденный Древний Рим? Даже мясник на любом французском рынке потрошит курицу с поистине артистической виртуозностью...

На праздничном «пиру освобождения» я был единственный зритель - многие поглядывали в мою сторону, дружески улыбаясь, и не уставали благодарить. Я был счастлив - и понимал, что благодарят не зря, что Красная Армия пришла сюда, в Австрию, оставив позади горы трупов своих солдат.

Победа пьянила меня. Я был горд тем, что мы - мы, советские войска - принесли сюда свободу и жизнь. Если бы мне было дано хоть одним глазом заглянуть в недалекое будущее! Если бы я в этом будущем увидел, как вчерашние истязаемые немцами и собственными предателями полуголодные рабы, окружавшие сегодня Никифоровича, мои чудом уцелевшие соотечественники - как все они из немецкого концлагеря будут переправлены в советский... Если бы мне сказали, что их на родине приговорят к лагерным срокам за то, что они попали в плен к немцам и отбывали немецкую каторгу в Эбензее, - поверил бы я этому? А ведь случилось именно так: из Эбензее их перегнали на Колыму, из рабства в рабство.

Моя гордость

В тот майский день я был преисполнен гордости. Теперь нелегко вспомнить достоверно свои тогдашние чувства, но я уверен, что в главном не ошибусь.

Я гордился тем, что принадлежу к Красной Армии. Лагерь Эбензее освободили американские танки, но они прибыли в Европу на готовое, высадились в Нормандии год назад и двигались на юг, встречая слабое противодействие. Уже тогда мы знали, что немцы ожесточенно сопротивляются на востоке, а на западе готовы открыть фронт - чтобы капитулировать не перед беспощадным Советским Союзом, а перед США и западными демократиями, способными на компромиссы.

Я гордился тем, что мы освобождаем мир от террора, который куда страшнее всякой чумы. Достаточно было пройти по лагерю Эбензее мимо гниющей стены мертвецов, чтобы понять, от чего мы спасли человечество. Знал ли я про советские лагеря? Кое-что знал. Но эйфория победы, счастье чувствовать себя освободителем были бесконечно сильнее смутного, загоняемого внутрь знания.

Я гордился тем, что в этом разношерстном, многонациональном лагере люди разных национальностей и классов говорили об Иване - гак звали в лагере Владимира Сергеевича Соколова, советского полковника, бывшего железнодорожника. Рассказывали об уме и образованности этого гиганта, который на аппельплаце был головой выше всех, работал за двоих, щедро делился чем мог и не мог; он возглавил группу вооруженного сопротивления. Не менее популярен был другой советский полковник, Яков Никитич Старостин (его подлинное имя - Лев Ефимович Маневич). В Эбензее он попал из лагеря в Мельке в середине апреля 1945 года, но за три недели успел завоевать благодарное уважение многих (он был одним из редчайших евреев, сумевших скрыть свою национальность). Мог ли я не испытывать

гордости за таких соотечественников? С отчаянием вспоминал я позднее о них обоих: неужели и этих героев лагерного подполья, этих гордых антифашистов гноили в сталинских застенках?

Я гордился еще всем тем, что мне рассказывали о роли коммунистов в сопротивлении. Больше и лучше всего об этом говорили французы; из их числа одна десятая (около ста двадцати человек) была вовлечена в лагерный Resistance - они ждали, когда можно будет начать действовать, и дождались. Во главе французских групп, из соображений конспирации изолированных друг от друга, стояло несколько коммунистов, о каждом из которых говорили с неподдельным пиететом. Первым был Жан Лаффит, впоследствии известный писатель, автор романа «Мы вернемся за подснежниками» (Nous retoumerons cueillir les jonquilles, 1948) и мемуарной книги о лагере Эбензее «Живые борются» (Ceux qui vivent, 1950); заглавие этой книги - часть строки Гюго из «Возмездия»: «Живые борются, и живы только те...» («Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent...»). Вторым называли Анри Коша, шестидесятилетнего сапожника, члена КПФ с 1924 года; все его звали «папаша Анри» и охотно говорили о его самоотверженной щедрости и неприметном мужестве (сапожная мастерская, где он чинил деревянные башмаки заключенных и хромовые сапожки немцев, была конспиративным центром лагерного сопротивления). Третий француз, пользовавшийся всеобщей благодарной любовью, был доктор Рене Кенувиль, спасший от гибели десятки доходяг и немало сделавший для создания «Интернационального лагерного комитета сопротивления», который оформился как подпольная организация в мае 1944 года. Вот несколько строк из дневника Драгомира Барты о встрече трех руководителей комитета - его самого, Рене Кенувиля и Хрвойе Макановича в июле 1944 года:

«Мы возвращаемся из госпиталя. Свежий горный воздух, глубокое впечатление от нашего прощания. Прекрасный символ человеческих отношений представителей разных народов. Собственно говоря, три

поколения - доктор, Хрвойе и я: 64 года, 40 лет и 23 года. Разные нации - французы, хорваты и чехи, разное социальное происхождение и разные профессии, характеры, переживания, опыт и мировоззрение, приобретенные каждым из нас. Мы нашли общую почву - гуманизм; к тому же сегодня как раз 14 июля, день Бастилии. Встреча с Хрвойе и Винко Верно в садовой беседке перед бараком в 11 часов вечера. После того, как обсудили дела, говорили о французской культуре, а потом о Советском Союзе. Долго еще я размышлял о докторе - как он свеж для своих лет. Свеж - в смысле молод. Как он умственно гибок... Не могу не вспоминать все время о последних минутах нашего прощания».

Да, всем перечисленным я гордился - могу и теперь, полвека спустя, сказать, что гордился с полным основанием. Но во что превратилось все то, что было предметом моей гордости и всеобщего нашего восхищения! Победа над гитлеризмом приняла гротескно-кошмарный характер. Чувство свободы удушила сначала ждановщина, в 1946 году, а потом все дальнейшее развитие советского деспотизма. Чувство международной солидарности погибло под напором звериных национализмов. Благородный порыв коммунистов уступил их союзу с нацистами. Антифашистское движение переродилось в самый откровенный фашизм. Таков итог, который приходится подвести в 1998 году, в самом конце XX столетия.

Еще два года спустя

В 1997 году я снова оказался в Эбензее - приехал с женой на машине; с некоторым трудом я разыскал своего знакомца, Владислава Жука. Мне хотелось узнать о нем самом все то, чего я не успел, да и не мог выяснить при первой встрече. Почему и как он остался в Австрии, почему обосновался в Эбензее? На вполне приличном немецком языке он рассказал нам:

«В лагере на кухню приходила иногда вольная судомойка из города - мы издали переглядывались. Понятно, что о встречах и думать было нечего. После освобождения многие из нас бродили по городу, ходил по улицам и я, надеясь ее встретить. И, представьте себе, встретил. Прошло с тех пор больше пятидесяти лет. Мы по- прежнему вместе, у нас пятеро сыновей. Нет, моих только трое - два сына были у нее от прежнего брака, муж погиб на войне. Но все пятеро - мои дети. Теперь мы иногда ездим все вместе в Польшу; жена и дети выучились польскому, а я, как вы слышите, объясняюсь по-немецки. В Эбензее я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы люди не забыли. А забыть им хочется. Старики стараются не вспоминать о том, как они не замечали рядом с собою фабрики смерти, как они позволили убедить себя, что в полосатой одежде ходят только преступники и душегубы. Молодые не желают слышать о неприятном прошлом; им куда интереснее футбол и дискотеки. Мне приходится идти наперекор тем и другим. Играть эту роль трудно. Не раз мне звонили по телефону, угрожали избить, повесить, называли предателем, твердили, что я продался жидам и коммунистам. Новых нацистов у нас тут немало. Прежде я их побаивался, теперь это прошло. Я знаю, что я сильнее их. Что мы сильнее».

Эпилог (Эльке Либс-Эткинд)

Во время нашего пребывания в Вене Ефим непременно хотел показать мне Эбензее – я там ещё не бывала. Мы отправились туда в один из выходных дней, и Ефим рассказал мне по дороге историю Владислава Жука, рассказал о том потрясении, которое они оба испытали, встретившись друг с другом, спустя пятьдесят лет.

– Почему бы ему не позвонить? – спросила я.

– Нельзя же так, ни с того, ни с сего.

– Но мы могли бы съездить к нему. Он был бы рад тебя увидеть.

– Нехорошо беспокоить человека в субботу, надо было тогда заранее договориться.

– Но до него же отсюда рукой подать! Адрес можно в телефонной книге найти.

Как всегда Ефим не мог представить себе, что люди искренне радуются, когда он о них вспоминает, когда находит время для них, что для встречи с ним они готовы отменить любые свои планы.

Владислав Жук был дома. И хотя у его жены был день рожденья, он с радостью с нами встретился. Он показал нам концлагерь, точнее сказать, огромную шахту – место рабского труда тогдашних узников – входы в неё к тому времени были большей частью опечатаны. У нашего провожатого был ключ – он сам был ключом ко всему, что происходило в те времена, единственным, остававшимся в живых свидетелем, оберегавшим те маленькие памятники, которые ему удалось восстановить.

Никогда мне этого не забыть. В штольню мог заехать вместе с вагонетками весь локомотив – гигантский, какими они были раньше. Передо мной вставали тени тех изнурённых голодом узников, серые лица людей, что, не выходя отсюда, работали над созданием пресловутого V-2, гитлеровского чудо-оружия, и одновременно – идиллические пейзажи вокруг, горы, озеро,

где всё дышит покоем и миром. Вместе с Владиславом мы пошли через деревню к его мемориалу, которым он особенно гордился, за который ему пришлось бороться долгие годы.

Никто не хотел, чтобы этот мемориал был. Все хотели забыть и не понимали, как можно так упрямо на нём настаивать. Даже не пытались очистить себя от этого желания забыть – преступного по отношению к жертвам. Но, хоть и медленно, Жук добился своего. По дороге к тому месту нам встретилась небольшая группа людей. Меня удивило, что Владислав – такой вежливый и дружелюбный – с ними не поздоровался. В деревне все друг с другом обычно здороваются, особенно в Польше, откуда он был родом. Но на его лице вдруг возникло выражение неприязненности, почти враждебности. Едва эти люди прошли мимо, как он, не в силах больше сдерживаться, взорвался: «Вы видели эту женщину, блондинку, которая так хорошо выглядит?... Она миллионерша.

Спустя много лет после войны, она приехала в Эбензее в поисках участка для строительства своей новой виллы. Участок она нашла, он ей так понравился, что она, во что бы то ни стало, захотела его приобрести. Это было именно то место, где раньше стоял крематорий. Сегодня там, где когда-то сжигали моих товарищей, сверкает белизной её роскошная вилла. Когда её спрашивают об этом, она говорит: – Я не знаю ни о каком концлагере, вздор всё это. Оглянитесь вокруг, в этом прекрасном краю всегда царил мир…

В глазах Владислава стояли слёзы боли и возмущения. Но он уже давно научился бороться, ещё тогда, когда, встретив свою будущую жену и войдя в её семью, вновь возвратился к жизни и решил остаться там, где претерпел страшные муки, решил примириться с судьбой. Но примириться не значит забыть. Каждую могильную плиту, каждую надгробную надпись отвоёвывал он у австрийских властей до тех пор, пока тем ничего не оставалось, как согласиться. Но вилла всё же высится как воплощённый образ отрицания

прошлого, и следы всего, что на её месте происходило, самым постыдным образом уничтожены.

И вот уже Владиславу действительно нужно было спешить к своей жене, к той, что спасла его. Она оказалась необычайно душевным человеком. Конечно же, нас пригласили на чашечку кофе с пирогом, и мы не отважились отвергнуть столь естественное гостеприимство, хоть и не хотели мешать этой семье. Мы видели, как был тронут Владислав, как при каждом взгляде на Ефима настигает его история. С большой теплотой он заключил в эти свои воспоминания и меня, так, будто я всегда там была. Потом было прощание, нам нужно было возвращаться в Вену.

Владислав проводил нас к машине.

Мужчины просто стояли и, молча, смотрели друг на друга. Они были почти ровесниками. Обоим оставались последние годы. Но мысли обоих были обращены в прошлое. Одновременно в их лицах читалось потрясение от нежданной встречи. Этой истории было пятьдесят лет. Мы молчали. Больше ничего не нужно было говорить. У всех в глазах были слёзы. Мы знали, что это была последняя встреча. У меня было такое чувство, как будто восставшие из шахты мёртвые окружили нас тогда. Долгие, крепкие объятия.

«Присмотри за ним», – шепнул Владислав мне. И ему: «Как хорошо, что она у тебя есть». Ещё короткий жест на прощание. Он смотрел нам вслед, пока мы не скрылись из виду.

**Свадьба?**

О свадьбе мы, собственно, несмотря на вопрос Кати – тогда, на кухне – никогда не говорили, пожалуй, даже не думали. Ясно с определённого момента было только одно: я как можно быстрее попытаюсь найти работу в Германии или во Франции, чтобы дальше мы, по крайней мере, могли жить вместе. Судьба распорядилась так, что на 1992/1993 учебный год мне предложили заменять моего коллегу, профессора в университете города Эссен. С этим коллегой мы были дружны тридцать лет, и он, по смешному совпадению, уезжал преподавать в США. Какая счастливая случайность! Мне оставалось только написать в Орегоне заявление на годовой отпуск без содержания, и я спокойно могла отправляться в Эссен. В этом университете я уже несколько раз преподавала в качестве гостевого профессора, до туда из Мюнстера час езды на машине – я приезжала, чтобы провести лекцию или семинар и после возвращалась обратно в свой сельский домик. Поэтому я, большей частью, знала там и коллег и студентов. В течение тех двух дней, когда я должна была преподавать, я могла жить в квартире моего, уехавшего в США коллеги («changing places»), а после возвращаться домой – в этот раз в Париж, где меня ждал Ефим. Какие великолепные перспективы! Одно но: после такого «года без содержания», согласно закону о высшем образовании, я была обязана не менее чем на год снова вернуться в американский университет.

Но мы уже научились жить в разлуке – насколько этому, вообще, можно научиться. У меня, в общем и целом, было несколько месяцев каникул в году, Ефиму тоже в определённое время нужно было в Вермонт и в Колумбию, куда я могла прилететь к нему, и откуда он мог добраться до меня. С этим можно было справиться. Нам предстоял долгий чудесный год – вместе, в Париже. Это был королевский подарок.

Правда мне приходилось постоянно подавать заявления на все объявляемые вакансии и, если на мою заявку отвечали, готовить доклады и проходить соответствующие процедуры собеседования. Это был первый раз, когда мне нужно было так много ездить по стране. Я побывала во множестве университетов, познакомилась с множеством новых коллег и возненавидела постоянно повторяющиеся ситуации «смотрин»: состояние как перед экзаменом, непроницаемые лица, несоответствие между сказанным и несказанным, ожидание того, что ты ошибешься, фальшивая приветливость. Не всегда всё шло по этому сценарию, бывали и достойные собеседования, когда люди проявляли искреннюю доброжелательность, лишённое зависти признание, или когда случалось неожиданно встретить старых знакомых школьной и студенческой поры.

Поскольку я много занималась организационной работой в университетах, я знала эти структуры и могла точно оценить и понять то, как проходили собеседования. По тем бесчисленным конференциям, где ты участвуешь, или которые ты организуешь за всё время работы в академической сфере, так или иначе, узнаёшь практически всех коллег в твоей области, хоть и не со всеми устанавливаешь дружеские отношения. Неоднозначная ситуация в джунглях писаных и неписаных законов каждого нового университета, но одновременно увлекательная, интересная, дающая богатый опыт в отношении знаний о человеческой природе. В течение этого «года взаймы» мне довелось побывать в более чем десяти университетах, кроме прочего в Карлсруэ, городе, где я выросла и выучилась, и где умерла моя мать. Прочитав там лекцию, я из разных закулисных разговоров узнала, что на факультете германистики до сих пор в качестве профессора не была принята ни одна женщина, и что страхи коллег и в моём случае вряд ли удастся преодолеть, хоть моё выступление и понравилось. Я не могла поверить: конец двадцатого века, и вдруг такие атавизмы? И тем не менее: совсем недавно, в 2011 году – около восемнадцати лет спустя – мне

сообщили, что я не могу произнести речь на встрече по поводу пятидесятилетия своего гимназического выпуска (не смотря на то, что меня выбрал для этого наш класс), потому что ещё ни разу женщина не произносила речь в классической (прежде мужской) гимназии. И откуда-то выискали древний неписанный закон, по которому тот, кто говорит речь перед своим выпуском, должен произносить и юбилейную речь. Это могло бы быть смешно, если бы не было так грустно. Сколько времени прошло уже с тех пор, когда я начала бороться за права женщин в обществе и в академической среде, точнее, за их равноправие на всех уровнях? Тридцать пять, точно… И уже пятьдесят лет прошло с тех пор, как в гимназии мне отказали в награде, потому что мой одноклассник, мальчик, будучи любимчиком директора, получил такую же оценку по сочинению, что и я. И, конечно, для награждения выбрали его. Никто даже и не подумал бросить жребий, например. Я столько раз с этим сталкивалась, что мне от таких вещей уже почти скучно становится.

Как это всегда происходит, под конец этих туров на собеседования я знала, что, по меньшей мере, два университета готовы меня принять. Конечно, мельничные колёса высшего образования в Германии крутятся медленно, невыносимо медленно, а иногда и до смешного медленно. По большей части одобренного соответствующим министром федеральной земли назначения приходится ждать около двух лет. До последнего момента что-нибудь может сорваться, приглашение на работу может быть отозвано, у университета могут закончиться деньги. Но мы верили в удачу. Ефим, правда, в тайне мечтал о том, что я, вообще, больше не буду работать в университете и буду всегда с ним, но для меня об этом не могло быть и речи. Я любила свою работу также как и он свою, с увлечением преподавала и более или менее регулярно печаталась. С его пятьюстами публикациями мне, конечно, было трудно сравниться, но, в конце концов, я была на двадцать три года моложе, и у меня было еще много времени и желания работать дальше.

К тому времени у меня вышло три монографии, несколько книг под моей редакцией и около пятидесяти статей в научных сборниках и журналах. Вот-вот должна была выйти книга об отношениях матери и дочери в художественной литературе, над которой мы работали совместно с моей подругой и коллегой Хельгой Крафт из Флориды – с ней мы познакомились, когда я полгода работала там в качестве гостевого профессора по программе фонда Макса Каде.

К тому же, я должна была продолжать работать и в силу финансовых причин. Ефим относился к этому не очень реалистично. Я ведь зарабатывала гораздо больше по сравнению с его пенсией. Мы жили попеременно в разных местах, а жильё, даже самое дешёвое, нужно содержать. Не говоря уже о его книгах, за публикацию которых он всегда сам платил русским издательствам, потому что у них, как они говорили, не было денег. И не говоря о наших детях и внуках, которым всегда что-то было нужно, а также о наших многочисленных поездках – ему их оплачивали, если он был приглашён, а мне, если я его сопровождала, в основном приходилось нести расходы самой.

Когда весной 2011 года я писала эти строки, только что случилась ядерная катастрофа в Японии – после землетрясения и цунами. Мир был охвачен страхом за страну и за собственную безопасность. Мне вспомнилось, что в девяностых годах нас приглашали на год в Японию, но мы решили не ездить туда. Тогда в девяностых в мировой политике, особенно на Ближнем Востоке, было много опасных ситуаций. Ефима они заставляли задуматься о том, чтобы собрать вокруг себя всю свою семью: ему хотелось заботиться о ней. В своём невероятном стремлении защитить семью он не хотел видеть реальности: как бы он смог обеспечить своих дочерей и их семьи? Оглядываясь на своё послевоенное детство – дядя, мама, тётя и семеро детей – я отчасти могла понять его старую патриархальную мечту о большой семье. Но я помнила и то, как бедны мы были, с каким трудом доставалась еда, какой поношенной, с чужого плеча была тогда наша одежда, как сложно

было иногда просто купить школьную тетрадь. Обо всех этих вещах Фима думать не хотел. Если он кого-то любил, то он любил слепо, нерассудочно, страстно, можно сказать, с ног до головы.

Парочка приглашений от университетов, думал он, и этого хватило бы. Но на самом деле, с 1994 года наши расходы в Берлине и Потсдаме ложились только на меня, он оплачивал аренду квартиры в Париже (это было недорого), за прочее мы платили вместе. У нас не было денежных споров, и я считала само собой разумеющимся, что все дополнительные гонорары зарубежных университетов он тратит на публикацию своих книг или ремонт «Бельвю», нашего дома в Бретани. Вопреки предположениям его старшей дочери, на счетах Ефима после его смерти ничего не оказалось, потому что он их использовал только для перевода своих гонораров в Париж, также как это делала и я, пока жила в США.  Но политическая ситуация вновь прояснилась, и планы по переселению семьи, слава Богу, всё-таки не были претворены в жизнь.

Но не будем слишком далеко забегать вперёд. Пока мы были в Париже и впервые наслаждались «нормальной», то есть постоянной совместной жизнью. Мужчина, как правило, тяжелее переносит разлуку, тем более такой мужчина, со всем пылом живущий Здесь и Сейчас. Моё отсутствие было для него очень тягостным, мы быстро привыкли быть вместе, это было как зависимость.

И вот опять повторилась травма ожидания, как тогда в Москве. Обычно из Эссена домой в Париж я добиралась на поезде, у нас была квартира в Пюто, раньше он был самостоятельным городом, сейчас это пригород Парижа, находящийся недалеко от Сены. Поезда ездят точно по расписанию, и в них можно читать. Но однажды я уж очень сильно соскучилась, мне как можно скорее хотелось домой. Не раздумывая долго, я села в машину и помчалась по автобану. Я представляла себе лицо Ефима в тот момент, когда я неожиданно возникну в дверях, его радость… Но всё вышло совсем не так.

Мобильных телефонов тогда опять-таки ещё не было. Я ехала и ехала, дороги были переполнены и опасны – аварии, остановки, пробки, у моего автомобиля случилась небольшая поломка…

Чтобы доехать до дому, мне требовалось не более шести часов, но время тянулось, дорога становилась бесконечной, а я не могла позвонить, ведь дело было глубокой ночью и он до смерти испугался бы. К тому времени, как Ефим должен был бы проснуться, я всё еще не добралась, но думала, что скоро доеду и не хотела терять драгоценного времени на то, чтобы позвонить. И снова ему пришлось пережить часы ужаса. И вновь я увидела это лицо, в котором умерла всякая надежда. Я сама не понимала, почему я не могла позвонить.

Точнее, отчасти я всё-таки понимала. Я долгое время жила одна и отвечала только за себя, могла приходить и уходить, когда вздумается, я не привыкла к тому, что меня кто-то вот так болезненно, мучительно может ждать. Кто-то, чью историю жизни я впитаю только спустя годы, так что такое больше никогда, никогда не случится. Это померкшее лицо в дверной раме, обида за боль, которую можно было не причинять – почти против воли он приходил в себя – будто Орфей, по плачущим камням возвращавшийся из царства смерти. Каждый камень своими руками пришлось мне снять с его сердца, пока оно, нехотя, вновь не стало биться легко и свободно, пока мы снова не почувствовали радость воссоединения. Как глупы мы, люди, и как мы себе всё усложняем!

Ефим любил Париж так, как будто он никогда не жил где-то в другом месте. Как никто другой он знал историю этого города, его тайны, его невидимые чужому глазу красоты и его превратности. Неустанно бродили мы по улицам, всякий раз открывая что-то новое. Со сколькими людьми он здесь уже бывал? На каждом шагу мне встречались его друзья, знакомые, реальные и воображаемые, живые и мёртвые. Удивительно, что я всегда стремилась к «нашим» местам, к тем, с которыми у него не был связан никто

другой, а только я и он. Как то маленькое кафе на берегу Сены, за пределами Парижа, в котором всегда встречались Берта Моризо[38] и её друзья-импрессионисты, где они жили в сельской идиллии, не имея много денег, страстно увлечённые только рисованием да своими романами.

Это место сохранило что-то от своей первоначальной простоты и невинности, позже мы даже хотели справить здесь свою свадьбу. Но пока об этом всё ещё не было и речи. Пленительным в своей уединённости был «Багатель», небольшой замок в Булонском лесу с роскошным розовым садом, где Ефим чувствовал себя как дома. Чтобы в него попасть, надо было пройти по маленькой соседней улочке, на которой уже с самого утра царило оживление: это была улица красных фонарей, где собирались женщины постарше. С удивлением я обнаружила, что спрос здесь был очень высок. Мужчины точно знали, что они ищут, и где они это смогут найти. Женщины при встрече уверенно смотрели нам в глаза, пока мы не скрывались в парке.

Говорят, что когда-то Наполеон подарил этот парк своей Жозефине, и, казалось, там всё еще можно было ощутить дух трогательных писем императора к своей возлюбленной. В изогнутых аллеях, где листва деревьев с течением веков стала непроницаемой стеной, прятались укромные скамейки, на одной из которых я располагалась, пока Ефим делал свою гимнастику. Мы приходили туда ранним утром, когда там ещё никого не было. Казалось, вот-вот и промелькнёт здесь Жозефина в одном из её нежных платьев в стиле ампир, игриво прячась от возвратившегося из военного похода Наполеона. Принцесса Снуки ждала нас в это время в машине, довольная, что всё идёт своим чередом. Её моцион к этому времени был уже закончен, вход в розовый сад был ей воспрещён. Но она точно знала ритуал. Когда мы возвращались, она без всякого разрешения перепрыгивала с заднего сиденья

[38] **Берта Моризо** (фр. *Berthe Morisot*; 14 января 1841, Бурж — 2 марта 1895, Париж) — французская художница

на переднее и с серьёзной миной садилась за руль, так, как будто была нашим шофёром, который сейчас повезёт нас домой. Ах, Снуки…!

Как-то раз мы возвращались домой после похода в магазин. У обоих в руках были пакеты с провизией. Закупить продукты в Париже – это всегда стресс: магазины переполнены, особенно в конце рабочего дня, люди нервные, дети плачут, собаки скулят, лампы мигают, каждому надо быстрее. У Фимы был отсутствующий вид, будто он о чём-то размышлял. Мы шли по тротуару комплекса высотных зданий, где располагалась его квартира, та квартира, где он жил ещё со своей женой Катей и дочерьми, а позже и с одним из зятьёв. Что-то не давало ему покоя, он хотел что-то сказать, и я почувствовала, это было что-то важное, не для улицы, не для равнодушных взглядов посторонних.

– Можно тебя кое о чём спросить? – начал он.

– Да, конечно, но, может, всё-таки не здесь, подожди немного, мы уже почти пришли.

– Но я не могу ждать, я хочу сейчас тебя спросить…

– Пожалуйста, Фимочка, ещё две минуты…

– Нет, правда, ты должна мне об этом сказать сейчас, – внезапно он остановился. – Эльке, ты хочешь быть моей женой?

Откуда мне было знать, что речь пойдёт о чём-то столь важном? Небоскрёбы растворились в миллионах огней, струящихся из их окон, и всё смолкло. Мы были одни в мире, обнимая друг друга. Вокруг нас как маленькие белые барашки теснились пакеты из супермаркета.

– *Конечно,* – как во сне услышала я свой голос, хотя после первой случившейся в 1964 году катастрофы я решила никогда больше не выходить замуж и до сих пор продержалась.

– *Конечно, Фимочка*. Тысячу раз да! – думала я. За кого, если не за тебя, мне в этом мире снова выйти замуж, даже если этого вовсе и не нужно в

нашей неразрывной связи друг с другом, даже если это всего лишь чудесный, старомодный символ для других, а не для нас самих.

Белые барашки терпеливо ждали. Мы медленно вернулись к действительности, подняли их и как в тумане преодолели несколько шагов, отделявших нас от дома. До осуществления этого решения понадобилось ещё некоторое время, и здесь я бы хотела немного забежать вперёд. Порядок важен только в мелочах – великие вещи сами себя упорядочивают и сносят непоследовательность мыслей.

Спешки не было, но я с самого начала всё время напоминала Ефиму: Ты должен сказать об этом своим дочерям, они имеют на это право.

Фима кивал и сразу же забывал об этом – поводов к тому была тысяча. Поскольку с Катей мы виделись часто, мне ничего не стоило в одну из наших встреч, как бы между прочим, ввернуть в разговоре, что её надежды скоро исполнятся – она же первая тогда с большим участием заговорила о нашем браке и позже всё время спрашивала об этом.

Мы, не спеша, делали всё необходимое для бракосочетания. Нужно было подготовить документы, составить список гостей, выбрать место, назначить дату бракосочетания в ратуше Пюто. Поскольку я, как это полагалось по закону, в это время дорабатывала последние месяцы в Юджинском университете в Орегоне, мы могли общаться только по телефону и в письмах. Кроме занятий и работы заведующей кафедры мне теперь предстояло ещё и подготовиться к переезду. Самое трудное было уже позади: все вещи были упакованы и ожидали пересылки. В последний год (после Эссена и Парижа)  я жила у одной своей подруги в чудесном доме, выстроенном по проекту архитектора Фрэнка Ллойда Райта – после того, как дети разъехались, ей не хотелось оставаться там одной. Она выделила мне две комнаты и собственную ванную – всем остальным мы пользовались вместе и великолепно ладили при этом. Фима навещал меня там, когда я восстанавливалась после тяжёлой операции. Он приехал, уже не помню

откуда – из Вермонта или из Канады, довольный сидел со мной и Сузи на кухне, делая грейпфрутовый сок. Сузи, умный и опытный психоаналитик, будучи в восхищении от него и от того, с какой естественностью он всегда был готов помочь, предсказывала нам самый успешный брак.

Те многочисленные гости – американцы, немцы, русские, французы и прочие, кого я приглашала в этот дом, наверное, помнят его: прекрасный вид, открывающийся с горы, светлые комнаты, единство с природой, широкий бассейн, площадка для тенниса, огромная уютная кухня с белым кожаным диваном, не говоря уже про сад и разнообразные большие террасы; сразу за домом начинался лес. Если бы Ефиму не нужно было ехать в Огайо, куда его ненадолго пригласили в качестве гостевого доцента (позже я приезжала к нему туда), нам можно было бы ещё долго оставаться в этом роскошном доме. Когда он уехал, взамен него я приглашала к себе его друзей, приехавших читать лекции в Юджинском университете после него. Это были Илья и Руфь Серманы, а позже Андрей Синявский и его жена Мария Васильевна – с ними мы много времени проводили в Париже. Я до сих пор помню один из дней рожденья Ефима, на который мы пригласили пятерых-шестерых друзей. Когда раздался звонок, и Ефим открыл дверь, за ней оказался Андрей Синявский, на серьёзном лице которого красовался красный клоунский нос (как раз было время карнавала), рядом с ним была его жена Маша в роскошном королевском пеньюаре – это был подарок Ефима. Хохот стоял безумный. Мы провели вместе много хороших дней – в США, в Париже, в Бретани. И вот теперь они приехали в маленький город Юджин, где Андрей каждую неделю читал лекции по сопоставительному анализу русской и американской культур, которые я даже могла понять: Андрей по-английски не говорил, но лекции сопровождались синхронным переводом. Хотя я в то время начала учить в Юджинском университете русский и каждый вечер по три часа делала домашние задания, я всё-таки звала свою преподавательницу русского языка, чтобы пообщаться с Андреем и его

женой. Я уже посылала Ефиму в Колумбус (Огайо) робкие маленькие письма на русском – он до слёз смеялся над моими ошибками, но радовался ужасно и, под конец, в ответ стал тоже писать по-русски.

Навсегда останется в моей памяти образ Андрея, увлечённого видом, открывающимся с террасы моего дома. Его великие книги о Пушкине и Гоголе я прочитала много позже, и была глубоко поражена его умным юмором, человечностью и иронией. Он печатался под псевдонимом Абрам Терц, в 1966 году во время показательного процесса его осудили за самиздат на семь лет колонии, после чего только в 1973 году ему разрешили выехать в Париж. Когда в 1997 году в городе Фонтене-о-Роз он умер, мы приехали из Бретани, чтобы попрощаться с ним. Нам открыла Мария Васильевна, глаза её были заплаканы, что смягчало её обычно казавшееся строгим лицо. Мы обнялись, и она провела нас в комнату, где был установлен гроб с телом Андрея. Ещё не успев взглянуть на него, я увидела, как оцепенел Ефим. Последовав за его взглядом, я поняла, почему: Мария Васильевна повязала правый глаз своего умершего мужа чёрной пиратской повязкой, из-за чего тот, как будто ещё уменьшившийся со смертью, со своими белыми, свисающими прядями волос, выглядел просто гротескно. Ефиму не показалось это забавным, его горе было глубоко.

– Зачем это? – в недоумении спросил он.

Маша с упрямой вымученной улыбкой неопределённо и не очень уверенно ответила: – Он так хотел.

Но кто знает, владелец его псевдонима, Абрам Терц, под защитой которого он мог публично критиковать политику государства и общество, до тех пор, пока сотрудники КГБ его не обнаружили и в буквальном смысле не схватили на улице, был, в конце концов, русско-еврейским разбойником. А в его книге о Гоголе, в особенности в отношении «Мёртвых душ», анализируются различные виды смерти, с которыми сражался этот

гениальный и противоречивый автор, в том числе, не в последнюю очередь, смерть его собственного писательского воображения и творчества.

По пути домой мы её уже простили. Через несколько месяцев Маша рассказала нам, что она распорядилась эксгумировать прах Андрея из могилы, в которой он покоился, и перезахоронить его в другом месте, что стоило ей больших затрат: он несколько раз являлся ей во сне и жаловался, что ему неудобно лежать. Она сразу же стала действовать.

*Nil pluriformius amore…*

Запоминающаяся и необычная пара, но я всегда знала, что по-своему она очень сильно привязана к нему.

Совсем другими были Серманы: он, немногословный грубоватый учёный старой закалки, очень работоспособный и надёжный сотрудник грандиозного проекта по подготовке к публикации семитомной «Истории русской литературы» в издательстве «Файяр». Этот проект осуществлялся под руководством Ефима Эткинда, Жоржа Нива, Ильи Сермана и Витторио Страда. Предполагалось, что в каждом из запланированных семи томов будет более 1000 страниц и все они должны быть опубликованы сразу на трёх языках – русском, французском и итальянском. До 1996 года вышли шесть из них, при этом сеньор Страда как раз не отличался рвением к совместной работе. Основную часть издательской и редакторской работы выполняли Ефим и Илья. Страда скорее тормозил работу, часто налагая вето на то, чтобы русские учёные еврейского происхождения, которых находил Ефим, становились соавторами того или иного тома, и не соглашаясь ни на какие компромиссы. О причинах можно было догадаться. Зато он участвовал в организации сказочной конференции в трёх частях, проводившейся в Париже, Риме и Венеции – на венецианской части мне довелось побывать. Но об этом позже.

Руфь Серман была писательницей. Умная, миловидная, деятельная миниатюрная женщина с седыми волосами, она много смеялась, прекрасно говорила по-английски и организовывала их с Ильёй жизнь. Когда мы пошли с ней купить туфли и прочее, она по-детски радовалась, перемерив сотню разных вещей, где-то у меня сохранилась фотография, которую мы тогда сделали в торговом центре. Серманы часто жили в нашей парижской квартире, когда мы уезжали, но тут не всегда всё шло гладко. Однажды, после их пребывания мы обнаружили большое чёрное пятно на кухонном столе. Причиной его появления, очевидно, стала одна из многочисленных сигарет, которые постоянно курила Руфь (А, может быть, и Илья? Этого я уже не помню). Я просила её, учитывая перенесённый Ефимом инфаркт, не дымить в квартире, но она, тем не менее, скорее всего, просто оставила зажжённую сигарету на столе и забыла о ней, что было отнюдь не безопасно. Ефим, очень любивший Серманов и знавший их 50 лет («с ними я не могу говорить только о ближневосточной политике – сразу выхожу из себя»), на этот раз рассердился и в порыве гнева напечатал на трёх языках инструкцию по эксплуатации нашей квартиры, которую повесил во всех комнатах, включая ванную. Вскоре в России пошли слухи о том, что деспотичная жена Ефима – то есть я – терроризирует гостей репрессивными мерами. При этом я в этой акции вообще не участвовала. Но предрассудки, особенно национальные, неискоренимы.

Я не делала различий, друзья Ефима были моими друзьями, и в особенности Руфь, взгляды которой были, в какой-то мере, близки к феминизму. Правда, заключение её по этому поводу было мрачным: – Женщины всегда за это расплачиваются, – с поразительной уверенностью сказала она как-то в одном из наших с ней долгих разговоров.

Она имела в виду любовные отношения.

## Свадьба versus «concubinat matrimonial» (1994)

Ефим давно возвратился в Париж. Мои последние дела в Орегоне уже были почти завершены: прежде всего, успокоены докторанты, боявшиеся остаться без научного руководителя, поскольку больше никто не разбирается в феминистской теории. Некоторые от разочарования даже начинали плакать, приходя ко мне в кабинет, после того, как я в циркулярном письме оповестила коллег и учеников о том, что уезжаю. Они чувствовали себя так, как будто их бросили в беде, но я смогла их утешить, сказав, что в век электронной почты расстояния сокращаются, и, заверив, что приеду на квалификационный экзамен и лично буду их поддерживать.

Я потом дважды летала в Орегон за свой счёт, только чтобы участвовать в процедуре присуждения им докторской степени. После был ещё трогательный прощальный вечер в великолепном доме Сузи: студенты подарили мне тёплый уютный шерстяной пуловер с принтом нашего университета, чтобы я не замёрзла в холодной Германии, коллеги – многотомное собрание вышедших в Орегоне работ по процессу письма (я тридцать лет преподавала «творческое письмо» во всех университетах, где работала), от Сузи я получила в подарок обладающее магической силой этническое ожерелье – она делала их своими руками – и гаитянский стул со столиком, привезённые ею из одного из своих бесчисленных путешествий. Всего не рассказать, прощаться в любом случае всегда тяжело, а здесь были люди, с которыми мы успели сродниться. Сильнее всего с моим другом Вальтером (к которому Ефим потом так ревновал). В последний день он пришёл попрощаться в мою пустую квартиру, откуда осталось вынести только взятое напрокат пианино с табуреткой. – Сыграй для меня напоследок, – попросил он меня.

Я сыграла всё, что знала наизусть. Когда я закончила, то, взглянув на него, увидела, как он беззвучно плачет.

– Все меня покидают, – бессильно произнёс он.

Я чувствовала себя виноватой, это чувство часто посещало меня в последние дни. Тогда я ещё не знала, что позже мне удастся поспособствовать тому, чтобы он получил место в Магдебургском университете, и что мы вместе сходим ещё на много концертов в Берлине. Музыка была нашей общей страстью, но мне никогда не стать таким её знатоком, как он. В Бретань он тоже много раз приезжал, и каждый вечер непременно ходил к соседнему перекрёстку, чтобы пожелать пасущейся неподалёку на лугу ламе доброй ночи.

На следующий день после моего приезда в Париже было назначено бракосочетание в ратуше Пюто. Фима всё подготовил. За день до моего отъезда из Орегона я ещё за полчаса успела купить себе красивое платье и пиджак для Ефима. Его старый друг, русский художник Константин Клуге, у которого был дом с большим ателье в Санлисе, в пятидесяти километрах от Парижа, предложил нам организовать торжество у него. Это было сказочное предложение. Итак, всё-таки без Берты Моризо, первой (и добившейся успеха) женщины в кружке импрессионистов, которую часто рисовал Эдуард Мане, и на которой позже женился его брат Эжен. Но у Кости было ничуть не менее волшебно: огромный начинающийся позади дома и доходящий до ручья луг, похожий на те, по которым в сказках гуляют единороги, тополиная аллея, изобилие роз вокруг тенистой террасы, а прежде всего, теплота, любовь и радушие, источаемые им и его женой Сузи (тёзкой моей американской подруги). С первого взгляда я поняла, что нахожусь среди верных друзей, и это ощущение сохраняется и сегодня, хотя Костя умер, дожив до девяноста одного года, а Сузи, которой сейчас уже больше восьмидесяти пяти, начинает всё забывать.

Как-то раз я спрашиваю её: – Помнишь, Сузи, какую чудесную свадьбу мы сыграли в вашем доме?

А она мне: – Что, у тебя здесь свадьба была?

– Разве ты не помнишь, как замечательно вы всё организовали: «ресторатора» с его неслыханным меню из пяти блюд, стол в виде подковы – ты его сама украшала цветами, и все гости за ним могли видеть друг друга, прелестную маленькую квартиру на нижнем этаже, которую Вы нам выделили тогда, и в которой мы (а потом уже я одна) всегда могли остановиться. Ты не помнишь этого?

– Нет, не помню, должно быть, чудесно тогда было. Это что, я, правда, всё это делала?

– Сузи, скажи, кто я?

– Ты Эльке, я ведь ещё из ума не выжила.

– А Фима – это кто? Посмотри, вот его фотография у тебя на камине.

– Ефим, – с нежной задумчивостью произносит она, – Ефим – это по-настоящему великий учёный. Я так горжусь, что он приходил в мой маленький литературный кружок, чтобы рассказать дамам о русской и французской литературе.

И сразу без перехода продолжает:

– Я тебе уже рассказывала, что однажды – я тогда была ещё маленькой девочкой – мне в Эльзасе довелось подарить букет цветов знаменитому Альберту Швейцеру?

Мое сердце сжимается от боли: я уже сотню раз слышала эту историю из её уст, всегда в одних и тех же словах, с теми же паузами, с тем же детским смехом в конце… Я обнимаю её: – Сузи, дорогая моя, ты мне уже много раз рассказывала эту прекрасную историю.

– Правда? Знаешь, я старая женщина, которая всё забывает. Зато мне всегда радостно. Может, это и лучше, не помнить ничего? Когда обедать будем?

– Но Сузи, Костю-то ты помнишь? (она была его третьей женой и прожила с ним около тридцати лет).

– Дааа, Константин… (она всегда выговаривала это слово на французский манер).

– Видишь, – задумчиво говорит она, подходя к большой дорогой китайской вазе рядом с камином, – Костя привёз её из Шанхая после эмиграции. Она достаёт оттуда горсть пепла и медленно ссыпает его назад: – Видишь, иногда я глажу его. Мне от этого лучше становится. Он всегда здесь. Ты думаешь, это ужасно?

– Вовсе нет.

Её мягкий эльзасский акцент покоряет своим очарованием, её откровенность неотразима. Но одиночество Сузи разрывает мне сердце. Каждый раз, когда я приезжаю – а это бывает не чаще одного раза в год, ведь до неё так далеко, так ужасно далеко, её остаётся всё меньше. С кем я только не бывала в её всегда гостеприимном доме: бесчисленное количество раз с Ефимом, с моими братьями и их жёнами, с друзьями, детьми и внуками, здесь даже огромный пёс Саскии уже побывал и радостно носился вместе с собаками Кости по волшебному лугу, похожему на те, по которым в сказках гуляют единороги.

Постепенное умирание часто доставляет больше боли, чем смерть, приходящая сразу. По крайней мере, за Сузи заботливо ухаживает её домработница Анни, её я тоже уже знаю двадцать лет, она участвовала в организации всех праздников, которые мы отмечали у Кости и Сузи, это великолепная повариха и преданный человек. Заботится о ней и её сын Франсуа, он уже давно живёт с ней, с годами ему всё труднее с матерью, но он проявляет при этом удивительное терпение. Я уже давно не получала вестей из Санлиса и немного тревожусь, собираясь туда нынче, в 2011 году. И всё-таки это место всегда было и остаётся для меня родным.

*

Но пока ещё мы были в Париже. Тем временем приехал из Хайдельберга мой сын Тилль, приехала Саския со своей трёхгодовалой дочкой – во время нашего первого посещения она только готовилась родиться. Из Карлсруэ прибыла моя давняя подруга Карин, директор дома для престарелых. Она с первой встречи привязалась к Ефиму. И, конечно же, прилетел из Орегона Ирвинг, который уже был у нас свидетелем при заключении гражданского брака. Он прилетел вместе с Дженни Маркович и её тихим добрым мужем Борисом. Приехал старый друг и соратник Ефима в Париже Мишель Кадо (в течение долгого времени Папа Римский для германистов в Сорбонне, он также написал несколько книг о русских писателях), благородно и великодушно устроивший для Ефима повторную защиту и принявший его на должность профессора в Париже (защита диссертации сначала не была формально засчитана в Сорбонне, хотя Ефим к тому времени уже более двадцати лет проработал профессором в Петербурге). С ним приехала его очаровательная жена Кристина, немка – это был второй брак Мишеля, они нас чуть-чуть опередили со свадьбой. Мой брат-музыкант, к сожалению, был тогда в турне по Азии, другой брат, капитан, вместе со всей семьёй бороздил воды Австралии, на свадьбе смог быть только наш старший брат, Томас, преподававший немецкий в лицее в Понтуаз.  Была также и дочь Ефима Катя со своим мужем Данило и многие другие – всех не перечислить!

А М.?

Когда я приехала в Париж, я была удивлена и обрадована, увидев её в квартире. Я знала, что примерно в это время она каждый год организует со студентами её колледжа в Торонто (Канада) экскурсию в Европу и одновременно навещает в Париже отца. Он всегда уже заранее радовался этому. Но в этот раз я увидела её уже за сбором чемоданов.

– What are you doing? (Что ты делаешь?) – спросила я, ничего не подозревая.

– I must leave (Мне нужно лететь обратно), – её лицо было замкнуто на тысячу замков.

– Are you trying to tell me you are leaving one day before our wedding? (Ты хочешь сказать, что улетаешь обратно за день до нашей свадьбы?)

– Yes! I have to… (Да! Так нужно…)

– You wouldn`t have to if you didn`t want… (Тебе не было бы нужно, если бы ты этого не хотела…)

– Maybe! (Возможно).

– And your father – why do you want to hurt him? (А твой отец, почему ты хочешь причинить ему боль?)

– Well – he should have known earlier… (Ну, он раньше должен был думать…).

После чего она добавила:

– But I will have my best friend in Paris participate in your wedding. She will tell me everything! (Но на вашей свадьбе в Париже будет моя лучшая подруга. Она мне всё расскажет!).

Это прозвучало, по меньшей мере, многозначительно и было последним, что она сказала мне в том разговоре. Я поняла, что это мера наказания, и что упрашивать дальше – ниже моего достоинства.

Был конец июля, стояла прекрасная погода, правда, слишком жаркая. Мы с Фимой твёрдо решили, что мы ничему не дадим нам помешать и будем просто наслаждаться этим днём. Конечно, формальности мы с ним оба не любили. Когда все собрались в украшенном бесхитростной росписью помпезном свадебном зале ратуши в Пюто, как это принято, появился бургомистр, знавший Ефима и уже проводивший бракосочетание его дочери. Он сказал несколько приветственных слов, после чего тактично удалился: с

учётом возраста обоих брачующихся долгие речи о значении семьи были излишними, и мы сразу же смогли преступить к процедуре бракосочетания.

Это было как раз то, чего мы хотели. Мы были благодарны этому благосклонному к нам человеку, а чуть позже у нас появилось ещё больше причин для благодарности. Небольшое смущение возникло только тогда, когда я сказала, что хочу сохранить свою фамилию – во Франции это крайне редкий случай. Но дело было не только в том, что к тому времени у меня было уже большое количество публикаций под фамилией «Либс», мне казалось абсурдным, что меня как имущество запишут на фамилию мужчины, даже самого любимого, после того, как я тридцать лет управляла своей жизнью самостоятельно. Чего я не знала, так это того, что во Франции во всех официальных документах указывается девичья фамилия женщины. Моя девичья фамилия – Шрёдер. Значившейся во всех немецких документах фамилии Либс – я получила её, когда тридцать лет назад выходила замуж – во французских вообще не встречалось. Позже это доставило много хлопот, когда мне пришлось сражаться с российскими бюрократами и доказывать, что я действительно жена Ефима.

И вот уже с автомобильной процессией мы двинулись по направлению к Санлису, точнее, к Монтлоньону, идиллическому местечку, где жили Клуге. Там всё было устроено с роскошью и любовью, у всех было приподнятое настроение. Моя маленькая внучка Дина, с восторгом взбегая по ведущей к галерее лестнице ателье, в сотый раз кричала: «Мама, посмотри! Посмотри, мама!»

Она была вне себя от счастья: повсюду висели и стояли Костины картины – такого она ещё никогда не видела. Как будто духи тех, кто был здесь изображён, слетелись к ней. Тут можно было увидеть невероятно живой портрет маленькой дочери актёра Бельмондо и самой Сузи, в то время, когда они с Костей познакомились. И девочка неосознанно поддавалась силе эстетики и творчества, сконцентрированной в этой галерее. Костя, вслед за

Ефимом, станет её нескрываемым любимцем, правда только после его собак, с которыми она резвилась так, как будто с ними выросла.

Я забыла, какие были угощенья, забыла, о чём мы говорили: все исполненные любви, признания, дружеского расположения и веселья тосты, маленькие застольные речи (больших мы не разрешили говорить), большие и маленькие кружки беседовавших, в которых постоянно сменялись участники – всё было гармонично, без помпы, легко, с удовольствием и как-то естественно. Даже Данило, муж Кати и зять Ефима, не смог удержаться, чтобы не сказать тестю маленькую, правда, не очень удачную речь. Подруга дочери была приветлива, но молчалива и незаметна. Отчёт о свадьбе она ей точно прилежно составила. Этот сияющий день закончился на тенистой веранде в компании Кости и Сузи, когда гости разъехались, а нас, будто любимых детей, проводили к нашему королевскому ложу. По крайней мере, так мы себя чувствовали, окружённые любовью наших чудесных друзей.

– *Можно*? – спросил Ефим, и мы улыбнулись друг другу. Наконец-то мы были одни!

*

В то лето, которое мы, как всегда, проводили в Бретани, у Ефима появилась гениальная идея. Нам уже давно хотелось поменять парижскую квартиру и найти себе что-нибудь поменьше, действительно «наше» жилище – без призраков прошлого, без Кати и её мужа, у которых была своя квартира (к тому времени Данило уже работал), и без теперешних высоких расходов. Ефим записался на встречу с бургомистром Пюто. Когда встреча была назначена, муж собрал все книги, которые написал с тех пор, как поселился в Париже, то есть за двадцать лет, и поехал в ратушу.

– Посмотрите, – сказал он бургомистру, когда они разговаривали с ним в его роскошном кабинете, – все эти книги я написал в вашем прекрасном

творческом городе. Я вам дарю их все с огромной благодарностью за то, что я здесь себя так хорошо чувствовал, и за то, что мне так хорошо работалось. Я смею также надеяться, что этим я способствовал повышению престижа Вашего города.

Бургомистр был польщён, восхищён и даже заинтересован: в любом случае, он попросил перевести все русские названия. Особенно вдохновил его Пушкин во французском переводе. (Позже с помощью этого бургомистра Ефим получил за эту книгу настоящий орден, престижный орден Академических пальм – к сожалению, это было только символически почётно, но всё же. Нас позабавило то, что орден нужно было выкупить самим. Мы с Фимой очень смеялись над таким экономным предписанием – он ведь этот орден всё равно бы не стал носить. Но мой живший под Парижем брат, который очень любил Ефима и восхищался им, обиделся: на следующий День Рожденья Ефима он принёс в подарок плоскую коробочку: это был орден Академических пальм, как полагается, на шёлковой ленточке – более элегантной, хоть и бесполезной вещи трудно было себе представить. Фима был тронут и смущён, но это его развеселило, и это был единственный раз, когда он (символически) надел эту милую вещицу – слава Богу! (Вообще, ордена казались нам несколько смешными).

Потом они с бургомистром долго говорили о других вещах. Книги – не меньше восьми-девяти – при этом скромно лежали рядом и выполняли свой долг: были в наличии. Через час Ефим откланялся. Уже стоя в дверях, он снова повернулся и сказал как бы походя:

– Кстати, мы с женой хотели бы сменить нашу большую замечательную квартиру и срочно ищем жильё поменьше. Если у Вас есть что-то на примете, то я был бы готов сделать что-нибудь для развития культурной жизни города,

оказывать консультации, если это потребуется… Merci beacoup pour cette conversation très agréable! Au revoir![39]

Бургомистр был умён. Он всё понял правильно. В следующие несколько недель он предложил нам на выбор разные квартиры, арендную плату за которые частично брала на себя администрация города, в силу чего она была не высока, и уже третья нам подошла. Там не нужно было много ремонта, что случалось редко. Мы купили обои и книжные полки, кое-что из мебели, Данило помог Ефиму всё прикрутить и приклеить, а я навела там окончательный порядок – мы справились очень быстро и радовались, как только может радоваться молодая (!) семья своему первому собственному жилью. Арендная плата за эту квартиру в сравнении с известной дороговизной Парижа была фантастически низкой: за четыре комнаты (одна большая, три маленьких, кухня, ванная, туалет и большой балкон) в сравнительно скучной высотке в Дефансе (современном районе Пюто) – сносным этот дом можно было назвать, только если смотреть в окно изнутри – в пересчёте 500 немецких марок, сегодня это около 300 Евро, включая отопление и подземную парковку. Такие квартиры предназначались исключительно для государственных служащих и уважаемых лиц города (к которым Ефим, будучи профессором, действительно, принадлежал). И в самом деле, пару раз его просили поучаствовать в совете города по принятию решений о строительстве нового фонтана, памятника или библиотеки. Но в какой-то момент приглашения прекратились, о чём мы не собирались плакать. Мы оба очень любили эту квартиру, хоть туалет в ней был такой же крошечный, как в российских домах. Но мы жили на девятом этаже, и нам открывался великолепный вид на весь Париж – до Булонского леса, в который мы, по заведённому ритуалу ходили гулять каждую субботу (когда были в Париже), в гости к императрице Жозефине в парк Багатель или к двум

[39] Большое спасибо за этот приятный разговор! До свиданья!

амурчикам у Розового сада, невероятно милой мраморной паре детей, мальчику и девочке, столь страстно обнимающих друг друга, что, особенно учитывая самозабвенное выражение лица маленькой девочки, сегодня бы это назвали детской порнографией. Но это Париж и к тому же эпоха рококо, в Багателе также как и в Сан-Суси в Потсдаме, где предметом гордости являются отреставрированные за огромные деньги «Испорченные дети», которыми любовался ещё Фридрих II, когда не вёл очередную войну – а это занятие составило, в общем и целом, по меньшей мере, 30-35 лет его жизни.

Зигмунд Фрейд бы очень удивился – или не очень.

**Нобелевский симпозиум 110**

Что за сказочный сюрприз: к нам пришли письма из Нобелевского комитета. В начале 1998 года и я, и Ефим по отдельности – наверное, из-за разных фамилий – получили приглашения на Нобелевский симпозиум 110 в Стокгольме. Он финансируется фондом Нобеля и проводится каждый год по различным вопросам. Симпозиум был посвящён теме «Translation of Poetry and Poetic Prose»[40]. В этот раз Ефим вместе с лауреатом Нобелевской премии по литературе Шеймасом Хини и прочими входил в международный комитет симпозиума (состав международного комитета, в отличие от национального, меняется каждый год). С самой Нобелевской премией по литературе этот симпозиум никак не связан, хотя его инициаторы являются одновременно постоянными членами комиссии по её присуждению. Мы были рады, что нас обоих пригласили сделать доклад. Так гораздо лучше. Мы могли получить удовольствие от совместной поездки и выступить каждый самостоятельно. Должен был приехать также очень близкий друг Ефима Шимон Маркиш.

[40] англ., «Перевод поэзии и поэтической прозы»

В качестве места проведения симпозиума значился огромный IBM Nordic Education Center – Серверный учебный центр IBM у Стокгольмских ворот, время – конец августа 1998 года. В программе было тридцать докладчиков (на это мероприятия нельзя подать заявку самому), из них только 10 женщин. – Ну, ладно, – заметил Ефим, бегло просматривая приложенный список выступающих, – это всё-таки лучше, чем вообще ни одной.

Эта поездка была для меня особого рода дежавю. Когда-то я приехала сюда на моей старой машине и провела неделю в гавани одна – на крошечной яхте, неподалёку от знаменитой копии королевского корвета «Густав Ваза», как давно это было? Должно быть, летом 1986 года, после Чернобыльской катастрофы. Я помню еще, что мы ужасно боялись собирать буйно разраставшиеся повсюду грибы, что так и просились в корзинку, боялись жарить свежевыловленную рыбу. Только мы с моей закадычной подругой Эппи решились плыть под парусом из Стокгольма в Хельсинки, по пути причаливая на многочисленных шхерах – маленьких скалистых островах. По пути мы завернули в финский город Турку, из которого до России рукой подать (правда, визы для въезда туда у нас не было), после чего обратно вернулись поездом в Стокгольм, где ждала моя машина. Что это было за приключение!

Целую неделю я провела одна на маленьком судёнышке, пока моя подруга была на съезде. Это была та же лодка, на которой мы плавали во Францию, вот только её хозяева развелись; я тогда впервые отправилась в путешествие одна, только с подругой. Это было незабываемое время: первая лосось, которую я поймала сама и эти торжественные декорации города за спиной, города, к которому я теперь подъезжала снова вместе с Ефимом. Здесь сердце расширялось от холодной красоты и чувствовавшегося повсюду дыхания истории. Было раннее утро, первые солнечные лучи поднимались над красными и зелёными крышами. Между ними виднелись мачты судов,

каналы и пустые улицы – всё ещё спало. Мы были первыми, кто вошёл в этот сияющий день. Очарованные, мы долго бродили в районе гавани, прежде чем взять такси до места проведения конференции. Там всё шло, как всегда на таких мероприятиях, с тем только отличием, что в этот раз среди участников было необычайно много нобелевских лауреатов – было удовольствием поговорить с такими людьми о проблемах литературы и текста, встретиться с ними за едой, узнать об их образе мыслей и взглядах. Жизненно важным для них было переводить и быть переводимыми. Не каждому как Лермонтову удаётся найти для этого своего гениального Рильке.

Мой доклад «Philosophy of Translating as a Literary Subject»[41], посвящённый роману Хавьера Мариаса «Белое сердце» (1992), был запланирован уже на первый день, также как доклад Шимона Маркиша, доклад Ефима должен был завершать конференцию. Все говорили по-английски – постепенно я начала понимать проблему. Ефим, хоть он об этом и не говорил, думал, что он, как всегда, сможет прочитать свой доклад на русском, немецком или французском, а не на английском, которого он не любил. Но в конце последнего дня ему, наконец, пришлось мне поверить, что говорить нужно будет только по-английски. Это было для него ударом. В виде исключения, учитывая торжественность ситуации в этот раз он приготовил полный текст своего доклада на немецком языке и единственное, что нам оставалось, это перевести его на английский. На это нам понадобилась почти вся ночь, потому что он очень точно всё хотел понять, многие слова были ему неизвестны, а ему как единственному докладчику дали целый час для того, чтобы увенчать своей речью завершение конференции. К тому же заключительная церемония должна была состояться в «Auditorium Maximum» почтенного Стокгольмского университета – трёхсотлетнем зале в стиле рококо. Такая красота и такая история налагали

[41] «Философия перевода как литературный сюжет»

двойную, даже тройную ответственность – я впервые видела, чтобы Ефим волновался. Хотя под утро весь его доклад чёрным по белому был написан на прекрасном английском, язык был для него слишком непривычен, чтобы без ошибок прочитать написанный от руки текст – слишком трудной была грамматика, слишком нелюбимой мелодика предложений, произношение. У меня кружилась голова, но я, как могла, пыталась его успокоить.

От вида зала захватывало дух: оригинальная деревянная обивка, обилие золота, огромная люстра и расположенные как в театре кресла – всё будто в опере. На лице Ефима читалась тревога – я переживала вместе с ним, не сомневаясь, однако, что как-нибудь всё повернётся к лучшему. Его доклад назывался «What is Untranslatable?»[42]

Все в зале затаили дыхание. В рамках того симпозиума это был единственный открытый для любых слушателей университета и всего города доклад, свободных мест не было. Ефим начал… И тут как будто вмешались высшие силы: после первых, сначала робко прочитанных английских предложений введения он, подобно льву, вырвавшемуся из оков, энергичным движением оторвался от связывающего его конспекта и, захватив публику взором, заговорил свободно и уверенно, местами отклоняясь от текста, черпая из почти бесконечного моря своего знания, в той только ему одному свойственной манере, что соединяла исторический и литературный кругозор, образность, интернационализм, доказательную чёткость и присущую ему способность изящно балансировать на грани теории и практики. Мы оказались в буквальном смысле свидетелями того, как английские слова с лёгкостью слетали к нему, дружески приходя на помощь для выражения его мыслей. Играючи и очаровательно переплетались английский, немецкий, русский, французский, каждый из слушателей погружался в работу по

[42] Что перевести невозможно?

переводу – будь то английская поэзия нонсенса, русская игра слов и звукопись, немецкие стихи Гейне и Брехта или французский шансон:

| | |
|---|---|
| Au clair de la lune | При сияньи лунном, |
| Mon ami Pierrot | Милый друг Пьеро, |
| Préte moi ta plume | одолжи на время |
| Pour écrire un mot. | мне своё перо. |

(Пер. на рус. Щепкиной-Куперник)

Закончил он свою речь словами одного из своих любимых поэтов Самуила Маршака – многие из его стихотворений с лёгкой руки мужа выучила наизусть и я – мастера перевода поэзии на русский язык, будь то стихотворения Роберта Бёрнса, Шекспира и других, который однажды сказал: «Поэзию переводить невозможно. Всегда возникают исключения из правил».

Все засмеялись правдивости этого афоризма, а потом громко и долго аплодировали.

Все камни уже давно упали с моего сердца. Я безудержно восхищалась Ефимом – в этот раз никто не мог оценить его успеха лучше меня, ведь я знала, как он страшится английского, сам не замечая, насколько хорошо он его знает, хоть и делает небольшие милые ошибки. Это был громадный успех. Фима улыбнулся мне поверх рядов публики, его глаза, казалось, спрашивали: – У меня ведь хорошо получилось? И это была не фальшивая гордость, а глубочайшее облегчение.

## Эпилог

На следующий день мы перед отъездом хотели отпраздновать нашу свободу от всех обязательств. Ничто не приносило Ефиму такой радости как плаванье. Поскольку часть города, где проходила конференция,

располагалась на острове (как и многие районы Стокгольма), до воды было недалеко. Правда было не особенно тепло – шведское лето славится своей суровостью – но это мужа не волновало. В какой-то момент он, несмотря на все предупреждения, просто запрыгнул в воду, и я поневоле последовала за ним, как всегда в таких случаях, чтобы, если понадобится, защитить его от собственного безрассудства. Всё-таки за несколько лет до этого он перенёс инфаркт, после чего я его берегла как зеницу ока.

Когда я оказалась в воде, мне в прямом смысле слова перехватило дыхание. Она была ледяной, как мы позже узнали, 14 градусов. Ефим заплыл уже на несколько метров вперёд и не мог меня слышать. Мне стало страшно. Я почувствовала, как кровь с каждой минутой застывает и густеет, как руки и ноги действуют всё медленнее, теряя чувствительность – того и гляди совсем перестанут двигаться. Я плыла за Ефимом так быстро, как могла, а он, казалось, вообще, не чувствовал никакой опасности – как же он обратно вернётся, если конечности онемеют? Пока не стало поздно, я закричала во всю мочь: – Фима, возвращайся, я больше не могу! Это был единственный способ заставить его вернуться, пока он ещё мог плыть. Он сразу же повернул, было видно, что он плыл всё медленнее, из последних сил он достиг спасительной лестницы с моей стороны.

– *Мальчик*, что же ты делаешь? Это безумие плавать при такой температуре воды.

– *Это правильно,* – он засмеялся, счастливо как ребёнок. – Но ведь здорово же было?

Дальше мы отправились в сторону Гётеборга. Однажды, когда я была ещё маленькой, мой старший брат ездил в этот город по программе школьного обмена и привёз мне оттуда маленький, шёлковый носовой платок с красивым рисунком – мне он казался таким чудом, что я не решалась его использовать и много лет благоговейно берегла. И вот я впервые сама ехала в

эти края и вспомнила об этом подарке; нет, оказалось, нам нужно было ещё дальше, в глушь полуострова, ещё за семьдесят километров, где нас ждали друзья. Мы были в гостях у Марины Аскольдовой, дочери русского кинорежиссёра Александра Аскольдова, и её семьи. Ефим был её научным руководителем, а с её родителями мы часто встречались в Берлине. Будучи автором знаменитого, обошедшего экраны всего мира фильма «Комиссар», который долгое время был под запретом, до тех пор, пока его не стали показывать за пределами России, Аскольдов смог поселиться со своей женой Светланой в Берлине и работать над другими проектами в литературе и кино. Вскоре они взяли к себе в Германию их внучку Сашеньку, и она жила у них до поступления в университет (к которому мы с ней готовились) – сейчас она говорит на нескольких языках (шведском, русском, немецком, английском, французском, испанском, немного знает китайский, в настоящий момент совершенствует новогреческий и живёт со своим другом на Кипре, через несколько недель у них свадьба в Швеции). Какой талант – можно только удивляться и завидовать! В те годы семья жила в Швеции – на полпути в никуда[43] – как Робинзоны на необитаемом острове, окружённом лесом, скалами, маленькими фьордами. Сашенька рассказывает, что она до сегодняшнего дня боится пьяных лосей, которые любят забродившую падалицу и, поев её, теряют всякий страх. Потом они под хмельком шатаются по округе, могут внезапно оказаться в дверях дома или испугаться маленькой девочки и погнаться за ней.

Нас приняли так, как будто бы мы были членами семьи, роскошно угостили, и Ян, муж Марины, швед, с гордостью показал нам всё, что сделал своими руками. В ремесле он был также талантлив, как его дочь в языках, мог с лёгкостью смастерить всё, что задумывал. Мы потом часто виделись с ним в Берлине, когда он помогал родителям жены обставить квартиру,

[43] в оригинале «in the middle of nowhere», название четвёртого студийного альбома немецкой диско-группы Modern Talking

переделать душ, повесить привезённую хрустальную люстру или прибить полку. Работе не было конца. Конечно, он приезжал и тогда, когда родители его жены заболевали или нуждались в помощи. Я бы тоже хотела такого зятя. Между тем в романтической глуши появилось несколько дополнительных зданий, в том числе гостевой дом специально для тестя и тёщи, которые там регулярно проводили там лето.

Следующим пунктом назначения был Хельсинки, куда Ефима снова и снова приглашали преподавать в университете; в этом городе мы точно бывали четыре или пять раз и чувствовали себя там уже как дома, в особенности потому, что оттуда 3-4 часа на машине до Санкт-Петербурга. Однажды мы из Травемюнде переправили на финляндском пароме в Санкт-Петербург машину, багажник которой мы загрузили книгами и папками из архива Ефима, всё это мы подарили Национальной библиотеке, той самой, сотрудники которой впоследствии с гордостью объявляли в интернете о том, что недавно купили архив Ефима Эткинда. Не передали мы тогда только письма Ефима (его и к нему), которые позже внезапно – без соблюдения международного авторского права – возникли в каталоге аукциона и были выкуплены разными людьми. В результате мне начали поступать звонки с требованиями объяснений, которых я не могла дать. Это произошло без моего ведома – все письма и рукописи забрала его дочь – и повлиять я на это никак не могла. Я знаю, что сыновья Генриха Бёлля, с которым мне, к сожалению, уже не удалось познакомиться лично (зато удалось познакомиться с его вдовой Аннемари, очень приветливой женщиной), но с которым Ефим был близко дружен после того, как в 1974 году покинул Советский Союз, очень болезненно реагируют на малейшие «нарушения» этого авторского права, даже самые незначительные. Один раз они даже Ефима упрекали в том, что он устно процитировал фразу, которую Бёлль написал ему в почтовой открытке. Может, это и было преувеличением, но, тем не менее, соответствовало международному авторскому праву. Хотя я в

этом всём и не участвовала, я хотела бы здесь извиниться перед всеми теми, чьи письма из собрания рукописей Ефима без моего ведома стали достоянием общественности (а также перед наследниками этих людей). Сам Ефим всегда чрезвычайно щепетильно относился к таким вещам и приходил в ярость, обнаруживая подобные нарушения в отношении себя самого. Недавно под именем одной из дочерей Ефима вышел в свет большой том переписки Ефима Эткинда.

В Хельсинки же Ефим добросовестно и без всякого кумовства выступал в качестве оппонента на защите диссертации своего племянника Александра Эткинда. После его блестящей защиты он был так горд, как будто защитился сам. Он обладал уникальной способностью радоваться успехам других и, хоть он этого и не замечал, эта способность была источником его каждодневного счастья.

Из Хельсинки, как-то, пока Ефим вёл лекции, я одна съездила в Таллин, бывший Ревель, при этом едва не попала на паром «Эстония», который немногим позже, в 1994 году затонул – забыли закрыть створки грузовой палубы. Были сотни пострадавших – как часто мы вновь получаем в подарок свою собственную жизнь. Сохранность средневекового облика Таллина с исторической городской стеной, разливающимся в воздухе многоголосием колоколов и идиллическими узенькими переулками без небоскрёбов и новостроек трогала необычайно. Датчане, шведы, русские и немцы пять сотен лет подряд пытались завоевать этот великолепный богатый город и оставили здесь свои следы. Немецкие рыцари и русские купцы выдумывали всё новые привилегии для этого важнейшего в отношении торговли Ганзы с Востоком города. Он пережил и чуму, и Реформацию, до тех пор, пока, наконец, немецкий вермахт не уничтожил в нём практически всех евреев, а Красная Армия, в свою очередь, во время своих наступлений не очистила его от немцев – последнее произошло как раз в то время, когда я родилась, в начале сороковых годов. Сколько богатств, страстей, ненависти,

национализма, религиозного фанатизма, стяжательства и абсурда скрывается за этими элегантными фасадами, выглядящими так, как будто ничего этого не было. И вот уже туристы вновь покоряют эту землю – слышно много немецкой речи. Мне должно быть стыдно?

Мне вспомнилась книга Бергенгрюна «Смерть Ревеля» – я читала её в детстве и не всегда понимала его чудные, пропитанные винными парами истории о мёртвых и живых ротмистрах. Их действие происходило в этом городе, и они были написаны до того, как здесь пришли к власти немцы (но опубликованы были только в 1949 году). Будучи балтийским немцем из Риги, он знал, о чём говорил. Хотя в 1-ю Мировую войну он сражался против Красной Армии на стороне Германии, его отношение к национал-социализму развивалось от скептического к резко отрицательному, в этот период его временами публиковали, временами запрещали, он, хоть и безуспешно, старался не выделяться: его жена происходила из семьи Мендельсонов-Гензелей и считалась «на три четверти еврейкой» – определение, слыша которое, можно только краснеть от стыда. Неужели всю эту трудную правду можно скрыть за блестящими витринами музеев? В Таллине был и русский лагерь для немецких военнопленных. Однако русские с уважением сохранили исторический центр этого города, не разрушив его во время бомбардировок – слишком много противоречий. Я не очень уютно себя здесь чувствовала, и симпатичная меховая шапка, которую я здесь купила по совсем дешёвой цене, этого не изменила. Мне захотелось скорее в Хельсинки, в нашу университетскую гостевую квартиру – Фима, должно быть, уже вернулся. Может, даже сварил щи – единственное блюдо, которое он мог приготовить и готовил очень хорошо. Шапка ему тогда понравилась – я её и сегодня ношу, именно по этой причине.

**Дома и в пути**

Будней я никогда не боялась, и уж совсем не боялась, когда мы с Ефимом жили вместе.

Это правда, что мы много путешествовали, но в скольких местах мы так и не побывали, хотя нам этого и очень хотелось! Ефим мечтал съездить в Альгамбру, где я уже была. Он никогда до туда не доезжал, хоть мы очень часто бывали в Барселоне. Но оттуда до Альгамбры нужно было ещё целый день добираться на поезде, там нужно было ночевать, то есть на всё предприятие требовалось не меньше трёх дней.

Может, его расписание занятий не позволяло, но он ведь мог его в любой момент поменять – почему же он был настолько скромен? То же самое с Нормандскими островами, куда можно было легко попасть из Бретани. Он всегда говорил, что хочет туда съездить, но собаку нельзя было взять с собой, и этому плану тоже не суждено было осуществиться. Кто бы за ней стал присматривать? Я сама была там тридцать лет назад, когда мы путешествовали на яхте – с каким бы удовольствием я ему всё показала!

Его следующей идеей была Англия и Уэллс – позже после одной из конференций мы с моей подругой, коллегой и соавтором книги Хельгой Крафт проехали по всему острову, однажды ночевали в Стратфорде-на-Эйвоне, городе Шекспира, в другой раз в мини-гостинице отпрыска Гаспара Стампы, которую Рильке воспел в первой из своих «Дуинских элегий» и, наконец, сходили в театр «Глобус» – там Ефим, по крайней мере, тоже бывал.

Третьей попыткой стала очень любимая мной Тоскана, и здесь я проявила упорство, которое привело к успеху. Мы прожили неделю на холмах между Флоренцией и Сиеной в уединённой сельской гостинице, и я возила его по всем тем прекрасным местам, где так часто бывала с моей матерью, дочерью, братом и друзьями. «Сиена открывает тебе сердце шире, чем открываются ворота» – такую надпись можно увидеть на старых

городских воротах. Мы устроили пикник в оливковой роще у Монто-Оливето[44], немного поодаль, вблизи доминиканского монастыря. А потом отправились в разрушенное временем палаццо в горах за Флоренцией, по слухам, принадлежавшее родителям Галилея Галилео – однажды мы с братом и подругой провели там две недели. Мои коллеги и друзья из Германии снимали это палаццо для себя и своих четверых детей, когда преподавали в Европейском университете во Фьезоле. Мы с Ефимом тогда ещё только познакомились, и я проводила отпуск в Европе, в то время как он, как всегда, занимался своей Летней школой в Вермонте. Отсюда я писала ему первые полные тоски письма, в них я рассказывала о «Пармской обители», которую посетила, и которую мы оба знали по Стендалю. Теперь мы бродили волшебно прохладными летними ночами по поросшим виноградниками горам, восхищаясь мириадами светлячков, указывавших нам путь. Ефим был сражён великолепием этой страны, её архитектуры, искусства, природы, истории и чудесным вином, на которое мы старательно налегали и которое в большом количестве взяли с собой домой. Только на третий день, рано проснувшись, я обнаружила, что он тайком взял с собой работу: Гидон Кремер попросил его отредактировать третий том своей автобиографии, которая должна была выйти на немецком и русском языках – кто-то уже пытался это сделать, но Гидон остался этим недоволен.

И вот Ефим украдкой отрывал время от единственной недели, в которую мы до сих пор собирались только отдыхать, для того, что вполне могло подождать, лишая себя двух часов сна. Я едва могла в это поверить – разве он не обещал мне беречь себя?

– Беречь? Что это такое? – спрашивал Фима, хоть совесть его была не чиста.

– Здесь же нет никакой спешки – Гидон сам об этом говорил.

[44] Первый и самый главный монастырь католического ордена оливетов

– Но я хотел доделать эту работу, чтобы потом уже приняться за более важные вещи.

– За какие такие важные?

– Ну, например, за мою следующую книгу…

– Фимочка, прекрати! Ты уже говоришь также как эти немецкие учёные-сухари, которые из-за сплошной работы не видят жизни. Ты же совсем не такой. И когда я слишком много работаю, ты приходишь в ярость и говоришь, что уедешь. Из-за тебя я сняла свою кандидатуру на выборах декана в моём университете – ты сказал, что тогда у меня не будет на тебя хватать времени. Ты считаешь это справедливым?

– Нет, – сказал он с улыбкой, – ты права. Это несправедливо, но здорово, что ты больше времени проводишь дома. Когда ты со мной в одной комнате, читаешь рядом или пишешь, пока я работаю над своими книгами, мне так безмятежно. Работа – это же удовольствие. Зачем мне ещё и отпуск?

Обычно каждый из нас работал в своей комнате. Но в первые годы в Потсдаме мы жили в таком огромном – хоть и съёмном – доме, что Ефиму иногда приходилось совершить целую экскурсию для того, чтобы мне о чём-нибудь рассказать. В таких случаях он, зовя меня, проходил по всем комнатам, в каждую заглядывал, шёл дальше, если меня там не находил, до тех пор, пока я не обнаруживалась, наконец, например, за поливкой цветов на нашей большой крыше-террасе, которую я попросила сделать именно для него.

– Где ты прячешься? – вырывалось у него с облегчением. – Я тебя повсюду ищу, я уже потерял тебя! Преувеличенно драматичная фраза не скрывала от нас обоих содержащихся в ней тайных страхов, нежной иронии и всё возрастающей уверенности в том, что мы никогда не потерям друг друга, пока будем живы. В ней был сгущен опыт потерь всей жизни, и также сгущено Ефим переживал счастье обретения. В преувеличенности этой

фразы мы наслаждались «обыденностью» нашей общности, и будни открывали нам каждый день новые грани.

В тайне я должна была себе признаться, что чувствую то же самое. Разве это не неслыханное везение, что мы всю свою жизнь занимались и сейчас занимаемся тем, что доставляет нам наибольшую радость и удовлетворение – исследованием литературы, чтением, письмом, преподаванием, передачей своих знаний другим – можем зарабатывать этим деньги и, кроме того, теперь уже непрерывно быть друг подле друга? Стол, за которым я сейчас работаю, старый деревянный стол тридцатых годов, в нашем первом доме в Потсдаме бы обеденным. В кабинетах у каждого из нас стояли письменные столы. Я уже не помню сейчас, как это получилось, что мы вдруг начали работать вместе за этим обеденным столом. Свет из чердачного окна мягко падал на наши бумаги, так как Ефиму больше всего нравилось. Мы сидели друг напротив друга, и каждый мог видеть, как другой размышляет и формулирует мысли. В какой-то момент мы оба погружались в свои записи и свой текст. В то время у меня дома ещё не было компьютера. Готовые фразы я печатала на электрической пишущей машинке, а Ефим, как он это делал всю свою жизнь, писал черновые варианты своих работ от руки. Иногда мы прочитывали вслух те или иные абзацы и обсуждали их. Иногда наши глаза случайно встречались, и мы улыбались друг другу. Каждый мог в любой момент прервать другого, чтобы его о чём-нибудь спросить, а потом подойти, чтобы обнять. Я вижу нас, сидящими за этим столом, как будто бы это была живая картина за стеклом. В моей памяти эта картина и сегодня есть воплощение безмятежного счастья.

Статья, над которой я тогда работала, была посвящены великому роману Жан-Поля «Титан». Когда сегодня я беру её в руки, перед моими глазами сразу же встаёт Ефим, он в каждой строчке этого текста. Он в свою очередь работал над своей книгой «Внешний человек и внутренняя речь». В наших с ним разговорах меня вновь и вновь удивляло то, как тонко он знал

психологию, черпая эти знания из самой литературы и не будучи последователем какой-то из существующих психологических школ. Конечно, он достаточно знал о теориях Фрейда, Юнга, Лакана, Барта и других, чтобы на них ссылаться. Но своим самым глубоким взглядам он был обязан скорее точному анализу текстов и тому, как он играючи мог отождествлять себя с героями исследуемых им произведений, их взаимоотношениями и конфликтами, а также с их авторами, биографии которых, вплетённые в художественное изображение, были ему хорошо известны. В этом отношении в своих исследованиях он практиковал своего рода «глубокое прочтение», примеры которого можно увидеть у французского структуралиста Ролана Барта и которым даже сегодня ещё едва ли кто владеет. Точное прочтение как источник вдохновения, удельный вес каждого слова, переплетения языковых, композиционных средств и мотивов в тексте, в целом художественного произведения определённого автора в контексте современной мировой литературы и времени создания данного текста – всё это, понимаемое им как интертекст, становилось фоном интерпретации вместе с историей читательского восприятия. И всё это при уверенной и одновременно свободной универсальности соединявшего культуры знания, умением всякий раз привести в качестве доказательства нужные фрагменты текста и выявить часто скрытые междисциплинарные связи. Ефима можно было слушать как восточного сказочника, не замечая, сколько при этом, на самом деле, за короткое время удаётся узнать. В особенности это касалось его устных выступлений, когда ко всему присоединялась его харизма эмоционального рассказчика, очарование его личности, его способность шутить (часто непроизвольно) и его точная манера говорить, без витиеватости и отклонений от темы – то, что он называл своим «эллиптическим стилем» (собственно, он заключался в искусстве отбрасывать ненужное).

Поскольку сама я не только литературовед и германист, но и профессиональный психотерапевт, то в бесчисленных наших разговорах мы с разных сторон обсуждали эту материю, будь то в отношении литературы, истории наших стран или встречавшихся нам людей. Меня вновь и вновь поражала естественность, с которой Ефим умел соединять свои знания с подчас ошеломляющей интуицией. Точно также и все его выступления превращались в своего рода целостное произведение искусства, под влияние которого трудно было не попасть.

Здесь я хочу признаться в том, что дерзко обокрала Орегонский университет и его институт русского языка, когда у Ефима закончился его гостевой семестр и он покинул город. Как-то я узнала, что его семинары, которые для американских студентов ему, конечно, приходилось вести по-английски, были записаны на магнитофон. Сославшись на свой интерес к творчеству Пушкина (а в то время этот интерес, надо сказать, ещё только едва пробудился), я взяла в библиотеке эти записи, чтобы хоть голос его у меня ещё побыл. Отдать их обратно я уже не смогла, просто не смогла с ними расстаться, как будто знала, что нам подарено совсем немного времени, и что потом мне будет необходимо ещё хоть что-то оставшееся от него живого. В последние десять лет я их часто слушала, и каждый раз меня трогала почти личная обращённость его речи и терпеливость, с которой

он искал подходящее английское слово для того, что хотел выразить. Не говоря уже о его нестареющем живом голосе… «Мёртвые остаются молодыми».

Похожим и одновременно совсем непохожим образом обстояло дело с записью радиоспектакля, который Йоахим Старитц в 1999 году поставил по посвящённой советско-польской войне книге Исаака Бабеля «Конармия» (1926). Этот год стал годом смерти Ефима, но мы тогда ещё не знали об этом. Съёмочная группа целую неделю провела в одном восточно-немецком городке, работая над записью. Это было первое выступление Ефима в

качестве диктора и актёра. Свои слова рассказчика, создававшие своеобразный рефрен постановки, Ефим должен был сначала читать по-русски, после чего они постепенно приглушались, и он повторял то же самое по-немецки. Было нужно, чтобы смена произношения и интонации происходила легко и почти незаметно. Этот текст исполнен бездонной печали и ужаса от бессмысленной жестокости войны и поражения Красной Армии на третий год великой революции. Язык Бабеля и в переводе на немецкий не теряет своей экспрессионисткой силы и поэтической выразительности, не выцветшей с годами. Ефим произносил свои слова так, что невольно думалось: да, так и нужно говорить, нельзя по-другому. Последние строки автора о невыразимых при помощи речи событиях, автора, который видит всё, всё замечает и описывает всё с той же насыщенностью, с какой переживает, при этом никого не осуждая. Это один из самых волнующих текстов в мировой литературе, одновременно ставший личным завещанием Ефима, которое он своим голосом оставил в нашей живой памяти. В зарисовках Бабеля, которые он делал, будучи военным корреспондентом, сконцентрирована вся гибельность войны – всех войн, включая и сегодняшние гражданские войны в Ираке, Афганистане, в арабских странах, в Конго… Разве нужно перечислять все? Никогда ещё я не была так ошеломлена тем, как глубина и мощь человеческой природы может быть воплощена в красоте и яркости языка. Участие в этой постановке постепенно стало для Ефима чем-то личным. Не проходит недели, чтобы я не прослушала отрывка из неё. Я закрываю глаза, и вот он передо мной – сильный, грустный с этой обжигающей добротой в голосе.

*

Почти каждые выходные мы уезжали из Потсдама на природу. Ефим любил окрестности Бранденбурга и Берлина, любил Мекленбург, так называемую Мекленбургскую Швейцарию. Мы часто бывали у Кристы

Вольф, в её загородном доме, бывшей школе, оставались ночевать на маленькой милой мансарде, будто из оперы Моцарта, а на следующий день с её мужем Гердом прогуливались вокруг близлежащего озера. Супруги были привязаны к этому месту с того времени, как Криста Вольф писала «Летний этюд». Тогда деревушка была, наверное, всё такой же неизменно сонной, как и триста лет назад. Древняя булыжная мостовая, овальный луг, низенькие кирпичные домики – я могла хорошо себе представить, что здесь Кристе пишется лучше, чем в Берлине: здесь у неё был любовно ухоженный сад для отдыха от работы, уже не говоря о кулинарных изысках Герда, к которым ей оставалось только придумать какой-нибудь полный вдохновения салат. Здесь она услышала по радио ужасную весть о Чернобыльской аварии (один из её текстов называется именно так – «Авария»), и взгляд её тогда вдруг упал на растения в саду, что цвели пугающе пышно. Здесь она ждала телефонного звонка, когда ей должны были сообщить о том, как прошла операция на мозг, которую в это же время перенёс её брат – ещё одна «авария».

Всякий раз, когда мы были с Кристой и Герхардом, за городом или в Берлине, в их или в нашем доме, мы, конечно же, говорили о ГДР и России, и Ефим заклинал её о том, что, несомненно, было её предназначением: облечь в литературную форму историю ГДР, пока её не слишком ещё исказили, не забыли, пока её ещё не захлестнуло поражением объединения. Оба сходились в одном: нужно противостоять тем, кто, будь то в Германии или в России, обвиняет прошлое во всех бедах и несправедливостях, не находя ни одного доброго слова для того, что всё-таки было создано – вот ещё одно измерение предательства в обеих странах, оттенки которого бесконечно многообразны. Эти разговоры нашли художественное воплощение в последней большой книге Кристы Вольф «Город ангелов».

Там же, в Мекленбурге, мы решили найти и расспросить человека, который как негласный сотрудник Тимур следил и за Кристой, и за Ефимом (она полностью опубликовала дело, заведённое на неё в комитете

государственной безопасности, там содержались и бесчисленные упоминания о Ефиме как объекте слежки). Но когда мы, наконец, стали выяснять адрес Пауля Винса, то узнали, что он недавно умер.

– Ты бы хотел снова жить в России? – спросила я как-то Ефима.

– Нет! – с поразительной решительностью ответил он так, как будто бы сам часто задавал себе этот вопрос.

– Уже не получится. Я люблю эту страну и её людей, поэтому мы туда всё время ездим, но меня бесконечно удручает, как там обходятся с недавно обретённой свободой, как медленно идёт развитие. Безнадёжная бедность людей также невыносима, как и «захват страны» «новыми русскими», их неприличное богатство, которое повсюду выставляется напоказ.

Это уже больше не та страна, в которой я надеялся чего-то достигнуть, в которой я мог заниматься литературой эпохи Просвещения. Я каждый день тоскую об этой стране, и она остаётся моей Родиной. Но жить там – нет, я больше этого не могу. Мария, старинная подруга его семьи, сделала всё, чтобы заставить его написать заявление на получении пенсии в России за его многолетний труд в Институте им. Герцена. Он же лишь нехотя, преодолевая внутреннее сопротивление, начал заполнять нужные бумаги, и так это и не довёл до конца: – Я не хочу причинять дополнительный ущерб этому государству, каким бы оно не было, тем более, что мне эти деньги даже не нужны.

У меня было другое мнение, но я не хотела настаивать. Почему было не подумать о том, что эту пенсию за него могла бы получать его жившая в Ленинграде дочь, другие родственники или друзья, Гриша, например, его племянник, который мог бы покупать на неё необходимые ему дорогие лекарства? Я понимала, что он не может переступить через то, как с ним здесь обошлись, но я относилась к этому более прагматично. Ведь когда у нас не хватало денег, чтобы помочь всем, кто нуждался, он приходил в отчаяние. Как будто бы в нём жили два разных человека.

– Во Франции, – говорил он – во Франции я могу жить. И в Германии. Там на каждом шагу сталкиваешься с европейской историей, там ведутся оживлённые дискуссии о настоящем и прошлом – всё равно, нравятся они мне или нет. А в России я до сих пор не чувствую себя свободным, был только короткий проблеск свободы, прекрасных возможностей. В Америке же мне не вынести отсутствия истории – ты только взгляни на эти дома! Мне нравится, что меня туда всё время приглашают, но я с удовольствием оттуда каждый раз уезжаю. Я сама точно также жила то здесь, то там. И мне в США тоже не хватало почти тысячелетней архитектуры европейских городов, их церквей, замков и мостов. И мне бы тоже не хотелось там состариться, но пытался ли он когда-нибудь по-настоящему прочувствовать грандиозную красоту Нью-Йорка или совершенно уникальную эстетику Чикаго?

Я думаю, дело скорее было в людях и в языке. Они его раздражали, создавали ощущение потерянности. В Юджине ему было хорошо, потому что жизнь там течёт в другом темпе – спокойно, без волнений, в согласии с природой. В Орегоне ближайший лес всегда за углом. Это со многим его примиряло. А в Париже, где хоть и великолепная архитектура, но жизнь такая же нервная, как и везде, он понимал причины поступков людей, их образ действия, видел родство их мыслей с представлениями Вольтера и Дидро, Мольера, Сартра и прочих и мог влиться в жизнь этого города. Образ мысли большинства американцев был ему чужд, в то время как Германия, «страна поэтов и мыслителей», не смотря на всю её страшную историю, всегда оставалась для него отчасти духовной родиной. Когда его кто-то спрашивал, как он может жить в этой Германии с немкой, чаще всего он отвечал лишь одно: – Моей жене в конце войны исполнилось три года.

– Но её родители, всё поколение – откуда можно знать, что они не были среди палачей?

– Бабушка моей жены была еврейкой, а её отец погиб на войне, когда ей был один год, – невозмутимо говорил на это Ефим.

После этого все, кто задавал вопросы, умолкали, понимая, что их коллективная ненависть является другой формой расизма, в которой они не найдут у него понимания.

**Спектакль о Бродском**

Где-то в начале девяностых годов мы получили приглашение на Фестиваль русской поэзии в Оверни. Поскольку он должна была проходить летом, когда у меня был отпуск, я смогла поехать – в то время я ещё жила и работала в Орегоне. Я помню, что тогда было очень жарко, но нас разместили в замке, окружённом обширным парком. Ефим был почётным гостем. Кто-то написал пьесу о суде над Бродским, и Ефим тоже был одним из её героев, на фестивале эту пьесу должны были играть. Вообще, было много молодых драматургов – они собирались ставить и показывать здесь свои пьесы. В этом им должны были помогать именитые актёры и режиссёры, делясь своим опытом с остальными на мастер-классах, семинарах и в процессе самих театральных постановок. Ефим был в восторге, когда в списке участников увидел фамилию Юрского – уже тогда он был талантливейшим, выдающимся актёром, которого муж, зная лично, чрезвычайно ценил. Сегодня он относится к числу тех людей искусства и литературы, которых особенно ценит В.В.Путин, и которых часто приглашают в Кремль (что не мешает ему занимать критическую позицию по отношению к власти). Теперь он сам стал писателем, публикует кроме прочего стихи и сценарии, занимается режиссурой – многосторонний талант.

Насколько я помню, Юрский до того момента ещё ни разу не был во Франции и ехал в Париж вместе со своей женой Наташей на древнем «Форде» Ефима, радуясь, как может ребёнок радоваться Рождеству и предвкушая, что, наконец, увидит этот прекрасный город собственными глазами. Это было трогательно, очень по-человечески, точно также как его

полная юмора манера общения с дочерью Ефима Катей – она занималась актёрской игрой, и ещё в Ленинграде, будучи юной девушкой, училась у Юрского. Они обменивались воспоминаниями о том времени, мы надевали импровизированные костюмы, Катя принесла смешные шляпы, мы декламировали, много пили и ещё больше смеялись, где-то сохранилась фотография, сделанная тогда. Наташа – мне она очень понравилась – держалась немного сдержанно, у неё болела голова, и она рано ушла спать. Она казалась не очень счастливой, и я понимала, насколько это было сложно для неё, актрисы, бороться за собственное самосознание, утверждать себя рядом с таким гигантом. Мы с ней хорошо поладили, позже её сдержанность пропала и она настояла на том, чтобы подарить мне один из своих браслетов.

На прощанье она говорила мне трогательные слова. Наверное, поэтому примерно через десять лет – уже после смерти Ефима – приехав в Санкт-Петербург, я неожиданно для себя решила пойти на широко разрекламированный вечер Сергея Юрского, частично потому, что с радостью предвкушала его несомненный успех, частично из-за того, что очень хотела снова увидеться и с ним, и особенно с Наташей. Весь вечер он был на сцене один, ему удалось охватить все регистры – от серьёзного до комического, от тихого тона до громогласного. Это производило необычайно сильное впечатление, и публика принимала его с восхищением. Не хватало только маленького мальчика, из тех, кто шептал возвращавшимся с победой на триумфальных колесницах римским полководцам: «MEMENTO MORI» – «Помни, что ты смертен». Моя попытка встретиться с Юрским после спектакля, чтобы пару минут с ним поговорить, была смята напором поклонников (очевидно, контролируемым). Чтобы увидеться с ним, я вместе с остальными «фанатами» должна была ждать не меньше часа. Мне этого совсем не хотелось.

Прощай, Наташа. Как бы я тебя хотела снова увидеть.

Но пока мы ещё были во Франции, на фестивале в Оверни, в живописной вулканической местности недалеко от тысячелетнего городка Ле-Пюи, откуда начиналась одна из дорог, ведущих к мощам святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела. Куда ни глянь, нас окружали молодые лица. Ефиму бросилась в глаза красивая юная женщина с необычайно трагическим выражением лица. Слава Богу, позже мы увидели её весело смеющейся. В одном из больших залов дворца, ставших помещениями для репетиций, мне встретился один русский поэт-авангардист. – Моя фамилия Пригов, – сообщил он мне. Вскоре после этого он сделал хорошую карьеру со своими блестящими авангардистскими лингвистическими экспериментами. Тогда он тоже впервые был за пределами России. Сегодня его стихи уже очень известны. Во время общего завтрака один из молодых актёров, опустившись перед Ефимом на колени, с серьёзной миной заявил, что для него большая честь сыграть роль знаменитого Ефима Григорьевича Эткинда в той пьесе, о которой шла речь выше. Не мог бы он продемонстрировать Ефиму, как он предполагает сыграть его? Ефим, сдержав улыбку, внимательно его выслушал. Как мы увидели позже, Ефим напрасно уговаривал его умерить пафос.

Я смешалась с пёстрой толпой публики, прибывшей сюда со всей Франции. Некоторые спектакли проходили в поражавшей античной красотой крытой галерее. Как успешно французам – при всех их огрехах в строительстве на побережьях и в городах – всегда удаётся возвращать к жизни и естественным образом использовать старинные здания, являющиеся культурными памятниками! С одной среднего возраста парой я разговорилась. Мы представились друг другу, потом последовали вопросы о том, кто, откуда и зачем приехал. Они поинтересовались, как я сюда попала, не будучи ни актрисой, ни драматургом. Я честно сослалась на Ефима как на причину своего пребывания на этом фестивале. Они замолчали сначала поражённо, потом многозначительно, посмотрели на меня, потом друг на

друга. Затем мы заговорили о других вещах и в какой-то момент потеряли друг друга из виду, хоть мельком и встречались то в парке, то во дворце, то в монастыре. В последний день женщина подошла ко мне и по-матерински озабоченно спросила (по-французски):

– Конечно, это, должно быть, очень интересно, общаться с таким человеком, как Ефим Эткинд, но вы же не думаете о серьёзных отношениях?

– Почему вы об этом спрашиваете? Мы никогда об этом не говорили.

– Ну, вы молоды – не нужно себя поспешно связывать. Разница в возрасте… поймите, мы желаем вам только хорошего…

– Я очень благодарна вам за ваше участие, но я могу вас заверить, что полностью отвечаю за решения, которые принимаю. С Ефимом Эткиндом меня ничто не разлучит. Кстати, мне пятьдесят лет – это должно Вас успокоить. До свиданья!

Дама в удивлении удалилась, на лице её читалось недоверие – мне стало смешно. Приятно, конечно, когда тебя считают моложе, но принять меня за обманутую фанатку было всё-таки несколько глупо. Как-никак я уже 16 лет преподавала в университете, у меня к тому времени уже были взрослые дети и внуки.

Пьеса о суде над Бродским при всех добрых намерениях постановщиков оказалась не очень удачной, по сравнению с другими, гораздо более успешными – это была такая пёстрая биржа, такую встречу стоило провести уже только для того, чтобы увидеть, что представляет собой молодой французский театр. В последний вечер мы небольшой компанией сидели в окружённой зеленью ротонде дворцового парка, куда принесли оставшиеся от ужина хлеб, вино и сыр разных сортов. Медленно опускались сумерки.

Начался лёгкий теплый дождик и вместе с ним запели соловьи. Вокруг была такая тишина, будто нас здесь позабыли несколько веков назад. Мы невольно говорили всё тише, всё реже срывались с губ фразы, пока не испарились все слова. Слишком обилен был урожай последних дней,

захватывающей колдовская тишина ночи. Мы сидели и молчали, а жизнь падала на нас дождевыми каплями.

*

Сергей Юрский и Наташа приехали в Париж ненадолго, и скоро мы опять возвратились в Бретань. К нам постоянно кто-то приезжал в гости, мы встречались с друзьями, у которых тоже были дачи в округе. Это дало мне возможность соблазнить Фиму на дальнейшие экскурсии – вся это местность была полна самыми разными достопримечательностями, которые постепенно разрушались себе в одиночестве под действием ветров и дождей, не привлекая внимания докучливых туристов. Всё, что не находится в непосредственной близости к побережью, там мало замечают и ценят, пожалуй, единственным исключением из этого правила являются Карнакские менгиры. Каменные, часто фаллической формы сооружения времён каменного века, иногда до девяти метров в высоту символы глубокой древности, вписанные в окружающий ландшафт как заклинания, что нельзя расшифровать, в Карнаке (в Бретани) они тысячами стоят, расположенные в таинственном порядке. Когда больше двадцати лет назад мы проплывали на яхте по Атлантическому океану километров в 120 отсюда (мы сделали стоянку, чтобы съездить в Карнак), можно ещё было побродить между камнями по огромному полю, можно было потрогать их, ощутить на себе их загадочное воздействие – тогда здесь почти не было людей. Когда мы туда приехали с Ефимом, там уже кругом стояли заграждения, и за них могли заходить только организованные группы с экскурсоводами. Когда смотришь только со стороны, такого влияния, конечно не чувствуется, но впечатление всё равно потрясающее. Ефим лишился дара речи – он до сих пор ещё никогда не видел менгиров – мы долго фантазировали об их ритуальном значении и о том, какие таинственные силы были причастны к их появлению

здесь, столь же необъяснимому, как и возникновение святилища в египетском Карнаке, что находится вблизи Луксора, долины королей или пирамид неподалёку от Каира, не говоря уже о Стоунхендже.

Из Карнака мы поехали дальше на запад Бретани, к так называемым «кальверам» – это изваянные из камня изображения произошедшего на Голгофе, одним словом, распятия, поражающие своей простотой и составляющие причудливые ансамбли. На перекладине креста всадник на коне или сотня скульптур в декорациях, похожих на каменные комиксы – история в картинках, запечатлевшая ужас предательства и убийства бога. Большинству из этих необычных, в обилии представленных здесь произведений искусства, по меньшей мере, четыре сотни лет, иной мастер всю жизнь посвящал работе над одним таким свидетельством веры. Они как будто соревновались друг с другом: у кого выйдет самый невероятный, неожиданный сюжет? У кого будет больше фигур? Кто высечет из камня больше зверей, реальных или фантастических? С этими скульптурами мы сталкивались в каждой второй деревне. Часто они стояли вблизи церквей. Люди жили с ними, привыкли к ним, а у нас дыхание перехватывало от бесконечного многообразия и художественной силы этих монументов веры. Иногда рядом с ними играли дети, невинно приспосабливая фигуры для своих целей. Никому и в голову не приходило им это запретить. Мы видели маленькую девочку, которая улеглась спать на руках у низко стоящего святого – она устала, но ещё не хотела идти домой. Внизу терпеливо и тихо ждал её щенок. Серьёзно смотрел на свою ношу святой.

Так и должно быть, думалось нам. Так всё сохраняет свой смысл.

*

Последним пунктом в этой увеселительной поездке – уже без тайных трудов – было посещение давнего друга и коллеги Ефима Жоржа Нива. Его

загородным домом была старая мельница, вокруг которой были обширные угодья. Она располагалась на возвышенности, как это было принято раньше, внутри была удивительно просторной, снизу доверху в ней можно было обнаружить много занимательного. Мне вспомнилась Голландия, куда однажды меня свояченица возила к своей подруге – та тоже жила в бывшей мельнице. Самое большое помещение на самом нижнем этаже было восьмиугольным. Посредине, будто неведомый гигантский зверь, располагалось крыло. Все комнаты были асимметричными, чем дальше вверх по крутой лестнице, тем уже. Всё вместе выглядело неслыханно заманчиво – оригинально, непривычно и одновременно знакомо – жилой вид этому помещению придавали мелкие детали. Я навсегда запомнила тот дом и немного завидовала хозяевам.

Французская мельница Жоржа Нива была совсем другой. Было заметно, что Люсиль, его жена, не чувствовала себя здесь по-настоящему как дома и не затрачивала много сил на создание обстановки. Жорж, отремонтировав всё необходимое, часто хозяйничал там один, когда ему надо было работать. Поэтому атмосфера в этом доме царила скорее прохладная и деловая. Мысленно я сразу же начала обустраивать комнаты, слишком уж привлекательным было это необжитое пространство. Жорж, человек светский, всегда безукоризненно одетый, бегло говорил по-русски и по-английски, немного по-немецки, но не так охотно, и был привычно любезен. Они с Ефимом много работали вместе, прежде всего, в рамках уже упомянутого грандиозного проекта по истории русской литературы. Жил ли он уже тогда в Швейцарии? Я не совсем уверена. Позже он, в любом случае, приглашал нас туда, мы же так и не воспользовались приглашением. По его описаниям, у него там скорее был небольшой дворец, чем дом. У Жоржа была тяга к импозантности. Мы пили кофе в саду его загородного дома. Мужчины обсуждали свои проекты, в женском кружке (с нами была ещё его родственница) я рассказывала о своих прогулках в горах Орегона и в

Пиренеях – старое классическое разделение, которое, однако, иногда даёт весьма приятный отдых, к тому же я пользовалась случаем потренировать мой французский.

После этого мы поехали обратно домой по направлению к Динану. Всё было чудесно, но как мы всегда радовались, оставаясь вдвоём. Через две недели приехала со своей дочкой Саския. Я и сейчас вижу, как Ефим с трогательной бережностью держит в своих больших руках совсем недавно родившуюся девочку, как поглядывает на неё временами, будто пытаясь понять, как она себя здесь чувствует.

Мы провели вместе несколько приятно будничных, ничем не примечательных, мирных недель – как всегда, до краёв наполненных работой, любовью, плаваньем и прогулками. И Саския весело улыбалась, когда вечером Ефим спрашивал: *Можно?*

## Vedere Venezia e poi morire[45]

Увидеть Венецию и умереть. Я не знаю, какая она сегодня, но тогда этот город был действительно до смерти прекрасен. Я много раз бывала там, когда-то с друзьями, когда-то с дочерью, когда-то с мамой. Самым удивительным осталось первое впечатление: город был сияющее холодным, небо звеняще синим, вся красота будто за стеклом. Туристов почти не было. Во Дворце Дожей мы оказались совершенно одни, площадь Сан-Марко была будто выметена подчистую, лишь неизбежные голуби, как воплощенная чума, время от времени падали с неба. Я не люблю голубей, их обывательски самодовольный вид и жёлтые глаза, исполненные одной только жадности, будто бы их замаскированное под зрелище чревоугодничество есть важнейшая миссия.

[45] ит. Увидеть Венецию и умереть.

Но кое-что хорошее они всё-таки могут: коль туристы их так безумно любят, эти птицы собираются в местах их скоплений и не залетают в более отдалённые переулки. Те, кого восхищают голуби, проявляют гораздо меньше интереса к Палладио или театру Ла Фениче, кто предпочитает обедать в ресторанах на центральной площади, тот обычно не ходит по крошечным траттаториям, затерянным на крошечных площадях. Лишь немногие отваживаются пуститься вглубь лабиринта каналов, мостов и переулков, где живут своей обычной жизнью люди, где эхо от каблучков одинокой прохожей гулко как в туннеле, а после полудня все торговцы будто вымирают, ибо сиеста, послеполуденный отдых, для жителей священна. Едва ли какая из лавочек вновь откроется до вечера, глубоким сном спят кафе и ресторанчики – в это время город словно заколдован.

Стоял сентябрь, совершенно золотой сентябрь, и мы с Ефимом были вместе в Венеции. Всё здесь было ново. Он тоже бывал здесь, даже провёл здесь несколько месяцев гостевой доцентуры в местном университете с Марией («той, чьего лица не забудешь»). Она, наполовину итальянка, великолепно знает язык, и наверняка, это было совсем иного рода погружение в обычную городскую жизнь, совсем другое знакомство с менталитетом жителей. Я старалась не ревновать, не думать об этом. В конце концов, позже, Мария бывала здесь и со своим мужем, Иосифом Бродским. И я здесь однажды была влюблена, с тех пор, наверное, минуло уже лет тридцать. Если встать спиной к Дворцу Дожей и смотреть прямо на море, то сразу же увидишь маленький остров Сан-Джорджио. Прямо на берегу там возвышается фасад церкви архитектора Палладио, к которой примыкает принадлежащий её ансамблю дворец. Там должна была проходить заключительная часть конференции переводчиков русской и французской литературы, которая началась в Париже, продолжилась в Риме и вот теперь завершалась в Венеции. Одним из основных организаторов был Витторио Страда

Приехали и другие издатели Истории русской литературы, Серман и Нива, кроме этого было много других участников из России, некоторые из них впервые выехали за границу. Случайно я стала свидетельницей некрасивой сцены. Ефим взялся собрать кое-какие деньги для одной из своих русских коллег, у которой, по-видимому, в пути потерялся чемодан, чтобы та не оставалась целую неделю совершенно без средств. У него уже набралась приличная сумма, все были готовы помочь, даже те, у кого не было много денег, и вот он подошёл к Витторио Страда, тому самому, чей сияющий богатством и роскошью дворец Жорж Нива так красочно живописал нам после того, как побывал там в гостях. Я увидела, как лицо Страда болезненно искривилось – для него не было ничего более непереносимого, чем бесполезные, с его точки зрения, расходы. А что могло быть бесполезнее пожертвования в пользу одной из этих нищих с дикого востока? В считанные секунды он испарился, сопровождаемый взглядом Ефима, обескураженного такой бесстыдной жадностью и патологическим отсутствием чувства сострадания. Конечно, Страда давно забыл об этом эпизоде, в то время как у меня он навсегда останется перед глазами.

В остальном встреча получилась великолепной: по причинам, которые остались для меня тайной, нас с Ефимом одних разместили в том гигантском дворце, где проходила конференция. Все остальные участники остановились в гостиницах города. Мы занимали целый номер люкс с просторными в пять метров высотой комнатами, огромной ванной комнатой и видом на Гранд-канал и Дворец Дожей, а прежде всего на обе элегантные колонны, открывающие дворец со стороны моря, которые Наполеон назвал самой аристократичной прихожей в мире. При взгляде на этот ансамбль каждый раз захватывало дух. Доплыть до него мы могли на островном баркасе, находившемся в паре шагов от нас. Но сначала мы обследовали дворец. Выяснилось, что он скрывает одну тайну. Пройдя, по меньшей мере, через два неожиданно открывающихся просторных внутренних дворика,

попадаешь в сад, который вдруг оказывается огромным парком, простирающимся по всей поверхности маленького острова – настоящее сокровище в этом каменном городе почти без цветов и кустарников. Здесь можно было укрыться от всё ещё по-летнему палящего солнца; только тем, кто имел отношение к дворцу было разрешено прогуливаться здесь в перерывах между заседаниями, здесь царила восхитительная монастырская тишь, райский отдых можно было обрести здесь, устав бродить по дворцу, после душевного или физического напряжения, утомившись от обилия образов и бьющей через край красоты, сильнейшая магия которой в том, что она обречена на смерть. Мы чувствовали себя так, как будто были в этом парке совсем одни. То тут, то там нам встречался лишь один единственный участник конференции. Он подбежал ко мне и поцеловал руку, одновременно почтительно и восхищённо.

– Он в тебя влюблён, – насмешливо сказал Ефим.

– Вовсе нет! Скорее в тебя. Но тебе же он не мог поцеловать руку, иначе бы все его приняли за гея. Посмотри, как он сияет, когда тебя видит. Когда нас с тобой видит. Наверное, ему приятно видеть, как мы любим друг друга. Он сияет, потому что сияем мы, вот в чём дело.

Ефим недоверчиво покачал головой.

Дни принадлежали мне, а вечера и ночи нам обоим. Я взяла с собой видеокамеру, которую Ефиму подарила старшая дочь, хорошо зная, что он терпеть не может, когда его снимают, и также хорошо зная, что я смогу его перехитрить и запечатлеть его во множестве ракурсов. Камера и солнечные очки – этого было достаточно, чтобы отправиться на охоту. Как трогало меня это самозабвенное очарование детей, спокойствие облупившихся фасадов, полуденная тишина в час пана. Жара слепила, даже собаки с кошками забивались под тенистые арки домов, только порой встретится пожилая женщина, сидящая с рукодельем на крыльце своего дома, с белыми волосами под чёрным платком и тысячей маленьких морщинок. Они существовали на

самом деле, а не только в рекламных проспектах. Может, они размышляли о своей жизни, о разбившихся надеждах и нежданных удачах? О том, чего им ещё ждать в этом мире? Если я с ними заговаривала, они оказывались очень приветливыми, отзывчивыми и, как можно было подумать, всем довольными. Но кто может это знать наверняка? Однажды на ступенях фонтана я увидела всхлипывающую женщину, очень старую. Nonna[46], – попыталась я с ней заговорить по-итальянски, – nonna, che cosa? Ch`é passato? Posso aiutarle? (Что случилось? Могу я Вам чем-то помочь?).

Я беспомощно пыталась наскрести в памяти полузабытые итальянские слова. Она всхлипывала всё сильнее. Я села рядом с ней и стала ждать. Наконец, мне удалось разобрать несколько слов. Она говорила, что дочь выгнала её из дома, назвав сумасшедшей. Сказала, что больше не может с ней жить под одной крышей. Я попыталась представить себе свою мать в этой ситуации – не смогла. Она бы скорей умерла, чем кому-то пожаловалась. И я бы скорей умерла, чем увидела её сидящей вот так. Но как хорошо, что эта женщина может излить своё горе струям воды, шепча что-то про себя, жалея себя, открыть свою боль. Я сказала ей: – Ваша дочь уже наверняка пожалела об этом, она не хотела так говорить, просто разозлилась. Когда вы придёте домой, она будет просить прощения, и всё будет хорошо. Поверьте мне. Может, она опечалена чем-то, о чём вы не знаете. Может, нужно её расспросить… Идите домой, она точно вас уже ждёт.

Я представила себе, что моя мама вот так сидит где-то на ступенях и плачет. На секунду мне показалась, я поняла, как это умереть от разбитого сердца. Я никогда не видела, чтобы моя мать плакала. Это бы повергло меня в самое крайнее отчаяние. Как по-другому всё было раньше. Как дисциплинированно взрослые скрывали свои чувства. Я знаю, что были вещи, из-за которых она должна была много плакать: когда отец погиб на

[46] ит. бабушка

войне – ей тогда было тридцать два года, и у неё было четверо детей, в том числе и я, полуторагодовалая, когда мой брат из-за смешного экзамена сбежал в иностранный легион, когда она рассталась с её, появившимся позже, любимым человеком, потому что тот боялся вечного проклятия, которое могло его постигнуть, если бы он бросил свою страшную жену. Она никогда нас этим не отягощала, со строгостью прусского воспитания решая всё для себя сама. Как жаль! Как бы я хотела её обнять, показать ей, что в том, что она считает своей слабостью, есть её сила – но, стоп: разве я сама не такая же?

Разве мои дети видели, как я плачу? Мой сын видел однажды, когда вёз меня в аэропорт, откуда я улетала жить и работать в Америку. Мама молча и храбро стояла на лестнице – и вдруг она показалась мне такой маленькой, такой хрупкой, что я почувствовала себя преступницей. А моя дочь? Да, она тоже. Первый раз, когда умер Ефим. Она вместе со мной не спала, сидела рядом в палате интенсивной терапии, как и я прислушиваясь к его последним невнятным словам, которые он в коме произносил – было понятно только, что он говорил по-немецки. После этого как будто исчез барьер, и я уже не делала ни малейшей попытки сдержать слёз, если они прорывались наружу. А они часто прорывались. Каждый раз, когда я вспоминала его имя…

Стоп! Пока ещё мы были в Венеции. Из круговерти мыслей я вернулась к действительности. Чтения уже должны были закончиться.

Я поспешила назад, успела поймать баркас и вернулась как раз вовремя, до того, как Фима начал меня искать. Он достаточно пережил, чтобы то и дело пугаться, когда где-нибудь ждёт меня, а я всё не прихожу. Он сразу же начал рассказывать о докладах, о людях, кто ему понравился, а кто разочаровал. Он безошибочно подмечал смешное в их выступлениях – самолюбование, тщеславие, неискреннюю лесть, за которой скрывается критика и соперничество, но также и большую научную порядочность… Он видел всё и всё прощал кроме низости и безудержного эгоизма.

Теперь мы могли насладиться вечером и нашей свободой. До утра мы были никому ничего не должны. И вот мы уже ныряли в тень мостов и арок, которые становились всё меньше, чем дальше мы отдалялись от площади Сан-Марко. Только никаких дел больше, только не водить больше по этим путаным улицам не знающих города русских коллег, только не отвечать ни на какие вопросы. Я дарила ему всё, что мне удалось открыть за день, каждый крошечный сад на крыше, каждый потаённый портик, каждый мостик, заканчивающийся нигде, каждую скульптуру на обочине дороги – и фонтан с плачущей бабушкой, которая уже исчезла. И тут я вдруг подумала, что один – до сих пор единственный – раз видела, как плакал Фима. Это было, когда он читал мне речь, которую должен был говорить на похоронах Льва Копелева.

Странно, что в Венеции столько всего грустного приходит в голову. Или всё-таки в этом нет ничего странного? Или это только я такая? Могу ли я не упомянуть о том, как мы ездили на знаменитое венецианское кладбище Сан-Микеле? Когда была организована поездка на могилу Бродского, все поехали как на обязательное мероприятие – обычный акт уважения и памяти. Но для Фимы это было путешествие в прошлое, в историю его жизни, в его личную историю страданий. Не защищай он тогда своего друга в суде, жизнь бы его сложилась совсем по-другому, ему не пришлось бы уезжать из страны, и, может быть, мы бы с ним никогда не встретились. Не превозноси он так поэтическое искусство молодого поэта Бродского, может быть, Мария, «та, чьё лицо не забудешь», не увлеклась бы им, и не стала бы его женой.

Он стоял на могиле Бродского, там, где всего несколько лет назад стояла Мария, и я видела, как по его лицу пробегали тени облаков – светлые, тёмные, мерцающие. Бродский любил Венецию и проводил здесь с Марией много времени, написал здесь свою прекрасную венецианскую прозу и много стихов. Напротив него лежит Стравинский, который мне ближе по духу, и Дягилев, доведший своею ревностью до безумства восхитительного

Нижинского. Что за собрание противоречивых характеров, талантов, русских судеб! Но Ефим слишком любил жизнь, чтобы допускать мысли о смерти.

Ах, как хорошо, – говорил он, – что ты со мной. Что бы я здесь делал без тебя?

И когда мы, наконец, оставшись одни, сидели в траттатории, где нашли настоящее вино, он непременно должен был вновь возвратиться к тому первому слову, которое я узнала от него по-русски, как будто бы оно было ключом к нашей сокровенности.

*– Поехали – Милая!*

**Интермеццо**

В середине девяностых мне снова пришлось ехать в Юджин на квалификационные экзамены к моим докторантам.

Когда я возвращалась в Европу, они чувствовали себя брошенными, один даже осыпал меня горькими упрёками, проливая гневные слёзы у меня в кабинете. Но во времена интернета можно общаться самыми разными способами, и я обещала, что буду присутствовать на их последних экзаменах. В США присуждение докторской степени (Promotion) – это очень торжественная церемония. Облачившись в мантию, я должна была на публичной церемонии надеть своим кандидатам академические шапочки. Всё проходило на сцене, в ярких лучах солнца под открытым небом в присутствии специально приехавших родителей и исполненных гордости родственников – жалко, что в Германии это мероприятие стало таким будничным. Поскольку в США отсутствует процедура получения доцентуры (Habilitation), то получение докторское степени означает собственно вступление в научное сообщество. Ритуалы имеют значение. И американцы любят ритуалы.

Я провела в Юджине ещё несколько дней, встретилась с моими друзьями, студентами, сходила в горы, съездила к Тихому океану, и вот уже срок моей поездки подошёл к концу. Меня принимали сердечно и тепло, всё было прекрасно, но это больше не был мой дом. Фима ждал.

Он знал, что на обратном пути я планировала задержаться в Нью-Йорке, чтобы встретиться с друзьями и Марией («той, чьего лица не забудешь»), его прежней подругой. Она даже организовала для меня маленькую квартирку в Бруклине. Квартира принадлежала её знакомым, которые были в отъезде и оставили ей ключ. Мне не терпелось с ней встретиться.

Всё получилось странно, почти смешно: мы мгновенно нашли подход друг к другу. Мы оказались абсолютно разными, но внезапно симпатия к одному и тому же человеку, хоть у каждой она была своя, нас объединила. Её муж, Иосиф Бродский, уже умер. Как она мне рассказала, он умер тихо и незаметно в своей кровати в ночь перед тем, как ему должны были сделать третью операцию на открытом сердце. Когда она подошла к нему, было уже слишком поздно. С тех пор у неё даже изменились отношения с матерью, теперь она уже превосходила её по опыту, который изменил её самосознание и сделал более самостоятельной в общении с родителями. Странным образом, это сказалось и на её отношении ко мне. Хотя я была гораздо старше её и десятилетиями в одиночку ездила по свету, она говорила со мной отчётливо заботливым материнским тоном, так, как будто бы я впервые была в США и, вообще, была несколько непрактичной и беспомощной. В то же время она была чрезвычайно приветливой и всегда была готова прийти на помощь, рассказывала мне о своей дочери, которая, правда тогда оставалась у бабушки с дедом, о своей работе в школе. – Ты гораздо больше подходишь Ефиму, чем я, – горячо заверяла она меня, как будто хотела запоздало оправдать то, что отказалась от него, или укрепить меня в моей уверенности. Было и без того понятно, что я того же мнения. Но мне было приятно, что она это сказала. Я знала, что она была очень привязана к своему строгому

отцу, и думала, что в Ефиме она чтила его отражение. Всё-таки она была на сорок лет младше него. С Бродским же у неё была примерно такая же разница в возрасте, как у нас с Ефимом. Но существенную разницу составляет и то, сколько лет тому (или той), кто младше – двадцать шесть или почти пятьдесят, как мне, у которой к тому времени за плечами была насыщенная богатая событиями собственная жизнь. Мы много часов подряд болтали и пили чай. Я смотрела на неё и понимала Ефима. Её красота была нежной, без кокетства, и в этом заключалось её непосредственное воздействие. Но она мало улыбалась, излучала какую-то грусть, как и на всех тех фотографиях, которые я видела. Никто не может знать, что у человека внутри. Была ли она счастлива с Бродским? Или ослеплена его значением?

Очевидно, у нас обеих была мысль помирить Ефима и Бродского.

Прощаясь, мы крепко обнялись. Я поверила, что она рада за Ефима, оказавшегося в сильных любящих руках. Годы спустя, на его похоронах в Париже, я вдруг увидела её. Она сидела среди многочисленной публики, среди которой многие знали её с прежних времен, она приехала из Милана, где навещала свою семью… Так она сидела там, никого не пытаясь найти взглядом, опустив голову, три часа подряд. Я видела, что она – единственная из всех – всё время тихо плакала. Позже мы обнялись как две сестры, объединённые одной тайной, и я смогла поблагодарить её за те прекрасные цветы, которые она прислала в Бретань. Там Ефим был предан земле, после чего она незаметно исчезла.

## Петербургский кризис

По два-три раза за год мы ездили в Санкт-Петербург. К тому времени я уже там многих знала: всю семью первой жены Ефима Кати, больного племянника Гришу, сына его брата, со скромной и порядочной женой Тамарой и их единственным сыном, которым оба гордились. Ольгу Ягудину с её матерью, которая чем-то, может быть, своей тихой приветливостью и снежно-белыми волосами напоминала мне мою мать, одарённую во всех видах искусства дочь Ольги, Анну, у которой в один прекрасный момент появился сыночек. Конечно, всю семью Жирмунских, в которой он почитал своего университетского учителя Виктора Жирмунского: Алю и её дочь Машу – обе были чрезвычайно талантливыми художницами, которым мы всегда старались привезти хороших красок из Германии и которые взамен щедро одаривали нас картинами. Они и сегодня висят в моей берлинской квартире и радуют меня каждый день. Даниила Гранина и его жену, конечно, писателя Израиля Меттера, который всегда говорил: – Обязательно приходите сегодня, кто знает, буду ли я завтра жив ещё. Он, и правда, рано умер и под конец жизни уже не мог ходить. Дьяконовых – старого друга и военного товарища Ефима и его жену Нину, которая читала лекции в университете на английском языке, когда ей уже было за восемьдесят. Она была единственной, кто интересовался моей работой. Все остальные без исключения сразу же бросались к Ефиму, задавали ему тысячу вопросов о его книгах и планах, о его путешествиях, приглашениях и докладах. Мы вели одинаковую жизнь – кроме того, что я ещё преподавала в университете и работала в многочисленных коллегиях – хотя мы оба постоянно писали книги и статьи, выступали на конференциях, появлялись в обществе, но того, что делала я, как будто не существовало. Я была женой Ефима, больше они знать ничего не хотели. В России всё еще силён мужской шовинизм. Женщина должна быть, по возможности, молодой, обязательно красивой, она

может позволить себе быть немного таинственной, и в её жизни должен случиться хотя бы один «роман». Будучи женой известного человека, она непременно должна молиться на него, по возможности подарить ему детей, которых она обязательно должна держать от него подальше, воспитывать более или менее в одиночку, поскольку муж всё время занят. Поскольку это, как известно, отнимает много времени, ни на что остальное у неё этого времени практически не остаётся, то, чем она занималась до замужества, и как страстно она любит свою работу, значения не имеет. В случае сомнений выбор всегда делается в пользу мужчины. Если она, будучи менее образованной, при этом очень прилежно трудится, часто подолгу не получая зарплаты, а бывает, что кормит и даже одевает своего мужа – как в случае Гриши и Тамары – к этому относятся как к чему-то само собой разумеющемуся. Если муж умирает, то жена должна непременно оставить все свои дела и предаться памяти о творчестве мужа, например, издать всё то, что он не успел. Женщин в сфере искусства воспринимают всерьёз, только если они добились широкого признания ещё до замужества. И так далее.

Лишь немногие думали иначе – прежде всего, мой любимый Гриша Бергельсон, лучший друг Ефима с давних пор, диссертация которого по странному совпадению посвящена человеку, именем которого в Потсдаме назван дом, где проводятся выставки и находится ресторан – вилла Келлерманна. Гриша говорил на чистейшем немецком и делал всё, чтобы его внучка Ольга знала этот язык точно также. Он безмерно ей городился – как это здесь часто бывает, три поколения этой семьи жили под одной крышей – и каждый день занимался с ней немецким языком и литературой. Позже она будет изучать их в университете, который закончит также блестяще, как и школу. У Гриши было то, что Шиллер называл «грацией и достоинством», и это связывало его с Ефимом. Он никогда не хвастался, не лез вперёд. Они с Ефимом безусловно, взаимно и очень сердечно любили друг друга, и я чувствовала, что в этот, длившийся уже более пятидесяти лет союз Гриша

полностью включил и меня. Он всегда был первым и последним, с кем мы встречались в Питере. Как будто он нас преданно охранял.

Когда мы с Ефимом приходили в гости к нему и к его жене Марине, та, как правило, ещё стояла у плиты. Но он бегал то туда, то сюда, помогал ей, накрывал на стол, всё приносил, и вот, наконец, появлялась и сама хозяйка, со своей приветливой улыбкой, с тихой радостью от того, что нам – как всегда – нравятся приготовленные ей блюда и тихим участием во всех наших разговорах, с её настойчивыми расспросами. Было такое чувство, что она сохраняет всё услышанное в своей памяти на случай, если это вдруг понадобится.

Также было у Ольги Ягудиной с её матерью и дочерью. Здесь не чувствовалось никаких предрассудков, тебя принимали таким, какой ты есть. Ольга излучала буйную жизнерадостность, участвовала во всех художественных экспериментах дочери и поддерживала её изо всех сил. Каким живительным было общение с ними! Как много мы смеялись и дурачились, какими вдруг порой становились глубокомысленными – но никогда слишком надолго. Все три женщины очень хорошо говорили по-немецки, но я отважилась здесь испробовать свой пестрящий ошибками с трудом выученный в Америке русский. И был ещё кое-кто, всегда интересовавшийся тем, что я делаю: Лиза, петербургская дочь Ефима. Я её очень полюбила. Когда мы приезжали в Петербург, через пять минут начинал звонить телефон и звонил потом уже по двадцать пять раз на дню. Казалось, Фима к этому привык. С бесконечным терпением и почти детским любопытством, – кто на этот раз? – с искренней радостью или подлинным участием он слушал, переспрашивал, печалился вместе с теми, кто грустил и радовался вместе с теми, кто бы весел. Но в начале девяностых, грустное, скорее, перевешивало – кругом говорили о болезнях, бедности, несчастьях, потерях. Постоянно случалось что-то ужасное. Раз за разом я удивлялась, с какой покорностью, терпением, стойкостью и даже юмором люди сносили

самые чудовищные обстоятельства, как храбро и естественно они воспринимали то, чего не могли изменить. Часто это были именно те черты характера, которые я знала из русской литературы: безудержность в счастье и в любви вместе с беспредельностью страдания, ненависти и терпения.

Есть то, что неизменно исходит из самого человека, и есть то, что становится клишированным представлением о нём. Сила Ефима – и все искали в нём эту силу – питалась из глубокого доверия к жизни, из его любовных воспоминаний обо всём, что было, из благодарности за свою судьбу, которая вместе с сильнейшими несчастьями вновь и вновь посылала ему нежданное счастье и из его умения наслаждаться каждым мгновением. Он мог примирить противоречия, собрать вновь то, что было растеряно, ему удавалось напоминать другим об их способностях, сделанное ими он не уставал хвалить. Казалось, зависть была ему чужда, а для ненависти он был недосягаем. Его радость успехам других была искренней и заразительной – редкая способность. Я хорошо понимаю, почему все всегда непременно хотели рассказать ему о своих обстоятельствах, так жаждали его участия: каждый чувствовал, что его принимают всерьёз, каждый был для него ценен и значим, для каждого он находил необходимое время и внимание. И всё-таки он не был Алёшей, каким-то сверхчеловеком, святым – он был обычным человеком со своими противоречиями, но у него была харизма того, кто изначально любит людей, уважает их и никогда не осуждает.

Иногда мы получали по три приглашения в гости на дню. Для Ефима было само собой разумеющимся, что я везде должна была его сопровождать. С самого начала я открыла своё сердце для всех тех, кто был для него важен, медленно и с трудом всё больше училась понимать по-русски, просила, чтобы он переводил мне то, о чём говорится и пыталась принимать участие в разговоре, пыталась проникнуть во все эти судьбы. Люди были новыми, новыми были культура и язык, новыми были и проблемы. Для таких вещей нужно много сил. Меня всегда очень трогало, как Ефим представлял меня: –

Это моя жена Эльке, она мой лучший друг. Он хотел сказать этим: – У меня нет от неё тайн, я полностью ей доверяю. Она всё понимает и вам не нужно что-то скрывать в её присутствии. Но и ему было трудно. Я до сих пор слышу его голос: – Тихо! Эльке говорит… Ему хотелось, чтобы меня послушали – ведь я не только лингвист и литературовед, но ещё и психолог, и психотерапевт. Он хотел, чтобы и я сама, и другие знали: меня стоит послушать, мне есть, что сказать в их кругу. Женщины это быстрее понимали. Каждый раз я чувствовала, что они проецируют на меня что-то от собственной невыслушанности, изо всех сил стремясь изменить это положение вещей. Мужчины часто были просто вежливы и замолкали на время, потому что Фима об этом просил. Но все всегда бывали довольны, если мне удавалось их рассмешить.

Столько, сколько тогда на меня обрушилось, было больше, нежели человек может воспринять при всём своём желании. Я восхищалась всеми этими женщинами, внешне всегда такими мягкими, такими терпеливыми, тем, как они всегда уступали, чтобы дать возможность мужчинам покрасоваться друг перед другом. О своих делах они говорили, только если Фима спрашивал; мужчины в это время замолкали и ждали первой же возможности, рассказать о своём, конечно же, более важном: об автобиографиях и докладах, о почестях и обидах, о «романах» и детях… Может быть, с самого начала я его слишком приучила к тому, что всё готова разделить с ним, что всем интересуюсь и всё непременно хочу понять, прежде всего, потому, что это важно для него. То же самое продолжалось и в Париже: снова другая культура, сломленная эмиграцией, собственное страдание, собственный опыт. Когда мы переехали в Потсдам, и он оказался в моих жизненных условиях, то он гораздо лучше меня умел отграничиться от всего, чтобы оставить время для своей работы. Исключением всегда была только моя семья и, конечно, моя работа в университете, даже если к последней он время от времени и ревновал. Несказанными были его

облегчение и радость от того, что я отказалась выдвигаться на должность заместителя декана, а потом и декана, чтобы больше времени посвящать ему. Но отказался ли бы он на моём месте от столь почётных обязанностей? Я не уверена. Когда я работала над какой-нибудь статёй, и мне чаще нужно было ходить в библиотеку, он иногда в шутку говорил: – Зачем я сюда приехал, если тебя всё время нет? Я точно также могу уехать в Париж.

Но я очень хорошо понимала, что в этой шутке была и толика правды, и это меня расстраивало. Я целиком должна принадлежать ему, а он принадлежит всем. Конечно! Он же Монумент! Ему нравились мои друзья, но он бы никогда не стал проводить с ними столько времени, сколько я, как будто это само собой разумелось, проводила с его.

Однажды, когда мы в очередной раз были в Петербурге, чаша терпения переполнилась и глубокая грусть завладела мной. В какой-то момент я начала плакать, плакала всё сильнее, несколько часов. Пока он, наконец, не услышал. Он сел рядом со мной. Я не могла говорить, содрогаясь от слёз. Тридцать лет подряд я сама определяла свою жизнь, сама планировала своё время, сама выбирала друзей и подруг, в одиночку принимала важные решения, не будучи обязанной отчитываться перед кем-нибудь. Шла, куда хотела, когда и с кем хотела. Несмотря на то, что у меня было двое детей, у меня имелось достаточно свободы, чтобы, работая в университете и участвуя в самых разных коллегиях, писать книги и статьи, выступать с докладами во многих странах и разных частях света, встречаться с друзьями…

А сейчас у меня было чувство, что я превратилась в потухший вулкан, без творчества, без планов, без крыльев, которые мне давала абсолютная независимость, стихийность. Всё это с рыданиями вырывалось из меня, я пыталась ему всё объяснить, видела его растерянное лицо и, при всём его желании понять меня, чувствовала барьер.

– Но почему ты просто не начнёшь писать новую книгу, если ты этого хочешь? Почему ты отменяешь свои планы? Я ведь всё отбрасываю, если это мешает работе.

Это было правдой, даже слишком правдой! В этом он был мастер. Только никакие русские дела нельзя было отбросить и никакие французские! Чем больше я говорила, тем больше чувствовала, что права и неправа одновременно, и что он не совсем правильно меня понимает. Я ведь сама могла распоряжаться своим временем. Мне нужно было изменить представление о самой себе, избавиться от своей склонности к перфекционизму, требовать не только от себя, но и от него. Он ведь брал только то, что я ему щедро дарила. До сих пор я никогда не жаловалась – откуда ему было знать, что я постоянно делаю то, что свыше моих сил? – Нет, очень хорошо он мог это знать! – кричало всё у меня внутри. Уже по тому, сколько времени мы проводили в разговорах о его заботах, о его стране, о его делах, он мог понять, что для меня времени остаётся слишком мало. Откуда он берёт силы, которые дарит всем, если не получает их вновь и вновь от меня? Как часто он говорил, как часто вздыхал: – Элькеляйнхен, если бы тебя не было, мне бы уже совсем не хотелось жить.

Мы говорили, замолкали и говорили снова, сначала сбивчиво из-за моих рыданий, постепенно спокойнее – испуганная растерянность в его глазах исчезла. Слишком быстро? Слишком послушно? Я этого не знала. Наконец, мы решили, что я буду его сопровождать, только если это мне самой будет интересно; что в России за покупками будет ходить он, потому что мне была до глубины души отвратительна оставшаяся ещё с советских времён система торговли, когда чувствуешь себя виноватым, прервав чтение неприветливой продавщицы. Вот когда мы у себя будем принимать гостей – а мы это часто делаем – я с удовольствием приготовлю им что-нибудь особенное. В конце концов, на меня всегда производила огромное впечатление щедрость, с которой нас везде угощали, мне даже было стыдно, потому что я знала,

насколько низки доходы тех, кто удивляет нас таким великолепием. Я полюбила русскую кухню, тосты, весёлый нрав людей, их теплоту, которую чувствуешь повсюду – и водку, с которой Ефим всегда выпивал немного больше чем нужно, так что начинал нечётко произносить согласные. Намёк на это обстоятельство был сигналом, при помощи которого мне его в большинстве случаев удавалось остановить так, чтобы при этом другие ничего не поняли.

Позже его лечащий врач подтвердил, что каждая лишняя рюмка питала его болезнь, рак – это дремавшее чудовище. Но тогда мы об этом ещё не знали. Постепенно грусть моя развеялась, с тех пор, как мы поговорили, я стала осторожнее раздаривать своё время и, в конце концов, решила сама для себя, что буду, по возможности, наслаждаться каждой минутой, проводимой с Ефимом, если от этого не страдают мои собственные проекты. Я не могла не помнить, что он на двадцать три года старше меня. Мы не знали, сколько нам было ещё отведено времени. А потому я решила придерживаться принципа: Carpe Diem! Как я оказалась права!

**Дочь Лиза**

Когда я её впервые увидела, у меня сердце сжалось, так она была похожа на Ефима: его глаза, его нос, его губы, даже в осанке что-то было от него – тот же наклон головы. Она была похожа на него гораздо сильнее, чем другие дочери, которые пошли скорее в мать или в бабушку – во всяком случае, не в него.

У неё было что-то робкое во взгляде, так, как будто ей постоянно приходилось быть настороже, но в то же время она любила смеяться, совершенно безудержно и почти по-детски, и я сразу же приняла её в своё сердце. Мы с Фимой ждали чего-то совсем другого: у него годами было впечатление, что мать недовольна дочерью. От русских друзей и

родственников Ефим знал, что порой мать и дочь не очень ладят друг с другом – вообще, это совершенно нормальная ситуация.

Просто Лиза была другой. У неё были свои планы на жизнь, даже если в них ещё и не было ясности. Она становилась старше, и её всё больше тянуло в театр, а не в университет. Если не играть на сцене – у неё не было денег на соответствующее образование – то хотя бы быть в театре, немного подрабатывать, например, продавать билеты, получая за это немного денег, дышать воздухам театра, знакомиться с интересными людьми – просто быть свободной. Кто спрашивал Лизу, что на самом деле у неё на душе? Кто смеялся и играл вместе с ней? Кто мог обнять её и расспросить, что она думает о жизни?

Кто попросил её прочитать её тексты – да, её тексты? Ведь Лиза начинала писать. Когда в начале девяностых они с матерью приезжали к Ефиму в Париж, она отдала отцу – чужому для неё человеку, который казался ей скорее строгим и неприступным, пачку листов. Он прочитал её и в этот же день позвонил мне в Орегон: – Представь себе, она пишет. У неё есть способности. Пожалуй, ещё слишком грустно пишет, но, однозначно, талантливо. Я была поражена… – Ради Бога, скажи ей, подбодри её, как ты это умеешь делать. Кто знает, сделает ли это кто-то ещё?

Ты же видишь, какие у тебя предубеждения были по её поводу, или, может быть, ещё есть. Ты всегда слышал только одну сторону…

– Верно, но я теперь сам понимаю, как всё сложно. – Потому что, на самом деле, им обеим грустно. И не забывай: одна старше, а у той, что младше, возможно, нет человека, которому бы она могла доверять. Когда в Петербурге я познакомилась с Лизой, то удивилась, как ласково и нежно она относилась к своей матери. Ефим рассказывал, как однажды в Париже, отведя его в сторону, Лиза тихонько сказала ему: – Мама не виновата, что часто у неё не хватает терпения на меня. Она не думает того, что говорит – я знаю, что разочаровала её.

Вновь и вновь я понимала: Лиза хорошо разбирается в людях. Она человек без предрассудков и с её точки зрения каждый должен оставаться таким, каков он есть. Она очень наблюдательно и знает униженных и оскорблённых не только по Достоевскому. Хотя Ефим чаще всего использовал психологию для анализа литературных произведений, в один прекрасный день он всё-таки где-то глубоко внутри осознал, что это он причинил здесь только вреда и несчастья.

Втайне я вновь поблагодарила мать Лизы за то, что в один из наших первых визитов в Петербург она избавила меня от всякого чувства вины, когда сказала: – Не думай, что у меня есть обида или ревность из-за того, что вы теперь с Ефимом вместе. Я просто поняла, что у нас ничего не выйдет. Это я предложила расстаться, после того, как мы попробовали тогда пожить вместе в Париже. Лучше так, как сейчас.

Но, конечно, я сама хорошо знаю, как противоречив часто бывает человек, и как сердце может говорить одно, а разум другое. Лиза до сих пор – в отличие от меня – является хозяйкой маленькой, но симпатичной квартиры, которую подарил ей Ефим, после того, как мы, по его желанию, продали нашу большую квартиру на Невском. Он считал, что там было слишком мало зелени, слишком много шума, криминальных личностей, переполненных мусорных баков и слишком темно. Десять тысяч долларов, которые я заняла у друзей, чтобы заплатить за эту первую квартиру (у Фимы тогда вообще не было денег), через пару лет так возросли в цене, что на вырученные деньги мы смогли купить две маленьких квартиры: одну для Лизы, и одну, на окраине города, для нас самих. Эта квартира принесла всем нам много надежд и разочарований, хоть мы с Ефимом её и очень любили. После его смерти я её продала.

Когда теперь я приезжаю в Санкт-Петербург, что бывает нечасто, я встречаюсь с моей подругой Женей и ещё с Лизой. Она подняла дочь Машеньку – иногда с другом, иногда с мужем, иногда одна. Малышка

выросла, стала открытой и приветливой, великолепно рисует и, как пишет мне Лиза, как раз закончила школу с хорошими оценками. Как и все дети её поколения, она великолепно управляется с компьютерами и мобильными телефонами. Их с матерью отношения исполнены любви и уважения – обычные отношения, в самом лучшем смысле этого слова. Я бы с удовольствием пригласила девочку к себе в Германию. Мы могли бы говорить по-английски, она бы выучила немецкий. Лиза много лет подряд преподаёт английский и сама зарабатывает на жизнь. Когда я спрашиваю её, не нужно ли ей чего-то, она с достоинством и гордостью отрицает это. Лиза стала более зрелой и, с моей точки зрения, более красивой, она уверенно смотрит на меня с фотографии. Я бы очень хотела с ней снова встретиться. У неё по любой теме своё независимое мнение, и она его высказывает, вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет. Именно это я в ней и люблю.

**Лирическая интермедия**

Когда такое было в последний раз – чтобы мы просто ехали по дороге, опьянённые роскошными красотами вокруг, останавливались, где хотели, сидели на траве, пили вино, устраивали пикник, дремали, прогуливались, ехали дальше… Что там за теми деревьями? Подбежав, мы увидели древнюю серую кладку. Может, это стена крепости или замка? Теперь их окружала глубокая тишина, такая глушь, как будто сюда сто лет никто не заглядывал.

– Ты принц, придумай что-нибудь!

В совершенном спокойствии он подошёл к низенькой дверце в стене, пошарил в буйных зарослях зелени, с помощью волшебной палочки нашёл невидимую проржавевшую ручку дверного звонка и потянул за неё. Ничего не послышалось. Я стала смеяться над ним:

– Немного побольше магических средств тебе бы не помешало – или хотя бы белый конь, садовые ножницы против колючек или иерихонская труба.

– Тихо, тихо! Я что-то слышу, – мы стали напряжённо вслушиваться. Ничего. Фима снова потянул за ручку: – Эй! Эй! Есть здесь кто?

– Рапунцель, Рапунцель, опусти свои волосы вниз! – вспомнила я.

Молчание. В лес мы дальше не пошли и уже собрались уходить.

Тут я сказала: - В сказках же нужно трижды позвать. Попробуй ещё раз!

Фима потянул ручку звонка и прокричал: - Эй, есть здесь хоть одна живая душа? Может, слово «душа» помогло? А может, то, что это была третья попытка? Что-то заскрипело и нехотя повернулось в петлях. Высоко в башне открылось окошечко, и из него показалась древняя старушка. Я не верила своим глазам, Фима же оставался невозмутим, как будто он ничего другого и не ожидал. – J`arrive – mails il prends quelque minut. Attendez…! (Я сейчас спущусь, но мне нужно немного времени – подождите…) – прокаркала она. Мы ждали довольно долго. Наконец в замке повернулся ключ, и открылся вход, которого до этого мы совсем не заметили. Старушке, должно быть, пришлось одолеть множество ступеней, спускаясь вниз. Нам стало немного совестно. – Madame - excusez moi – est-ce-que vous avez une chamber pour une nuit? (Здравствуйте, мадам – простите, пожалуйста, у Вас не найдется комнаты для нас на одну ночь?)

Ефим сказал это, только чтобы с ней о чём-то немного поговорить и удостовериться, что она из этого мира, а не призрак из далёких веков. – Mais oui,[47] – приветливо прокаркала она, внимательно глядя на нас. – Весь замок пуст. Здесь только я живу. Я дам Вам комнату в башне. Я не могла поверить – Спящая красавица постарела – почему бы и нет? – подумала я про себя. - В конце концов, это было бы гораздо лучше, чем скучная вечная молодость. Неудивительно, что Ефиму удалось пробудить её к жизни. – Сюда, вообще,

[47] Ну да!

кто-нибудь когда-то заглядывает кроме нас? – спросили мы. - Oui, Oui,[48] лесничий каждые три-четыре недели приходит посмотреть, жива ли я ещё и приносит мне кое-какие вещи. Мне тут хорошо, - она таинственно улыбнулась. – И знаете, я ведь не одна здесь. Там - посмотрите сами – она указала на обширную галерею предков, размещённую по высоким стенам просторного зала, в который мы тем временем вошли - там у меня большая компания. - Я не всех их выношу, но я могу выбрать, с кем из них хочу жить, - каркала она с довольным видом. И в самом деле, она не выглядела одинокой, только, кажется, говорить немного отвыкла. – Но наверх вам придётся подниматься одним, - сказала она нам, - второй раз за сегодня мне этого не осилить. Просто идите и всё, там не заблудитесь.

Наверху мы обнаружили квадратную комнату с тремя маленькими окнами, выходившими на три стороны, скромной обстановкой и гигантской кроватью с пологом без занавесок. Ефим был в таком же восхищении, как и я. – Видишь, - говорил он торжествуя, - лишь небольшая попытка и вот уже волшебство смотрит изо всех щелей. Разве она не удивительна, эта старая женщина, живущая здесь в одиночестве и вполне довольная своим существованием? – Это Франция, - добавил он так, как будто бы только что это открыл. Это была колдовская ночь, тишину которой нарушали только раздававшиеся то здесь, то там крики сычей да шелестевший листьями лёгкий ночной ветерок. Утром хозяйка даже подала нам жидкого кофе с ломтиком хлеба – большего нам и не нужно было – и взяла с нас до смешного низкую плату. - На обратном пути мы снова к вам заедем, - заверяли мы её с таким жаром, как будто бы она в нас нуждалась.

- On verra, - загадочно улыбнулась она в ответ, - Поживём - увидим. А пока всего доброго вам!

[48] Да, да

Мы и вправду попытались выполнить своё обещание, но старый замок разыскать не смогли. Границы внутреннего и внешнего восприятия стёрлись. Были ли мы там, вообще?

Неделю мы путешествовали по Франции – не по работе, без какой-то определённой цели – просто так. Фима хотел мне показать замки Луары. Он сам бывал не во всех. Как часто мы проезжали мимо них, всякий раз минуя толпы туристов? И вот Ефим решил, что мы можем позволить себе передышку в работе. Просто, без всякого плана мы отправились в путь, а вокруг была осень с её пылающими красками. Чаще всего мы останавливались переночевать в сельских усадьбах, болтали с их жителями, поутру завтракали и отправлялись дальше. Я любила ту нескрываемую нежность, которую Ефим питал ко всему, что связано с Францией, как будто бы он каждую секунду был благодарен этой стране за то, что она приняла его, когда он был изгнан из своей. Он знал историю Франции также хорошо, как и историю России, и иногда они с моим старшим братом спорили о каких-то подробностях прошлого, обмениваясь знаниями о них, будто коллекционеры ценными марками. Фиму каждый раз удивляло, насколько мой брат был во всём хорошо осведомлён, шла ли речь о французских генералах Первой мировой войны, российских офицерах Второй, политиках или учёных мужах, явлениях природы, литературе или кино – он знал все имена и названия, а также их место и время в политике, истории, обществе и повседневной жизни.

Теперь мы ехали по следам Франциска I. Время его молодости во Франции почти совпало с периодом расцвета славы Леонардо да Винчи в Италии. Молодой король был в высшей степени образованным человеком и знал Леонардо как одного из самых знаменитых и многосторонне одарённых художников своей эпохи и, пожалуй, мировой истории. У Джорджо Вазари в его жизнеописаниях художников эпохи Возрождения можно прочитать, чем привлекал к себе внимание юный гений: не только тем, что он был

потрясающе красив, нет, он ещё и вызывающе элегантно и смело одевался, не подчиняясь никакой определённой моде. Когда он появлялся на каком-нибудь празднике, то притягивал к себе все взгляды своей уверенностью и приветливостью в обхождении с людьми. Он музицировал, исполняя в собственном сопровождении популярные в то время песни, как бы мы сегодня сказали, шлягеры, своим изысканно-благозвучным голосом. Говорят, что он отличался блестящим остроумием и совершенно невероятными познаниями в самых разных областях науки и искусства, медицины (анатомии), инженерного дела, архитектуры, физики и музыки ходили легенды. Кроме прочих его великих свершений, Леонардо стал первым, кто озаботился организацией вывоза мусора из Милана (подобно тому, как Диккенс добивался того, чтобы в районах трущоб Лондона 19-го века была чистая питьевая вода). Общества великого художника искали и кардиналы, и князья, стремясь украсить себя дружбой с ним и его искусством – так в Италии было во все времена. Но такое благоволение заканчивается столь же быстро, сколь и начинается, и вот уже вчерашний баловень судьбы оказывается один, без покровителей, без почитателей, без заказчиков, без денег. Как раз тогда, когда солнце Леонардо в Италии начало опускаться за горизонт – в это время расцветала слава Микеланджело (оба художника боготворили друг друга, но одновременно были друг для друга единственными соперниками), вдруг прилетело приглашение в дом Франциска I, где художнику предлагалось жить столько, сколько ему будет угодно. Леонардо сразу же согласился.

Вот почему, осматривая луарский замок Франциска, мы, пройдя по подземному переходу, оказываемся во втором замке, который король лично приказал построить для почитаемого художника - замок Кло-Люсе в Амбуазе. Этот замок находился рядом с собственным замком молодого короля и, если у него было настроение, то он, охотно беседовавший с Леонардо о философии и о жизни, мог отправиться к нему через тайный ход,

чтобы понаблюдать немного за его работой или прервать по своему усмотрению, дабы обсудить всё, что ему хотелось.

Так продолжалось многие годы. Оба стали настоящими друзьями и Леонардо уже не хотел снова возвращаться во Францию. Он всё больше старел. Ему уже давно было тяжело рисовать, к тому времени он страдал болезнью Паркинсона. До сих пор ему удавалось это скрывать – он был левшой, а болезнь началась с правой руки, кроме того его спутник, друг и ученик Франческо Мельци, в буквальном смысле слова став верной рукой мастера, рисовал под его руководством и по его наброскам. Материальных забот он не знал – король был чрезвычайно щедр, а книги хорошо раскупались – но с определённого момента он стал находить удовлетворение в том, чтобы рисовать себя в образе старика с длинной бородой и глубокими морщинами на лице, хоть и был ещё сравнительно крепким. Должно быть, что-то не давало ему покоя, какое-то тайное знание, медленный внутренний распад. А может, он просто устал.

Однажды король по подземному ходу вновь пришёл в мастерскую Леонардо. И не нашёл его там. Франческо провёл его в покои. Будучи серьёзно болен, Леонардо уже не мог подняться, он был в предсмертном состоянии. Король понял, что дело идёт к концу. Потрясённый, он прижал голову Леонардо к себе и держал его в своих объятиях, пока не стихла смертельная агония. Все обещания по праву наследования и проживания в отношении его ученика и друга были сдержаны. Он, согласно наставлениям мастера закончил большинство из начатых картин и через некоторое время вновь вернулся в Италию. Картины остались у короля, так сказать, в качестве наследственного имущества. Среди них и одна из самых известных – Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом».

Нас с Ефимом очень взволновала эта история. Тем не менее, мне никак не удавалось поговорить с ним о смерти, если это касалось нас, хотя я много раз пыталась это сделать и сама задумывалась об этом. Смерть казалась ему

чем-то чересчур далёким, чуждым и опасным – одним словом, ненужным. Иногда я, что-нибудь где-нибудь прочитав, начинала задавать вопросы о его пищеварении (как будто было какое-то смутное предчувствие). Он с шутливым негодованием противился моим расспросам: – Я же не могу говорить о таких вещах с дамой! Это был напрасный труд – старое воспитание пересиливало. Как часто я думала, что если бы он мне что-нибудь раньше сказал, то, может быть, удалось бы его спасти. Тогда бы он и до сих пор еще, возможно, жил – как один игравший раньше в филармоническом оркестре музыкант из Берлина, которому исполнилось сто лет, и к которому я иногда захожу вместе с его дочерью. Он вполне доволен жизнью – о нём тоже заботится его жена, которая моложе его почти на тридцать лет.

– Бедная Элькеляйнхен, – иногда вздыхал Ефим, – Когда-нибудь тебе придётся за мной ухаживать.

– Да я с радостью за тобой буду ухаживать, разве ты этого не знаешь?

– Я знаю, я верю тебе – кому, если не тебе, я могу довериться, не раздумывая? Но кому хочется требовать этого от другого человека? Сердце моё переполнялось нежностью в такие моменты, и мы начинали говорить о других вещах, потому что мысли о смерти печалили его. – Немного времени у нас ещё есть, – говорил он, подбадривая себя самого и меня, после чего продолжал задумчиво: – Хорошо было бы, съездить с тобой как-нибудь в Грецию, или в Альгамбру, это, должно быть, потрясающее место. И знаешь, Англию я тоже, по правде говоря, как следует, не знаю. Самое простое, было бы поехать на Нормандские острова – до них из Бретани рукой подать. Мне всегда туда хотелось. Да, – будто из самого сердца говорил он, – было бы совсем не плохо, еще кое-что успеть. Как думаешь, удастся нам ещё?

Нет, всего этого нам не удалось, хоть в Бретани мы жили так близко от пролива Ла-Манш и часто бывали в Барселоне в Автономном университете, где в Испании готовят переводчиков. Он был слишком деликатен. Всегда находилось что-то более важное, а его желания отодвигались. Часто

причиной была Снуки. Кто бы взял её к себе, если бы мы на несколько дней уехали из Бретани? Самоотверженность Ефима иногда выводила меня из себя. Конечно, были люди, которым мы могли её доверить, в той же Бретани. Или её настоящие хозяева, дочь Ефима Катя и её муж, могли бы её забрать. Я не могу вспомнить, чтобы Ефим когда-нибудь потребовал от других соблюдения его прав. Но отказывать себе в самых скромных своих желаниях – это уже чересчур. Пожалуй, была и другая причина для опасений: кроме меня и моей дочери Саскии, которой он очень доверял, он просто никому бы не смог поручить свою собаку. Слишком велик был страх, что Снуки будет страдать, что за ней будут неправильно ухаживать, что она будет чувствовать себя одинокой.

Однажды, когда мы были в Италии, он почувствовал себя плохо и стал умолять меня увести его в Германию. Я отчётливо поняла, что он боится умереть и по каким-то причинам не хочет оставаться в Италии. Тогда я долго, будто от погони, мчалась сквозь ночь и туман из Италии до Клагенфурта, первого приграничного города. До Германии мы не доехали, но, по крайней мере, были уже в Австрии. Я ужасно боялась за него и непременно хотела отвезти его в больницу. Но он так сильно сопротивлялся этому, что я уступила.

– Если ты не хочешь к врачу или в больницу, то должен мне обещать делать всё, что я скажу, – потребовала я, пытаясь вспомнить всё, что советовал врач в берлинской клинике после того, как у Ефима тогда был инфаркт. Посреди ночи я разыскала на краю леса меленькую тихую гостиницу, в которой и сняла для нас комнату, уложила мужа в кровать, зафиксировав в положении на боку, и запретила вставать, кроме как в туалет, и то с моей помощью. Хозяйка гостиницы была настолько любезной, что приносила нам еду в комнату, а я следила, чтобы он хоть что-нибудь съедал. Я двое суток провела в страхе, почти не выходя из комнаты, прежде чем он немного пришёл в себя. Он спал, спал и спал – абсолютно обессиленный и

как будто под наркозом, хоть я и не давала ему никаких лекарств, кроме нитроспрея, который имеют при себе все пациенты, перенесшие инфаркт. – Самое главное покой, – сказал тогда в больнице врач. – Если начинаются боли, то самое лучшее, вообще, не позволять вставать. Покой и питьё. Следите, чтобы он всегда достаточно пил. Легко сказать – трудно сделать. Как все пожилые люди, Ефим считал, что пить нужно, если хочется. Мне кажется, он всю свою жизнь пил слишком мало, и его организм годами страдал от кислотно-щелочного дисбаланса. Вино и водка ведь не относятся к полезным жидкостям. Уже не говоря об остальных огрехах питания: слишком много мяса, мало овощей и фруктов, никакой зелени, рыбу он не ел почти никогда. Я мысленно вздохнула: нам предстояла большая перестройка – не возненавидит ли он меня, если я стану запрещать ему столь многое из того, к чему он привык? Если мы шли в гости, и там нам подавали рис, рыбу, зелёный салат и тому подобное, то едва мы возвращались домой, как он с отчаянием в голосе спрашивал:

– А ужин когда будет?

Но пока мы ещё были в Клагенфурте. Через два дня Ефим проснулся и стал с удивлением осматриваться:

– Где мы?

– В Клагенфурте. Прочь из Италии, как ты того хотел.

– Будет ли завтрак? Яйцо и грейпфрут?

– У меня как камень с сердца упал. Я сразу же поняла, что ему стало лучше. Я обняла его: – Фимочка, ты, правда, в порядке? Ты ужасно меня напугал.

– Почему? Я долго спал?

– Двое суток.

– Не может быть! *Это шутка…*

– Мне точно не до шуток. Я уже всё самое ужасное себе представила.

Несколько минут он молчал. Я тоже. Потом сказал: – Ляйнхен, я, и правда, думал, что умираю. И я не хотел умирать в Италии, Бог знает почему.

Мы дали время этим словам глубоко проникнуть в душу каждого из нас, каждый погрузился в свои мысли. Наконец, я осторожно спросила:

– А сейчас? Ты на самом деле вернулся к жизни?

– А как ты думаешь? Я бы мог уже деревья из земли вырывать.

– Может быть, ты всё-таки будешь так любезен и повременишь с этим – всего несколько дней?

– Мы засмеялись, от облегчения беззвучно, с одним и тем же чувством – вновь отсроченного времени…

Фима взглянул на меня задумчиво:

– Снова ты мне жизнь спасла, Ляйнхен. Что бы я без тебя делал?

Мы остались в гостинице ещё на один день, а потом поехали дальше в Вену.

**Восьмидесятилетие**

Как чувствует себя человек, которому исполнилось восемьдесят? Надеюсь, я никогда этого не узнаю.

Не хочу жить без Фимы до восьмидесяти. Кроме того, уже сейчас мне досаждают слишком сильные боли – спина, кости, суставы: ни пеших прогулок, ни езды верхом, на яхте нельзя, в горы нельзя, нельзя кататься ни на роликах, ни на коньках, даже на лыжах уже нельзя, просто ходить и то часто мучение. Артроз крепко за меня взялся, а позвоночник в буквальном смысле слова держится на семи шурупах. И нет больше Фимы с его непоколебимой жизнерадостностью, с его благодарностью за каждый хороший день, за каждое доброе мгновение, с его сияющей улыбкой по утрам и нежной – вечером. Со спокойной энергией, которую он всегда излучал и уверенностью, что в жизни всё к лучшему.

Фиме исполнялось восемьдесят, и наши друзья Костя и Сузи, в доме которых неподалёку от Парижа (в Санлисе) мы поженились, пригласили нас отпраздновать в их мастерской и этот день. С ними мы, надо сказать, встречались гораздо чаще, чем с остальными друзьями – по пути в Бретань мы останавливались у них на ночь и спали в маленькой прелестной квартирке в их доме, которую они на всякий случай держали для нас свободной. Они принадлежали к тем немногим в этом мире, что бывают искренними, когда говорят: «Можете чувствовать себя у нас как дома».

Перед его Днем Рождения мы были в Нормандии. Мы наконец-то сдержали своё обещание и навестили одного коллегу по исследовательскому центру «Wissenschaftskolleg» в его тамошней резиденции. На обратном пути мы съездили посмотреть знаменитые скалы в Этрета, живописно расположенные посреди воды, – как на Капри, потом ещё едва-едва успели взглянуть на созданные в XI веке невероятного мастерства гобелены в нормандском городе Байё, изображающие военный поход короля Гарольда и битву при Гастингсе. При своих удивительно малых размерах эти работы поражают насыщенностью деталями и искусностью вышивки – сегодня они по праву являются наследием ЮНЕСКО.

Сразу после этого я как-то обессилела и совершенно разболелась. Меня успешно атаковал вирусный грипп. Фиме пришлось на протяжении всего пути вести машину одному. Наконец, он доставил меня в полуобморочном состоянии в Бретань. До Дня Рождения, на который приглашено множество гостей из Франции, США, Германии, Голландии, Канады, России, Венгрии, оставалось всего две недели.

Мне было всё безразлично – хотелось умереть. Из последних сил я прогнала Ефима из нашей спальни, чтобы он не заразился. Единственное, чего я хотела – остаться одной со своей ломотой в суставах, слабостью, высокой температурой, приступами пота, промокшими насквозь простынями,

со своим неизмеримым изнеможением. Так я болела гриппом всего пять раз в жизни – этот был одним из худших.

Неделю я жила как в бреду. Иногда я различала Ефима, который оставлял мне что-нибудь поесть и снова исчезал. Чаще всего я всё это по-быстрому смывала в туалете, чтобы не огорчать его. В основном пила воду, много воды. Есть не хотелось, ничего не хотелось – только воды, покоя, тепла, одиночества. Через неделю мне немного полегчало, и тут меня будто обожгло – я вспомнила о дне рождения. Идея по поводу подарка у меня уже была, но как её осуществить? Для этого было нужно, чтобы я осталась дома одна, и чтобы сил было побольше. Пока ещё я рук не могла поднять, без того, чтобы у меня перед глазами не почернело. И тут, сам об этом не догадываясь, мне пришёл на помощь Фима: он объявил, что завтра утром поедет один за покупками в Динан и спросил, что нужно привезти. Тут нужно было всё точно распланировать: мне оставалось только время его утренней прогулки, которую он, как известно, имел обыкновение предпринимать до завтрака. Это был мой шанс.

Как только он вышел из дома, я закуталась потеплее, шатаясь от слабости, восстала со своего пропитанного потом одра и отправилась по влажному лугу из пристройки к основному дому. Я знала, где Ефим хранил фотографии: новые – в письменном столе, старые же, на которые я нацелилась, – в огромном, старом, чёрном чемодане, лежавшем высоко на полке в чулане. Потратив последние запасы моих невыносимо медленно возвращавшихся сил, и ещё несколько раз пропотев, я спустила вниз это чудище – на стремянке голова моя закружилась, и оно чуть не рухнуло на меня сверху всей своей тяжестью. Потом я почти час провела, перебирая фотографии из его прошлого, будто проходя по станциям его богатой событиями истории жизни, начиная с пяти лет, когда для его матери было сделано его фото в кавказском костюме: на нём стоял маленький воин с со скорбным лицом, в папахе, рука на кинжале, на груди много маленьких

кармашков для патронов. При всей своей нелепости эта его фотография до сих пор остаётся моей самой любимой, она висит теперь в моём кабинете в Берлине – грустный маленький воин – такое же висит и в Бретани, где я рядом с ним поместила изображение маленького сына Пикассо. Тогда меня поразило на удивление одинаковое выражение лица обоих детей, казалось бы, выросших в совершенно разных условиях: скорбное, исполненное достоинства, с затаённым страхом в глазах перед тем неизвестным, что происходит вокруг, и чему никто не даёт объяснения.

Но мне нельзя было задерживаться, Фима не должен был застать меня врасплох, это ведь был сюрприз. Как-то раз он полночи показывал мне эти, иногда крошечные фотографии из своего чемодана, рассказывая что-нибудь о каждом, изображённом на них человеке. И вот теперь я собрала вместе всё, что запомнила, всех, кто был по-настоящему значим для него: снимки родителей, дядьёв, братьев, друзей, соратников, коллег, его жены Кати, дочерей, дачи, Фриды Вигдоровой, его большой любви, с риском для жизни делавшей записи во время суда над Бродским, молодого Бродского, столь часто ураганом врывавшегося к нему в дом с новым стихотворением в руке, Ахматовой, творчество которой Ефим исследовал, Бёлля, Копелева, Солженицына, других писателей и поэтов, Некрасова, Окуджавы, с которым мне ещё предстояло познакомиться, фронтовые и юношеские фотографии, сделанные во время работы в Институте им. Герцена в Ленинграде, фото, где он с Кристой Вольф и Максом Фришем, его учителя Жирмунского с семьёй, Игоря Дьяконова, Гриши и многих других, с кем его связывала благодарность за то, что они разделили с ним любовь к поэзии, ужасы советского времени и верную дружбу – всё и всех не перечислить. Под конец у меня набралось более ста фотографий, которые я запечатала в огромный конверт, куда вложила записку для работников фотомастерской с просьбой сделать увеличенную копию каждого снимка и ничего не говорить об этом Ефиму. После этого невыносимо тяжёлый, и, поскольку уже не было сил,

плохо закрытый чемодан был снова водворён наверх, лестница убрана, и я, валясь с ног от слабости, добралась по влажному лугу до своей кровати – будто никуда и не уходила. Без сил я провалилась в глубокий сон.

На следующий день Фима послушно взял с собой мой конверт и отдал его в фотомастерскую. Я сказала, что в конверте кое-что для моего брата, у которого тоже вскоре намечался День Рождения. Он не придал этому особого значения.

Затем прошло ещё шесть дней, за которые я почти поправилась.

И вот настал знаменательный день – назавтра мы должны были отправляться Париж.

– Мне нужно ещё раз съездить в Динан, кое-что купить, – сказала я Ефиму.

– Я поеду с тобой, ты ещё очень слаба.

– Но я хочу поехать одна, я уже нормально себя чувствую.

– Почему ты всегда так легкомысленно себя ведешь? Это же опасно…

Мы тогда ещё даже не догадывались, насколько он был прав, хоть и совсем по другому поводу.

Скрепя сердце, Фима всё-таки меня отпустил, он чувствовал себя так, будто его отвергли. Но в этот раз я ему ничем не могла помочь. Одновременно я отметила, что действительно иду и еду как в облаках – это был первый день, когда я ни разу не прилегла. Но мне всё удалось: я кое-что купила и забрала гигантские пакеты с фотографиями – по цене небольшого состояния. Ведь лишь совсем недавно появилась возможность самостоятельно делать более дешёвые компьютерные копии. Да какая мне была разница. Но уже только поэтому мне надо было, во что бы то ни стало, ехать без него.

К тому времени, как я пришла домой, как раз случилось то, о чём я уже однажды упоминала. Если бы Ефим поехал со мной и оставил собаку одну с недавно заполненным газом баллоном, как мы это часто делали – ведь ничто

не предвещало беды – дом взлетел бы в воздух. Снуки всё спасла своим сумасбродным лаем. И Ефим, голой рукой закрутивший кран баллона, несмотря на открытое пламя. Невозможно представить ту боль, которую бы он испытал, если бы это прибежище столь многообразных счастливых моментов было разрушено! Соответственно скорбным было его лицо, когда он вышел встречать меня на тропинку перед домом – таким же, как на той детской фотографии. Он осознал, насколько и в мирной жизни мы по-прежнему близки к бездне.

Развесить фотографии в мастерской Кости мне помогла уже приехавшая к тому времени Саския. Входить мы туда никому не позволяли. Натянули веревки вдоль книжных полок, много, много метров, и развесили на них – намеренно без особого порядка – фотографии, закрепив их бельевыми прищепками, так, что за всем этим книг стало не видно. Эффект оказался ошеломительным: как будто мы сделали гигантскую раскладную книгу с картинами из жизни Ефима – книгу, меж страниц которой можно ходить. Даже я, не знавшая многих из этих людей, чувствовала их силу и близость, кажущуюся случайность моей наивной выборки и в то же время её осмысленность, заключающуюся в сгущенном в ней живом присутствии столь многих судеб. Как будто в один момент перед нами предстала невидимая в повседневности сеть всего его существа.

Нам едва удалось всё закончить, пока все не собрались. Но некоторое время мой подарок не должен был привлекать к себе внимания – так я задумала. Он располагался в просторной открытой галерее на первом этаже, а праздновали мы внизу в мастерской. Самым дорогим гостем Фимы в этот раз был Шимон Маркиш, сын знаменитого еврейского писателя Переца Маркиша, застреленного в 1952 году вместе с остальными членами Еврейского Антифашистского комитета. Шимон узнал об этом и разыскал его дело гораздо позже. Он тоже был выдающимся литературоведом, переводчиком и эссеистом, как и нас, его пригласили тогда на Нобелевский

симпозиум в Стокгольм. С Ефимом у них были почти идеальные отношения отца и сына: взаимное восхищение, уважение, достоинство, юмор и жизнерадостность, почтительность, любовь, интерес к мыслям другого, сердечное участие во всех делах, будь то личных или профессиональных – и это сияние, исходившее от обоих. В 2006 году, три года спустя после скоропостижной кончины Шимона, в Москве состоялся вечер его памяти. Завершило его выступление Сергея Юрского, рассказавшего смешной случай, произошедший с ним и с Шимоном. Мне никто не сказал об этом торжестве. Как бы я хотела быть на нём! В сети Интернет также нигде не было упоминаний о том, приезжала ли на этот вечер его великая венгерская любовь Жужа. После смерти Шимона мы с ней ещё долго переписывались по электронной почте, мне всегда хотелось навестить её в Будапеште, где мы однажды были у неё в гостях с Ефимом. Долгое, долгое время понадобилось ей, чтобы свыкнуться со смертью Шимона. В какой-то момент мы потеряли друг друга в дебрях повседневности. Я часто вспоминаю о ней.

Но пока ещё мы были в Санлисе, и Шимон развлекал всех блестящим остроумием и бьющей через край веселостью духа. Вообще, у нас не было какой-то определённой программы, но я подготовила небольшое поздравление по-русски, которое даже выучила наизусть. И вот уже – как же могло быть иначе у русских – вызвалось ещё несколько желающих держать речь. Ася, красавица-внучка Ефима подошла ко мне, непременно желая выступить первой. Но тут, в порядке исключения, я была непреклонна. В этот раз именно я должна была начать. Я боялась, что всё забуду от волнения. Русский был всё ещё труден для меня. Я гораздо лучше могла понимать, чем говорить сама. Я переживала, что, выпив бокал вина, сделаю ещё больше ошибок, чем всегда.

Но всё прошло хорошо. Пока меня никто не опередил, я просто начала свою небольшую речь. Парижская подруга дочери Ефима, Лика, была настолько любезна, что перевела её для тех, кто не понимал по-русски. Я

говорила медленно, чётко и не забыла ни одного слова. Фима был поражён, смотрел на меня, не веря своим глазам, а к концу чуть не лопнул от гордости за меня. И тут – посреди моей речи – произошло кое-что неожиданное и примечательное: дверь открылась, и зашёл посторонний – никто его не знал – а за ним мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Никому из нас не было известно, что он в то время как раз приезжал во Францию, и даже на долгое время, что «друг», которого он привёл с собой, скорее всего, был его телохранителем, и что в России в это время он по политическим причинам чувствовал себя неспокойно. Его никто не приглашал – в этом я уверена – Ефим был удивлён и быстро понял, что частный, даже интимный характер нашего праздника вдруг изменился. Так или иначе, после приветствия он стал вести себя так, как будто ничего особенного не произошло. Собчак держался на заднем плане, позже сказал несколько ни к чему не обязывающих слов, побыл немного и в какой-то момент снова пропал – никто точно не мог сказать, когда.

Моя речь заслужила громкие аплодисменты, а я, конечно, вздохнула с облегчением, что всё прошло хорошо. Потом меня сменил Шимон: его посвящение Фиме об относительности молодости и старости – он говорил по-французски, который понимали все – было пламенным, смешным, очаровательным, остроумным, преисполненным невероятной любви и риторического мастерства, такой естественности, что, казалось, будто он говорил то, что только сейчас пришло ему на ум. Венцом речи стала фраза: «Fima: Tu est Le Prince de la Jeunesse!»[49]

Все громко хлопали. Разве можно было сделать более оригинальный комплимент на восьмидесятилетний юбилей?

Все расселись. Красная икра снискала достаточно похвал, остальное угощение было не менее изысканным и щедрым. Целый час слышался стук

[49] франц. «Фима, ты предводитель юношества!»

тарелок, тосты, постепенно громче становились разговоры и смех. Моя пятилетняя внучка Дина была увлечена большой компанией. Она беспрестанно бегала вверх и вниз по лестнице, до галереи и обратно, то выглядывала из-за перил, то и играла с собакой по кличке Виски.

– Мама, посмотри! – уже, наверное, в пятидесятый кричала она. Когда она вновь спустилась, я тихонько прошептала ей кое-что на ушко.

– Фимочка, посмотри! – в следующий раз во всеуслышание пропела она. Фима посмотрел вверх.

– Мне подняться? – спросил он. Остальные начали о чём-то догадываться, все смотрели ему вслед, пока он спокойно и ни о чём не подозревая шёл наверх. Все замолчали. Даже Дина почувствовала что-то и притихла. Потом взяла его за руку, будто поняв, что сейчас ему потребуется поддержка, и повела к картинам его жизни. Никто ничего не говорил, все смотрели вверх.

– Это невероятно! – наконец, услышали мы его тихий, будто издалека доносящийся голос. И снова: – Это невероятно! А потом прерывающимся голосом: – Элькеляйн, иди сюда.

Я поднялась по лестнице. В его глазах стояли слёзы. Он слова не мог вымолвить.

Как он сразу догадался, что это мой подарок? Что это моя попытка, с любовью войти в его жизнь, участвовать в ней, действительно стать её частью? Маленькая Дина – будто знала, что нужно снять напряжение – сказала: – Посмотри, это Снуки.

Лёд был сломан. Все засмеялись, поднялись наверх, рассматривали, удивлялись, кого-то узнавали, задавали вопросы, возможно, находили на фотографиях себя, в буквальном смысле слова пребывали в его жизни. Фима был счастлив, но, то и дело отводя меня в сторону, спрашивал: – Как ты, вообще, всё это смогла сделать – ты ведь так болела? И откуда ты знала, кто мне дороже всех?

– Ты же сам мне всё рассказал за тысячу и одну ночь!

– Я никогда бы не подумал, что ты так внимательно слушала. Ты ведь столь многих из этих людей вообще не знаешь. Было бы естественно, если бы ты забыла большую часть того, что я тебе рассказывал. Я правда потрясён. Это самый прекрасный подарок, какой ты только могла бы мне сделать. И твоя чудесная речь по-русски! Какой великолепный сюрприз!

Вечер 26 февраля 1998 года продолжался, одна речь следовала за другой, Асе тоже удалось взять слово, потом был кофейный стол, любовно сервированный Анни. Бесконечной чредой кружились разговоры, воспоминания, анекдоты, серьёзные мысли о положении России, об остававшихся там друзьях, которые думали о Ефиме в этот день – многие прислали телеграммы – о дальнейших планах юбиляра, о наших будущих путешествиях, о литературе и живописи. Вся мастерская была заполнена картинами Кости. Здесь были таинственно-экзотичные полотна шанхайского периода, виды Парижа, из которых он многие продал в США, будто светящееся изнутри изображение моста Пон-Нёф осенью – Сузи купила его, не зная автора – по величине оно было таким же, как её тогдашняя парижская квартира. Тут же висел портрет сына Кости – он не был их с Сузи общим сыном – красивого юноши, талантливого художника с чрезвычайно трагической судьбой, как о нём говорил сам Костя. Больше он ничего не объяснял, эту историю я узнала гораздо позже.

– А кто эта большеглазая, серьёзная меленькая девочка с чёрными, как вороново крыло, волосами – там сзади на лестнице? Это оказалась дочка Бельмондо. – Однажды, – рассказывал Костя, – он просто проходил мимо и спросил, не нарисую ли я её портрет. Мы договорились, когда она будет приходить, и затем её с няней каждый раз привозил на машине шофёр. Под конец снова пришёл сам актёр, моя работа ему очень понравилась. Он заплатил условленную цену и пообещал вскоре забрать картину.

Как видите, она достаточно большая, на обычном автомобиле её не увезти. После этого он больше никогда не появлялся, несмотря на многочисленные приглашения. Странные эти люди… И вот теперь я радуюсь, что эта малышка всё ещё со мной. Она мне как-то полюбилась, хоть сейчас она, наверное, уже совсем другая стала, во всяком случае, выросла. Было уже поздно, все разошлись, кроме Ефима и меня оставались только старшая дочь Ефима с её другом, Саския с Диной, может быть, ещё Шимон – я теперь не помню уже. Я завела речь о работах Сузи: все всегда говорили только о Косте, хотя она была чрезвычайно талантливым скульптором. В одной из комнат внизу было много созданных ей вещей. Мы ходили от одной к другой, а она рассказывала, как возникали эти скульптуры, сколько радости это ей приносило, и как она постепенно, после того, как они с Костей поженились, утратила уверенность в своих силах, перестала верить в собственное дарование, хоть он, кажется, делал всё, чтобы её ободрить. Это напомнило мне о том моем петербургском кризисе, я так хорошо её понимала. – Костя в этом не виноват, – уверяла она. Я знала. В моём случае Ефим тоже не был виноват, и всё же потребовалось некоторое время и много сил, чтобы снова найти свой путь. Чтобы немного утешить её своим собственным дилетантизмом, я села за стоявшее в комнате пианино и стала играть что-то из того, что знала с детства, что помнили пальцы. На самом деле, я уже тридцать лет, как следует, не упражнялась, но с недавнего времени мне это вновь стало доставлять удовольствие. Фима любил читать в комнате, где я музицировала. Когда я поднялась, к пианино подошёл друг дочери Ефима. У него техника была гораздо лучше моей, он играл чудесно – потом тоже встал из-за инструмента. Так, сами собой образовались правила игры. Около часа мы, сменяя друг друга, по памяти давали концерт в честь Сузи и немного в честь Ефима.

В паузах мы что-то рассказывали о прежних временах, о музыке, о том, что она значит для нас – получился такой своеобразный концерт с

комментариями. М. была спокойной и довольной, она влилась в эту засидевшуюся допоздна компанию со всем тем очарованием, которое было ей присуще, когда всё шло так, как ей хотелось. Она подарила Фиме уже упомянутую видеокамеру. Хорошо зная, что отец, вообще-то, не любит, когда его снимают, она сунула её мне в руки (уже после того, как её сын весь вечер вёл съёмку), с тем, чтобы я сделала как можно больше видеозаписей с Ефимом. Я с радостью снимала Ефима, будь то в России, во Франции, в Италии, в Испании, или, что получалось чаще всего, в Германии. Как жаль, что из-за тех отношений, в которых мы с ней сейчас, я никогда не смогу показать ей эти записи. Теперь они уже настолько старые, что боязно за их сохранность. Я отдам их переписать на DVD-диск. Мне часто удавалось тайком записать его, или сделать это, когда приходили в гости друзья – при них он не так сильно сопротивлялся.

В конце концов, как-то ему пришла идея, самому комментировать в микрофон то, что я снимаю.

Кто бы подумал, что такое возможно?

*

Сузи умерла.

Только что написал её внук Эрван, в письме он немного рассказал о том, как она жила в эти два последних года (когда я не бывала в Санлисе).

Только сейчас я вдруг поняла, что она и Ефим родились в один и тот же год и даже в один месяц. Если бы он был жив, то ему было бы сейчас 93 – «юнец» по сравнению с нашим столетним музыкантом филармонического оркестра. Предводитель юношества!

Сузи тоже всегда сохраняла что-то юношеское. Она могла невероятно весело смеяться, и чем больше она забывала, что уже рассказывала о чём-то, тем большую радость ей доставляло повторение. А как храбро она сражалась с одиночеством, всё сильнее бравшим верх после смерти Кости! Целое

поколение уходит с этими людьми, целая эра! Эра непритязательной, живой человечности и высшей культуры, естественного радушия и абсолютной терпимости. Я до сих пор слышу, как она своим приветливым голосом на типичном эльзасском немецком говорит:

– Мадам Эльке, тебе переднюю или заднюю комнату в галерее?

– Мне всё равно, Сузи, как тебе будет удобнее.

– Да нет же, ты должна чувствовать себя, как дома.

Маленькая квартирка, выходящая окнами в сад, которая всегда была свободна для нас с Ефимом, с недавнего времени сдаётся, с тех пор, как Кости не стало. Так Сузи не чувствовала себя совсем одинокой, и это приносило кое-какие деньги. Потом к ней переехал её сын Франсуа, чтобы ухаживать за ней. Эрван, с которым мы как-то после смерти Ефима всю ночь проговорили о его жизни, планах и надеждах, пишет, что в последние годы она не только становилась всё забывчивее, но и всё больше болела, часто попадала в больницу из-за проблем с сердцем, особенно в приближении её Дней Рождения. В конце она уже ничего больше не хотела, хотела только уйти, умереть. Как говорится об этом в старых сказках,

*Она была стара и больше не хотела жить…..*

Милая Сузи, с каким удовольствием я бы снова услышала историю о том, как ты приветствовала Альберта Швейцера и рассказывала ему стихотворение.

Что будет с твоими прекрасными скульптурами?

Что – с чудесными картинами Кости?

Слышишь ли ты, как я здесь говорю с тобой?

Встретились ли вы с Фимой?

В этом детском представлении есть что-то невероятно утешительное. Великий небесный праздник, на котором встречаются все, кто любил друг друга на земле, собираются тесными кружками – как бывало в просторной мастерской Сузи и Кости – и почему мне всё время кажется, что в этой

русской компании должна быть и моя мама со своей еврейской тёткой, которая ещё до революции вышла замуж в России и была там очень счастлива?

Как говорит Вольф Бирман в своей песне «Кладбище гугенотов» (это кладбище находится в Восточном Берлине, совсем рядом с домом, где жил Брехт):

«Как близки бывают нам те, что ушли,

Как мертвы порой для нас те, что остались»[50].

Ты небо рассмешишь, Сузи,

своими историями.

И милого Боженьку – умеет ли он смеяться?... *Конечно…*

**День семьи**

*И кто сочтет разноплеменных,*

*Сим торжеством соединенных?*[51]

Был 1999 год. Внезапно эта идея возникла у меня в голове: ДЕНЬ СЕМЬИ – нам нужно провести день семьи – первый, с тех пор, как мне минуло пятнадцать. Потому что теперь у нас было для этого место. Что могло бы быть естественнее, чем провести семейную встречу в «Бельвю» в Бретани? Где для всех есть место, где луга и поля для детских игр, просторный амбар, чтобы устроить праздничный стол на открытом воздухе – даже в дождь. Ведь на улице тепло, и в то же время есть крыша над головой. И, главное, само собой разумеется, с Фимой во главе клана – по крайней мере, в силу его возраста? В моей семье не было никого, кто его не любил, хотя мы все довольно разные. Мои трое старших братьев давно

[50] Цит. по: Вольф Бирман: поэт, победивший диктатуру. [Электронный источник]. URL: http://www.dw.de /вольф-бирман-поэт-победивший-диктатуру/ a-2239705

[51] Фридрих Шиллер «Ивиковы журавли». Пер. с нем. В.А.Жуковского. Ср. нем.: «Wer zählt die Völker, nennt die Namen,/ die gastlich hier zusammenkamen?»

воспринимали его одновременно как отца и как друга, сын и дочь полюбили его, проникнувшись к нему уважением и нежностью, мои внуки с радостью приняли его как дедушку. Поскольку многие из нас жили за границей, мы не часто виделись друг с другом.

Раньше, когда ещё жива была мама, мы всегда старались, по крайней мере, собраться у неё на Рождество, в её огромной, в двести квадратных метров квартире в том старом доме в Карлсруэ, где все мы выросли. Один мой брат приезжал из Франции, где он преподавал в гимназии, другой – из Голландии, где он играл в филармоническом оркестре в Роттердаме, прилетала я из Америки, где руководила институтом германистики в университете Орегона, и наш третий брат, откуда бы ему не приходилось добираться, ведь он был капитаном дальнего плавания. Я часто размышляла о том, как моей матери удалось укоренить в нас это чувство сплочённости, которое после её смерти, наверное, стало ещё сильнее. Наверное, это была её личность, её объединяющая сила, её способность никогда ничего не требовать, тем более уж любви и прочих чувств. Я верю в силу свободной воли, и именно в этом духе она нас воспитывала: без чрезмерных запретов, тем более без раздражения и криков она привила нам чувство собственной ответственности, не посеяв подавляющего чувства вины, когда мы пошли своими дорогами. Наоборот, она нас всегда поддерживала на этих наших собственных путях.

Всё говорило о том, что они с Фимой сразу бы полюбили друг друга – в этом никто из нас не сомневался. Я до сих пор не простила судьбе то, что им не пришлось встретиться. Как сказал Костя, мудрый, старый художник, чья жена Сузи совсем недавно умерла: – Может быть, душа твоей матери вернулась к тебе с Фимой.

Прибыв в Париж, мы всегда первым делом звонили моему брату Томасу; он в течение часа приезжал к нам из Понтуаза, где жил на старой мельнице, часто на несколько дней оставался в моей крохотной комнатке, которую

удобно было использовать в качестве комнаты для гостей. Ефим любил разговаривать с ним – у него не было другого такого компаньона, который бы столько знал, у которого была бы такая жажда к новому знанию, такая эрудиция в области политики и истории, что о чём ни заговори, он всегда мог сказать что-то новое, самостоятельное, и это всегда было интересно. На западе Ефиму всегда не хватало такого собеседника.

Ещё был Йорн, мой брат, игравший в филармоническом оркестре в Роттердаме. Когда в программе намечался какой-то особенный концерт, он звонил нам, чтобы пригласить на него. Иногда с Томасом, иногда без него мы за три-четыре часа доезжали до маленького симпатичного домика Йорна, располагавшегося за пределами города, почти в сельской местности, проводили с ним и Виллемийн, его женой-голландкой, выросшей как наша сестра у нас в семье, несколько дней или оставались только на тот вечер, когда был концерт, знакомились с музыкантами – если они оказывались русскими, то Ефим с ними разговаривал – и отправлялись дальше по своим делам. Ефим, мать которого хоть и была певицей, но никогда не пыталась обучать его музыке или развивать его музыкальные способности – как такое можно понять? – жадно впитывал всё, чему мог научиться и развил удивлявшее всех и бесконечно радовавшее меня умение слушать и понимать. Для него стало совершенно естественным, повсюду, где бы мы ни были – в Берлине, Париже, Вене, Петербурге, Барселоне, Хельсинки, даже в Динане, нашем крошечном городке в Бретани, – ходить со мной на концерты и извлекать из этого какое-то своё удовольствие. Жизнь без музыки – это самое худшее, что я когда-либо могла себе представить!

Но вернёмся к Дню семьи, первому и единственному со времён моей юности, в котором Фима смог принять участие.

Здесь нужно сказать, что после удавшейся первой встречи в Бретани, мы стали собираться регулярно и делаем это до сегодняшнего дня. Это стало традицией.

В тот День семьи, когда мне было пятнадцать – это был 1957 или 1958 год – в Берлин приехали все родственники моего отца с семьями. Этот праздник посвящался восьмидесятилетию моей двоюродной бабушки. Тётя Олли – на самом деле, Ольга – была самым приветливым человеком, которого я только встречала в жизни. Она обладала бесконечной добротой и абсолютной самоотверженностью, относилась с интересом и участием к судьбе каждого в её насчитывавшем до ста человек семействе, хоть порой и не чуралась добродушно пошутить по поводу того или той, что приходили в него в качестве чьего-то мужа или жены. При этом она никогда не сплетничала и не злословила. На такие вещи она была просто не способна. Самое большее, что она могла, это к нашему общему веселью назвать пентюхом сенатора по вопросам культуры Берлина, женатого на одной из её бесчисленных племянниц. Моего отца она, должно быть, особенно любила и, естественно, перенесла эту любовь на его жену и детей. Она всю свою жизнь проработала медсестрой и акушеркой и действительно своими руками приняла всех нас из чрева матери, сопровождала нас при нашем появлении. Поскольку я по собственному опыту знаю, как грубо в Германии раньше обращались с роженицами, будь то врачи или нетерпеливые акушерки, любившие отчитывать стонущих и кричащих от боли женщин, то мне утешительно знать, что нашему рождению сопутствовала доброжелательность и заботливая любовь – тётя Олли никогда бы не допустила другого сама и своим сотрудницам бы не позволила.

Тридцать лет своей трудовой жизни она провела в восточноафриканском буше. Будучи детьми, мы страстно любили слушать её приключенческие истории – именно потому, что, она, вообще, не была человеком, склонным к приключениям или романтике, а наоборот, здраво и рационально поступала так, как было необходимо. Иногда она в одиночку, может быть только в сопровождении боя, целыми днями на маленьком муле объезжала затерянные в зарослях буша крошечные деревеньки, чтобы помочь беременным и

роженицам. Она принимала роды, лечила детей во всей округе, снабжала лекарствами прочих больных, организовывала их транспортировку в отдалённый медицинский пункт и умела без драматизма отнестись к поджидавшей её под импровизированной палаточной ванной, где она хотела освежиться, огромной змее. Тётя обнаружила её случайно, когда искала упавшее мыло. Уже в восемьдесят пять лет она со смехом рассказывала, как заорала тогда, будто ошпаренная, и как безразлично ей было то, что туземцы, вбежавшие в палатку к ней на помощь, увидели её голой в ванне. До сих пор в комнате моего брата  висит сотканный из пальмового волокна большой великолепного рисунка плед, подаренный ей в благодарность туземцами. То, что эта необыкновенная, храбрая женщина никогда не была замужем, оставалось, пожалуй, её единственной в жизни романтической тайной: во время одного из её долгих морских путешествий к родным берегам – это было ещё до Первой мировой войны – она влюбилась в капитана корабля, а он влюбился в неё. Они обручились. Потом настала война, и больше они никогда не виделись. Он считался «пропавшим без вести». Когда мы с моей маленькой дочкой Саскией навещали тётю незадолго до её смерти в доме для престарелых – ей тогда было 85 – по её морщинистым щекам вдруг побежали светлые слезы. Я никогда этого не забуду, и меня до сих пор удивляет, – хоть теперь я её понимаю гораздо лучше – как долго может длиться несбывшаяся любовь. Мне кажется, она была первой, кто начал в семье традицию врачей, медсестёр и учителей. За ней последовали моя бабушка (медсестра) и её муж, работавший врачом в той самой больнице, недалеко от которой я теперь живу. Потом была моя мать, ставшая учительницей и в восьмидесятилетнем возрасте награждённая медалью за то, что в течение десяти лет безвозмездно помогала в учёбе детям иностранных переселенцев. Затем преподавать в Германии и за рубежом начали я и мой брат. Если говорить о моих детях, то дочь стала специалистом по диализу, а сын, будучи военным, работал в тюремной психиатрической клинике (он тоже полтора года провёл в

Африке). Даже внуки склонны выбирать работу в социальной сфере. Дина, которая тогда была ещё совсем крохой, теперь проходит годовую практику в детской психиатрической клинике. Любопытно узнать, что будет дальше. Во всяком случае, я, после того, как Фимы не стало, поселившись в Берлине, вновь возобновила психотерапевтическую практику, которой двенадцать лет занималась Мюнстере. Психотерапевтами работают и моя племянница с её мужем – они обосновались на востоке страны с более низким уровнем развития медицины. Даже моя крестница, недавно получив диплом врача, работает в Швейцарии. Сколь неожиданно согласованными оказываются пути разных поколений семьи, несмотря на различия в характерах и образе мыслей тех, кто её составляет. Теперь вот и моя внучка Дина решила учиться на детского психолога.

К восьмидесятилетию тёти Ольги, которое одновременно стало и Днём семьи, мы с моим братом Йорном выучили красивую сонату Баха для скрипки (или флейты) и фортепиано, мы хотели её сыграть на этом празднике. Хотели? Йорну, студенту консерватории, конечно, было не привыкать – он постоянно играл на публике. А я? Я умирала от страха перед выступлением. Я ненавидела играть перед кем-то, даже когда просто репетировала. А тут перед всеми этими людьми, которые были моими родственниками, и из которых я никого – кроме тёти Олли – раньше не видела? Ни за что! Маме, которая прекрасно знала эту пьесу – почти до самой смерти, пока пальцы из-за артрита не перестали её слушаться, она чудесно играла на фортепиано – пришлось меня заменить. Для одной тёти Олли я бы всё сделала, но не для всех этих незнакомых мне родственников, с которыми мне больше и увидеться не пришлось – моего самого старшего и самого младшего брата с нами не было – они не смогли отлучиться с работы. Мама и Йорн с блеском справились со своей задачей – иначе бы я ничего больше и не запомнила с того дня, кроме того, какой неуверенной деревенской простушкой я казалась себе в глазах столичных родственников

младшего поколения. Они были приветливы, но несколько снисходительно к нам относились – мы с братом быстро поняли, что у нас с ними разные ценности в жизни. Прошло около сорока пяти лет, прежде чем мы узнали, что дама, являющаяся президентом федерального конституционного суда Германии и, таким образом, занимающая один из самых высших государственных постов этой страны, замужем за нашим двоюродным братом, сыном того сенатора по вопросам культуры. Случаются же чудеса! Насколько естественнее, теплее, сердечнее и живее был тот День семьи, который мы устроили спустя добрых пятьдесят лет с Ефимом – в его доме, в той стране, которую он так любил – во Франции и под его неуловимым попечением! С тех пор уже родились не менее шести-восьми новых внуков, внучатых племянников и племянниц, но на том празднике уже было несколько детей. Саския привезла с собой большой детский бассейн, который мы установили посреди луга между обоими домами. С этого момента по всем участку около дома разносились восторженные детские крики. Самой ожидаемой гостьей была одна моя кузина, с которой мы целую вечность не виделись и тут «вновь обрели друг друга», дочь сестры моего отца, прибывшая из Принстона, из Америки. Когда-то давно она была успешной актрисой во Франции, потом жила с матерью в Штатах, становясь всё более странной. Мы долгие годы не общались, до тех пор, пока я не навестила её в одну из поездок в Америку. Никогда не забуду, как побывала у неё в гостях. Моя тётка (её мать) могла бы стать героиней любого фильма ужасов: внезапно она бесшумно появлялась в комнате, необычайно высокого роста, не меньше метра восьмидесяти, прямая как свеча, седая как лунь – ей было 92 года, и она выглядела как призрак прошлого. Казалось, она смотрела на меня и одновременно сквозь меня. Иногда она говорила очень грубые и бесцеремонные вещи (что в Америке, вообще, не принято), потом вдруг разражалась хохотом, и у неё появлялось это сумасшедшее выражение на лице – от неё можно было ожидать всего, чего угодно. Я надеялась узнать от

неё побольше о её брате, моём отце, которого совсем не помнила – ведь он умер, когда мне ещё не было и двух лет – но эти надежды не оправдались. Единственное, что удалось услышать, так это её злой возглас: – Он всегда стыдился своей сестры! Я поймала себя на мысли, что очень хорошо могу себе это представить. Она уже тогда была эмансипированной и экстравагантной особой, одновременно истеричной и бессмысленно вызывающей, без какого-либо уважения к другим, в том числе и к своей дочери, которую своим беспощадным контролем едва не довела до самоубийства. Никогда не забуду, как на следующее утро после моего приезда в Йель, моя кузина (пожилая женщина) вдруг в одной ночной рубашке возникла в дверях моей комнаты – мне ничего не оставалось, как предложить её лечь в мою кровать. Внезапно она заплакала и, в ответ на мой вопрос, запинаясь, рассказала о своей неудавшейся жизни под кнутом этой матери, которая даже требовала, чтобы дочь брала её с собой на свидания с молодыми людьми. Сначала мне стало смешно, таким нелепым это всё казалось. Потом я поняла, насколько здесь всё серьёзно. Ненависть, которую дочь испытывала к матери, была неописуемой. Чтобы вынести это чувство, она сочинила себе вымышленную биографию из прошлой жизни. В ней она, будучи на самом деле женщиной, представляла себя сыном индейского вождя самого благородного происхождения, в её воображении он попадал в плен, и с ним случались самые разные приключения. Я слушала и не могла поверить. Было очевидно: для неё это всё – правда. Потом она ещё рассказала, что как-то в приёмной зубного врача в американской клинике она только по одному взгляду узнала своего соратника из прошлой жизни, что ещё больше уверило её в своих фантазиях. Поскольку она непоколебимо верила в возрождение души, то считала, что в этой жизни она должна делать как можно меньше ошибок, чтобы не быть наказанной слишком частыми перерождениями. Прежде всего, в отношении её матери, с которой она выработала определённые правила общения. Это звучало так: – Мамочка, что

мне сделать, чтобы тебе было хорошо? – Мамочка, тебе подогреть стаканчик молочка? – Тебе точно удобно, мамочка? – Мамулечка, может тебе всё-таки принести плед? И так далее. Я с трудом это могла вынести. Было слышно, как отчаянно она пыталась скрыть свою ненависть к ней. В то утро я поняла, насколько разрушена жизнь моей кузины, насколько она несчастна.

И вот она приехала в Бретань. В обычной жизни с ней можно было хорошо ладить. Она хорошо разбиралась в людях, кое-что понимала в психологии, была очень наблюдательна. Казалось, с ней всё в порядке. Но однажды, когда мы с ней сидели на лугу, она начала рассказывать страшные вещи – о каком-то интернате, где она побывала, и где дети терпели всяческие зверства. Там даже проводились тайные ритуалы, во время которых детей убивали и приносили в жертву – похоже на то, что это была какая-то сатанистская секта или что-то вроде того. Вначале всё звучало так правдиво, что у меня волосы на голове зашевелились от ужаса. Но когда я спросила, почему никто из детей не попытался сопротивляться этому, почему никто не рассказал родителям, почему ни один ребенок не сбежал, почему гибель детей не привлекла внимания полиции, она, таинственно улыбнувшись сквозь слёзы, сказала, что это всё не имело смысла, потому что так уж им было предначертано судьбой, и что у них всех был слишком силён страх.

Я стала размышлять: действительно, бывают такие секты и прочие религиозные общины. Многие из них были раскрыты и ликвидированы в Америке именно за последние тридцать лет – и всё же: безучастность, с которой она об этом рассказывала, её почти истерическая радость по поводу того ужаса, который мне внушала её страшная сказка – я знала, что среди психологических патологий есть так называемая псевдология. Больные люди придумывают совершенно новые истории собственной жизни и, не делая ни одной ошибки, постоянно рассказывают их, так что под конец сами в них верят и не чувствуют, что лгут. Когда я рассказала об этом Фиме, он сухо сказал: – Она абсолютно сумасшедшая! Как ты можешь верить во всю эту

чушь? Мне жутко становится от этой женщины. Я с облегчением вздохну, когда она уедет.

Откровенный ответ, но он прозвучал как-то слишком резко для него. Я почувствовала, что здесь есть нечто, внушающее ему страх, то, от чего ему становится тревожно. То, от чего, как ему кажется, он должен защищаться. Позже он также жёстко прореагировал, когда мы навещали мою давнюю подругу, которая к тому времени страдала тяжёлой формой алкоголизма (я об этом не знала). Не в силах и минуты вынести её взгляда, он сбежал из её квартиры. Его собственный друг Ференц, страдавший болезнью Альцгеймера, тоже поверг его в состояние беспомощности – также как и моя кузина теперь. Он не обмолвился с ней ни единым словом. Но к нам ведь не она одна приехала, кроме неё было ещё около двадцати пяти гостей, и все они, будучи совершенно разными людьми, тем не менее пришлись ему по сердцу. Все много и весело смеялись, явно великолепно себя чувствовали – за одним исключением: его составляла бывшая подруга моего сына, которую я тоже пригласила, потому что думала, что он один не справится с их двухгодовалым ребёнком. Слишком поздно я поняла, что сын отлично во всём разбирается и очень привязан к мальчику, хоть тот и живёт с матерью. Я пригласила её, не спросив его – оказалось, что это была ужасная, чуть не ставшая смертельной ошибка, ведь оба больше совершенно не могли выносить друг друга. Однажды вечером, когда сыну хотелось немного поболтать со своей сестрой и кузинами – они все давно не виделись – между ним и его бывшей подругой вдруг вспыхнула ссора. Я увидела, как она вне себя прыгнула в машину, посадив ребёнка на заднее сиденье, взвизгнули тормоза, и автомобиль яростно рванул со двора. – Ой-ой, – машинально подумала я, – только бы добрались удачно!

Спустя два часа раздался звонок, и незнакомый голос сказал: – Пожалуйста, приезжайте в деревню П. Ваша родственница попала в

серьёзную аварию. Машина разбита. Но не переживайте: с матерью и ребёнком всё в порядке, не считая пары царапин.

Я тут же приехала туда, обнаружила Петру под присмотром медсестры-англичанки, которая по случайному стечению обстоятельств там жила, увидела аварию из окна и пришла на помощь внуку и его матери. Нам всем было очень трудно сочувствовать Петре.

Фима думал по-другому. Она сказал:

– Если Вы её уже пригласили, то не имеете права игнорировать её. В конце концов, она наша гостья.

Мы все протестовали, приводя тысячи аргументов, но он оставался непоколебим.

По крайней мере, найдите для неё другое хорошее жильё, может быть, прямо на берегу, где бы она могла сходить с ребёнком к морю.

Именно так мы и сделали через пару дней. Но что бы мы ни предпринимали, всё было тщетно: она была обижена, и хотела, так сказать, насильственно войти в семью, хотя мой сын ни дня не прожил с ней вместе и не собирался этого делать в будущем. Сложная ситуация. Но какой семейный праздник обходится без таких сложностей и проблем! Когда всё это закончилось, и к тому же моя кузина через несколько дней улетела в Америку, мы могли радоваться, что наконец-то всё идёт хорошо, и что у нас установилась совершенно непринуждённая, радостная и чудесно доверительная атмосфера. Сколько совместных прогулок было у нас в оставшееся время, то в той, то в другой компании. С разными вариантами меню, приготовленными то одним, то другим из гостей. С играми на лугу, разговорами, поездками к морю, купанием, радостью детей от общения со Снуки, которая носилась у нас под ногами и радовалась большому количеству людей, в то время как Фима при случае исчезал в своём кабинете, чтобы поработать часок. Все помогали наводить порядок, мыть посуду, делать покупки, все были в хорошем настроении. А больше всех Фима,

озарявший нас улыбкой, каждый раз, когда выходил из дома и видел наш гудящий рой на лугу. Именно таким он представлял всегда это место: полным движения, любви, детских голосов – одним словом, музыки жизни, которую несёт в себе не вызывающее сомнений, насыщенное настоящим счастье. Ещё никогда не было так, чтобы столько весёлых людей собралось здесь на целую неделю.

Столь же бурной была и благодарность всех, когда пришло время возвращаться домой. Фима узнал, насколько его любят и чтят – как и на его восьмидесятилетии это нашло выражение в многочисленных тостах; маленькие дети его просто боготворили. Потом они повесят его фотографии над кроватками, и на вопрос, кто это, будут отвечать: – Мой дедушка.

И вот мы снова остались одни. Всё постепенно вернулось на круги своя, наши исконные ритуалы снова вступили в права. Мы вновь сидели на улице в сумерках – здесь они длятся на два часа дольше, чем, например, в Берлине. Летучие мыши вздрагивали в ветвях, сонно щебетал королёк. Тихим довольным голосом Фима шептал в тишине:

*– Можно?*

С тех пор мы почти каждый год устраивали такие семейные встречи, всякий раз в новом месте. И каждый раз на них приезжали новые гости, новые избранники и избранницы детей и внуков, новые дети. Только что по телефону я узнала, что мой сын и его новая подруга ждут ребёнка: это будет мой пятый внук, даже седьмой, если считать двоих детей мужа Саскии, уже не говоря о внучатых племянниках. Ефим же всегда с нами. Немыслимо не думать о нём бесконечно, не показывать его фотографий, не рассказывать историй о нём. До сих пор он остаётся единственным, кто покинул нас на этой земле – он и американская кузина, которую он считал сумасшедшей. В конце своей жизни она всё-таки обрела покой, поселившись в сельской общине художников Уилмингтона, в США, где все друг о друге заботились, и ни один не чувствовал себя одиноким. И кто знает: может быть, по её вере

она теперь возвратилась в эту жизнь  в каком-нибудь другом образе – может, в образе индейского вождя? Или Екатерины Великой, с которой она тоже чувствовала таинственную связь? *Никто не знает*…

**Тень**

Тогда, в 1999 году, мы жили в просторной четырёхкомнатной квартире в Потсдаме, в окружении трёх парков и в пяти минутах от озера и реки Хафель, каналы которой пронизывают город, как бы обнимая его со всех сторон. Вода там повсюду, мы чувствовали себя, будто в Венеции, особенно там, где старые каналы не были засыпаны по распоряжению правительства ГДР. Фима только раз бросил взгляд на эту квартиру и сказал: – Конечно, мы берём её – её и никакую другую! Она идеальна.

Из неё можно было прямо в купальнике через парк пройти к озеру, чтобы искупаться утром. Кругом никого, озеро принадлежало нам, и Фима был в своей стихии. Предыдущее наше жильё – арендованный нами частный дом с прелестным внутренним двориком и террасой на крыше, которую я попросила сделать специально для Ефима, к большому нашему сожалению, стало невыносимым из-за расположившейся в этом же дворе  пиццерии, всё больше расширявшейся и каждый день в течение двенадцати часов заполнявшей всё чесночными ароматами. Ещё хуже было другое: хотелось нам того или нет, но если мы садились пить чай на террасе, то вынуждены были слушать разговоры посетителей внизу, доносившиеся так отчётливо, что мне становилось просто неприятно. Фима тоже хотел переехать. И вот я начала искать и нашла эту новую квартиру, по странному стечению обстоятельств располагавшуюся в жилом комплексе, который в народе назывался «русским блоком». После окончания войны русские построили в этой великолепной местности несколько домов, куда были заселены семьи офицеров. К тому времени, как мы сюда переехали, весь этот комплекс был

реконструирован, и со своими роскошными балконами в окружении виноградников выглядел как старая помещичья усадьба. Но у жителей Потсдама с ним было связано много отрицательных воспоминаний, и они не хотели в нём жить. Поэтому здесь селились в основном приезжие. Вначале огромные квартиры годами пустовали, стены домов разрисовывались граффити. Цена из-за этого становилось всё более выгодной. Мы въехали. Точнее говоря, въехала я, потому что из-за перенесённого восемь лет назад микроинфаркта Фиме нельзя было поднимать тяжести. Мне постоянно приходилось удерживать его от попыток подвергнуть себя опасности – он, конечно же, хотел быть рыцарем и нести всё сам. Поэтому я предпочитала заниматься переездом в его отсутствие. О том, что при этом я вывожу из строя собственную спину – у нас было сто пятьдесят коробок с книгами – я в пылу сражения забывала.

Наконец, всё было готово. Приехал Фима. Он был восхищён. У нас была огромная уютная кухня с большим обеденным столом, в которой места для гостей было как у Льва (Копелева). У каждого из нас здесь был собственный кабинет и своя ванная комната, и гостиная была величиной в сорок квадратных метров, с французскими панорамными окнами от потолка до пола, как ему нравилось, и видом на вековые деревья. В первый вечер мы сидели на одном из наших трёх балконов и смотрели снаружи сквозь стеклянные двери в нашу комнату. Было лето, стояла чудесно мягкая погода. На улице было темно, а комнату освещали лишь свечи. Будто во сне. Перед нами стояла бутылка нашего вечернего красного вина.

– Будь здоров, Фимочка, – сказала я. – Мы дома.

– Отсюда мы никогда уже не уедем. Будь здорова, Элькеляйнхен. Здесь прекрасно. Мы каждое утро будем ходить купаться. Разве может быть что-то лучше?

Его счастье было полным.

Это было за полгода до его смерти. Его слова сбылись: вместе мы уже действительно оттуда не уехали.

### *Посреди жизни мы мертвы*[52]

Как писать о самом страшном? Как – о потери самого любимого из всего? Образы и химеры восстают из колодца прошлого. Передо мной гостиничный номер в Милане. Фима лежит в кровати. Только что он прочёл в университетском зале доклад, заслуживший бурные аплодисменты. Но уже когда он говорил, я видела, что ему плохо. Я с трудом увела его в гостиницу. Он не хотел, чтобы кто-то что-то заметил. Но уже вчера, когда мы навещали подругу Льва Разгона в её квартире, ему пришлось сильно сдерживать себя, чтобы её не напугать. Мы непременно хотели ей рассказать обо всём, о чём мы говорили со Львом, когда виделись с ним в последний раз в Москве – и о том, как мы о ней с ним говорили, и о тихих слезах, когда он говорил на прощание (ему тогда уже было больше девяноста лет):

– Я её, наверное, уже больше никогда не увижу.

Какое-то время мы сидели молча, погрузившись в собственные мысли. Подруге Разгона было больше восьмидесяти, но она всё ещё один раз в неделю преподавала в университете в Венеции. Смерть была среди нас, но мы ещё этого не знали. Фима должен был вскоре уйти, он уже чувствовал себя плохо, больше всего страдал от усталости. Все наши слова были последними словами. После этого мы больше никогда не виделись. И больше никогда не виделись со Львом. А через три недели случилось то, после чего и нам с Ефимом уже было не суждено увидеться.

На самом деле, это началось гораздо раньше. Но что опасного в том, если кто-то начинает чаще уставать? Ефиму было почти восемьдесят два, и

[52] В оригинале: Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen… От лат. Media vita in morte sumus (литургический антифон).

он, казалось, был совершенно здоров. Он также совершал свой моцион по утрам, также делал свою гимнастику на свежем воздухе или у открытого окна. У него был хороший аппетит, он работал, по вечерам выпивал свой обычный бокал красного вина за нашими беседами о России и о мире – всё было как всегда. Но он чаще уставал, даже без физических нагрузок. Иногда к вечеру он подходил ко мне со смущённым лицом и спрашивал:

– Это будет неприлично, если я ещё раз прилягу?

Я с улыбкой качала головой и провожала его в кабинет, где он имел обыкновение полчаса поспать после полудня, накрывала его пледом – это был один из наших ритуалов. Иногда ложилась на пять минут рядом. Он всё чаще просил меня полежать с ним, это давало ему чувство защищённости и чистой совести. Он ведь должен был ещё писать в это время. Как он считал.

Его трудовая мораль была непоколебима. Иногда он ещё немного читал, перед тем как заснуть. Когда я через пять минут заходила в комнату, он уже лежал на спине, а книга была у него на лице. Он крепко спал и не замечал, как я её осторожно убирала и целовала его. Так продолжалось уже несколько недель. Поэтому мы отказались от предложения поехать на год в Токио (на полгода они не соглашались). С тяжёлым сердцем я вместо Ефима отменила его доклад в Варшаве, хотя там  были наши друзья, и нам хотелось туда съездить. По телефону было слышно их разочарование, они были бы очень рады нас видеть. Но он был не в состоянии.

К тому времени ему уже нужно было ложиться три-четыре раза в день, даже если он и спал недолго. В остальное время он работал над осуществлением своей последней задачи, которую сам перед собой поставил – над поэтическим переводом поэмы Ицхака Кацнельсона «Сказание об истребленном еврейском народе» с идиша, описывающего гибель Варшавского гетто. Перевод на немецкий был сделан Вольфом Бирманом, но Ефим обнаружил в нём много ошибок. Ему самому приходилось в сомнительных случаях консультироваться у своего друга Арно Люстигера из

Франкфурта, до сих пор общавшегося на идише со своим двоюродным братом кардиналом Люстигером, архиепископом Парижа, когда они встречались друг с другом. Арно написал несколько книг, в которых подробно рассмотрел преследование и сопротивление русских евреев в их собственной стране. За это он получил медаль Моисея Мендельсона в Потсдамском университете. Ефим по этому случаю сказал такую речь, которую никто из присутствующих не забудет – так страстно, трогательно и глубоко человечно в этом научном заведении ещё никто не говорил. Недавно умер и Арно Люстигер.

В дополнение к оригинальному тексту Кацнельсона, который, в конце концов, погиб, хоть его товарищи и хотели его спасти, чтобы он, будучи поэтом, мог свидетельствовать о принятых ими мучениях, я нашла и подарила Ефиму другой текст (как раз сейчас я работаю над посвящённой ему статьёй), который потрясает не менее, хотя его автор Цви Колиц его выдумал, чтобы возвести памятник евреям, что были убиты на его родине в Латвии. По странной нелепости этот художественный текст, исполненный высокого поэтического мастерства, читатели десятилетия подряд упрямо продолжали считать оригинальным дневником из Варшавского гетто. В качестве такового его постоянно публично читали, уже тогда, когда люди знали, что это вымышленный текст, в то время как единственный оригинальный поэтический дневник Кацнельсона стал известен только благодаря переводу Бирмана.

Название этого произведения – «Йосси Раковер говорит с Богом». Ефим был глубоко впечатлён обоими текстами, но они его в то же время и мучили, были невыносимы своими описаниями даже в большей степени психологических, нежели физических мук заключённых, которые, находясь перед лицом смерти, неустанно вели запись преступлений, что творились над ними, в надежде на то, что это послужит уроком грядущему (лучшему) поколению. Публикацию своего перевода поэмы с идиша на русский Ефиму

ещё удалось подержать в руках. – Пожалуй, это самое лучшее и, прежде всего, самое важное из того, что я сделал, – задумчиво сказал он, рассматривая готовую книгу. Я видела, как он радовался, что смог закончить эту работу. Это было как возвращение к корням. Как часто мы говорили о своей принадлежности или непринадлежности к еврейству – о его, идущей, прежде всего, от любимого им отца, и о моей – от матери и бабушки; о его – с где-то глубоко внутри спрятанными воспоминаниями раннего детства о молитвах, значения которых он не понимал, даже если губы его и могли, будто во сне повторять звуки их слов, и о моей, исполненной нежных воспоминаний о женщине, которой я никогда не знала, о бабушке с её великим сердцем и прагматичностью в быту – мама рассказывала о ней тысячи смешных и порой трогательных историй. Как и её муж, мой дед, бабушка вовремя успела умереть от болезни сердца, до тех пор, как её смогли бы схватить палачи Гитлера.

Было мало тем, о которых мы за эти десять лет не говорили, только об одном с Ефимом нельзя было завести речь: о смерти. Те два раза, когда она давала нам предупреждения, он скоро вытеснил из своего сознания, он забывал о них тем быстрее, чем больше шёл на поправку. И вот он лежит передо мной в этой гостиничной комнате в Милане и тяжело дышит, а я пытаюсь поднять всех, чтобы в субботу найти врача, который бы смог нас посмотреть. Сносно объясняясь по-итальянски, я смогла договориться с владельцем гостиницы, чтобы он сделал соответствующие звонки, и вот через час к нам действительно пришла энергичная, приветливая врач средних лет, очень тщательно осмотрела Ефима, постаралась нас успокоить, при этом взяв обещание, что по возвращении домой мы сразу же явимся в больницу для проведения более точного обследования.

На прощание она улыбнулась мне и сказала: – Il é un giovane (он ещё юнец), имея в виду, очевидно, его хорошее физическое состояние.

– Le Prince de la Jeunesse, – всплыла у меня в памяти преисполненная любви речь Шимона Маркиша другу на День Рождения. С тех пор прошло меньше двух лет.

Сегодня мне ясно, что врач сразу поняла причину плохого самочувствия Ефима. Скорее всего, она также сразу поняла, что мы можем вообще не вернуться домой вместе, если не сделаем этого сразу же.

Прощание, предстоявшее нам на следующий день, стальными кольцами сжимало наши сердца. Друзья и коллеги, от которых больше невозможно было скрывать, что Ефиму очень плохо (несмотря на укол, который поставила врач), безуспешно пытались не показывать своей боязни. Хоть никто и не желал, чтобы это стало правдой, они догадывались: ни одному из них его больше не увидеть. За их ободряющими улыбками прятался страх – только бы не допустить, чтобы он вышел наружу. Кто бы стал говорить о смерти в переполненном чемоданами и людьми лобби отеля? Отвратительная ситуация, одновременно вынуждающая лгать. Я была рада, когда мы, наконец, оказались в самолёте, когда прибыли в Потсдам и я довела совершенно измождённого Ефима до кровати. Только ни о чём не думать сейчас! Только чтобы он не заметил моего ужаса! Ночь была полна призраков.

На следующий день, рано утром, не позавтракав, мы уже сидели в отделении экстренной госпитализации клиники Бергмана в Потсдаме. Мы оба почти глаз не сомкнули. Когда меня спросили, какие у Ефима были жалобы, я инстинктивно вспомнила о трудностях с пищеварением, которые в последнее время, действительно, уже было невозможно больше скрывать, но которые Ефим недооценивал. В панике мне показалось, что этого может быть недостаточным для явки в отделение экстренной госпитализации. Но по лицу принимавшего нас врача так было не сказать, похоже, для него это было серьёзным основанием. Потом подошла женщина и представилась как наш

лечащий врач. Я сразу же прониклась к ней доверием, Ефим тоже с надеждой заулыбался.

– Послушайте, – обратилась она ко мне, – нам сейчас понадобится часа полтора. Ваш муж, насколько я уже сейчас понимаю, очень болен и в любом случае должен остаться здесь. Вам в это время лучше сходить домой и принести ему необходимые вещи: бельё, зубную щётку и прочее. Когда Вы вернётесь, мы уже сможем сказать что-то большее.

С этими словами, она взялась за ручку каталки и повезла его прочь. Ещё было очень рано. На улицах было тихо. – Она точно выяснит, что его мучает, – снова и снова механически думала я. – У него ведь нет сильных болей, только эта странная слабость – это не может быть что-то по-настоящему плохое. Боже, только бы ничего плохого!

Чтобы остановить мельничное колесо в своей голове, я пошла в душ, смертельно усталая и погружённая в свои мысли. Я тщательно намыливала всё тело, будто пытаясь смыть с себя все страхи. Вдруг моя рука остановилась – я ещё и ещё раз провела ей по этому месту: здесь было что-то твердое, чего раньше не было, уплотнение, как желвак. Что-то, что вызывало боль при прикосновении. Мои мысли резко остановились.

С мучительной ясностью я поняла: это то, что называется узел в молочной железе. Когда он появился? Вчера? Неделю назад? Нет, в этом я уверена, я бы заметила. Эта ужасная ночь заставила его вздуться, моё подавляемое отчаяние вбило его мне в тело. Я всё время дотрагивалась до него. Это было больно. – У меня рак, – не веря себе, громко сказала я. – У меня рак груди, как и у первой жены Фимы. Как у Фриды Вигдоровой, которую он так любил. Как у многих других. Именно теперь, когда Фима так болен. Слова гудели у меня в голове, будто заезженная пластинка. В тот же момент я решила: он не должен об этом узнать – ни при каких обстоятельствах.

Катя умерла от рака груди, Фрида умерла от рака груди. Собственно, почти все женщины, которых он любил за свою долгую жизнь. Он давно испытывал из-за этого чувство вины – как будто он был причиной. До выздоровления он ни при каких обстоятельствах не должен был об этом узнать. Мой мозг лихорадочно работал. И вот уже я наметила предварительный план: если сейчас вернуться в больницу, чтобы больше узнать о Ефиме, то можно тайно попросить сделать мне биопсию; если это действительно рак, то я сразу же должна договориться об операции – может быть, мне удастся всё закончить до того, как Фиму выпишут из больницы; до этого нужно ещё позвонить в университет и предупредить, что я больна. Мои мысли стучали во мне, как механические колёсики… Я поехала в клинику. Врач уже ожидала меня. Она сказала: – У вашего мужа рак кишечника в очень поздней стадии, практически неизлечимый, с множественными метастазами в печени. Ему немного осталось. Тем не менее, мы должны его как можно скорее прооперировать, чтобы не было непроходимости кишечника. Если всё пройдёт удачно, после этого можно провести химеотерапию, потом, возможно, облучение. Я ещё должна сказать вам, что у пациентов на этой стадии меняется характер. Это будет тяжело для вас. Я знаю, о чём говорю: у меня у самой муж два года страдает этим же заболеванием, может, только ещё в более ранней стадии. Он лежит у нас дома, и мне с ним очень тяжело. Иногда мне кажется, я не выдержу больше.

Я смотрела на неё и понимала, что она совершенно честна со мной, что она желает нам только добра, что она очень добросовестна, и что жизнь её саму потрепала. Одновременно её слова разрывались во мне осколочными бомбами: никакого выхода, никакой лазейки на свободу из этого кошмара, из этой ужасной клиники. Быть не может! Рак кишечника! Рак груди! Поздняя стадия! Самое плохое – его усталость – он был смертельно болен, а мы жили совершенно «нормально»! Почему боль не подавала сигналов? Почему не было никакого предупреждения? Если бы она только знала, – думала я. – Как

я буду за ним ухаживать, если я сама больна. Что делать? Как мне это сказать ему? Захочет ли он, вообще, знать об этом? Что сделает с ним эта новость? Она для него будет как гром среди ясного неба… Врач прервала эту вереницу оборванных фраз в моей голове, будто умела читать мысли: – Я сама с ним поговорю.

К этому времени его уже привезли. На его лице застыло напряжённое ожидание, но вместе с тем и что-то вроде доверия. Он доверял ей. Смотря на него твёрдо и дружелюбно, она сказала ему всё в тех же словах, что и мне: – Господин Эткинд, вы очень больны. К сожалению, обследование показало, что у вас рак кишечника. Неизлечимый, с множественными метастазами в печень. Это значит, что вам осталось мало.

Он смотрел на неё с почти детским удивлением, долго молчал, поначалу не в силах найти ни слова. Потом он спросил, очень вежливо и одновременно с недоверием: – Вы хотите сказать, что это приговор? Она кивнула, обеспокоенная его кажущимся хладнокровием: –Если вы это так хотите назвать.

Потом она по-деловому объяснила ему то, что до этого объясняла мне. Сообщила, что его как можно скорее нужно оперировать. Что она уже передала всю нужную информацию в соответствующие отделения. Что главный врач в курсе. Что кровать для него приготовлена. Её способность действовать правильно вызывала восхищение и одновременно пугала. Но она знала по опыту: делать своё дело – это единственное, что может помочь. Во всяком случае, в такое время. Кроме этого, её уже ждал следующий пациент. Она дала нам указания по поводу следующих шагов, отправила на МРТ, сдавать кровь, а после к оперирующему врачу. Я видела, как ей было тяжело говорить такое. При всей чудовищности ситуации я была ей благодарна за откровенность.

Но тогда я должна была сначала проводить Ефима до его комнаты. Выяснилось, что с ним лежит ещё один пациент, очень плохо слышащий

мужчина, который не обратил на нас особого внимания. Тем лучше, можно спокойно поговорить – я, правда, подумала «спокойно»? У Фимы было такое лицо, как тогда, когда он прибирался на своём письменном столе: молчаливое, сосредоточенное, методичное, как если бы он, закончив старую работу, ещё не успел приступить к новой. А разве не был он теперь между жизнью и смертью? Разве есть более тяжкий труд, чем смотреть смерти в глаза?

Когда в самом сокровенном внутреннем мире появляется это знание? Врач сказала, ему осталось полгода, год или больше, скорее меньше – это зависит от того, что обнаружит хирург, когда будет его оперировать. Что это будут всего три недели, даже она не ожидала. Но этого мы ещё не знали.

Фима уже лежал в кровати. Теперь мы понимали, почему ему было так плохо, почему в последние сорок восемь часов ему постоянно так давило живот, почему он чувствовал себя таким больным, почему была постоянная усталость. Скорее всего, он за всю свою жизнь ни разу не проходил ни одного профилактического обследования, и мне было ясно, что я тоже его не заставлю этого сделать.

– Зачем? У меня ведь ничего не болит, – сказал бы он и со смехом отверг бы эту идею.

Мне только однажды удалось отвести его в больницу, тогда у него возник подозрительный желвак на плече, и я почти силой притащила его к своему домашнему врачу. Тот вскоре дал отбой: – Ничего страшного, просто сгусток извести и жира. Можете не обращать на это внимания. Впрочем, у меня постоянно было ощущение, что для него всегда оставалась травмой смерть жены; после ещё были возникшие немного позже проблемы с простатой, которые вскоре были полностью устранены, в Канаде ему один раз тоже было плохо – там с ним, по крайней мере, была его дочь, которая о нём позаботилась. Потом семью годами позже в Берлине случился, хоть и

лёгкий, но инфаркт,  столь неожиданный и для него, и для меня. Теперь, оставшись ненадолго наедине, мы не могли вымолвить ни слова. Мы молча смотрели друг на друга. Потом он закрыл глаза, и я почувствовала его внутреннее смятение. И снова подумала: Он ничего не должен узнать об этом. О том, что со мной. Никогда! В конце концов, мне сказали, что я должна идти, потому что сейчас нужно провести ещё ряд исследований.

– Лучше всего, если Вы придёте завтра, – посоветовала мне медсестра. – Тогда Вы сможете поговорить с главным врачом.

Как ни странно, я испытала облегчение от того, что меня отправили домой. На меня обрушилась масса всего того, что нужно было сделать. Всё зависело от того, смогу ли я убедить гинеколога, сразу же начать моё лечение. Я попрощалась с Ефимом. Теперь у него уже не было много времени для мыслей, его будут посылать из одного отделения в другое. Я знала, что пациенты с раком кишечника перед операцией должны выпивать много литров противной жидкости. Возможно, для того чтобы с этим справиться, ему понадобится несколько дней. В этот краткий промежуток времени я должна была уладить всё, что имело отношение к моей собственной болезни.

Мы обменялись последними, долгими, тяжёлыми взглядами, и Фиму забрали. Я поспешила в расположенное двумя этажами ниже гинекологическое отделение. Обратилась к первому проходившему мимо врачу. Каким-то чудом он остановился, привёл меня к себе в кабинет и выслушал мою историю. По мере того, как я говорила, его взгляд наполнялся теплом и пониманием, я едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Для этого еще не было времени. После этого он сказал спасительные слова: – Если вы хотите, мы можем прямо сейчас сделать биопсию, это недолго. Только перед этим надо ещё быстро сделать МРТ, чтобы определить расположение узла. Сказано – сделано. Чем скорее это произойдет, тем меньше у меня будет времени для страха перед длинной иглой, которой он

без наркоза будет прокалывать мне грудь, чтобы взять пробу ткани из опухоли. Через пятнадцать минут всё закончилось, и можно было с большей или меньшей определённостью сказать, что это злокачественное новообразование. Пробы были отправлены в лабораторию. Через несколько дней мне должны были сообщить дату операции. У меня закружилась голова. Удастся ли мне, всё это вынести так, чтобы Фима не заметил? Уже сейчас я чувствовала прочную оболочку одиночества вокруг себя, отделявшую меня от той – здоровой, весёлой, беззаботной. Мне нужно было время для моего ужаса, для того, чтобы планировать, действовать, принимать решения, мне хотелось, чтобы меня обняли. Но кто? Как там дела у Фимы?

Я должна была обязательно его ещё раз увидеть. Я снова побежала на два этажа вверх по лестнице.

После многочисленных анализов и указаний он выглядел совершенно измученным. Лежал с закрытыми глазами, но руку мою держал крепко, не хотел, чтобы я уходила. Что происходило у него внутри? Был там хаос, или он уже начал приводить свои чувства в порядок? Можно ли, вообще, справиться с этим так быстро после того, как тебе сказали, что скоро умрёшь. И что значит «скоро»? Странно, как перед таким знанием всё теряет значение: все оценки, все мерки, все планы. Всё, что раньше было естественным, становится особенным, получает печать – или ауру – происходящего в последний раз. Отпадает всё суетное, все мелкие страхи отступают перед великим страхом небытия. И любовь стремится сделаться прочным панцирем, чтобы надёжно укрыть другого, защитить его от всех ужасов, в том числе связанных и с медициной. У кого достанет внутреннего спокойствия вправду попрощаться – сделать то, что всё твоё существо отрицает, отвергает, то, чего страшишься! Внезапно такими тривиальными кажутся заботы о здоровье – его уже всё равно не вернуть. Что-то большее пришло в дом. Перед ним нужно выстоять. Теперь. Каждому по-своему и собственными силами. – Господи, – снова и снова думала я, – дай мне

защитить его, помочь ему сохранить его жизнерадостность до самого конца, когда бы он не настал, не оставить его одного из-за моей болезни, дай сил для всего, что бы ни произошло…

Внезапно Фима открыл глаза. – Как было бы хорошо, если бы мы ещё смогли съездить в Грецию, мне всегда этого хотелось, – будто откуда-то издалека сказал он. Как это часто случалось, я была совершенно поражена. Вопреки тому, что было хорошо известно, вопреки всем моим страхам я попыталась ободрить его: – Так, может, ещё и съездим. Мы же побывали в Тоскане, в замках Луары и на самом диком западе Бретани, где кальверы. Помнишь? Я нарочно называла те места, куда мы с ним ездили только отдыхать, почти без каких-то рабочих планов.

Он кивнул: – Да, возможно. Но, скорее всего, нет. Это нам, наверное, уже придётся перенести на другую жизнь. Он пытался шутить, но внезапно горе переполнило его так же, как и меня.  Ощущение конца скорыми шагами настигало нас. Все слова стали другими, они лгали, причиняли боль и были бессильны. Мы молча смотрели друг на друга, погружённые в мир фантазий – настоящих и прошлых. И тут он меня снова удивил:

– Я никогда не хотел, Элькеляйнхен, чтобы тебе пришлось за мной ухаживать. Как бы охотно я тебя от этого избавил. Но тебе ведь был нужен этот старый еврей… Он снова попытался пошутить, но ему было не до шуток. Наша разница в возрасте, никогда не игравшая какой-либо роли, вдруг виной легла на его сердце – как будто того же самого не могло произойти и с его ровесницей. Как будто бы он сам не ухаживал с любовью за своей больной раком женой перед её смертью. Нужно ли мне было говорить, что я готова делать это со всей своей преданностью? Что это мне ничего не стоит? Что я могу быть очень терпеливой – столько, сколько он захочет прожить? Я не сказала ничего подобного, но своей душой он меня услышал.

– Я знаю, что ты сможешь, что ты сделаешь всё возможное. Ты и так уже меня балуешь всё это время… Направление его мысли снова сменилось. – Может, нужно позвонить в Петербург, – он вопросительно посмотрел на меня. Я знала, кого он имел в виду: ту свою давнюю подругу. Столь многие из его старых друзей уже умерли: Гриша, Игорь, Инна, Меттер, Елена и без числа других. Вопреки гордиевым узлам, что завязала наша жизнь, та, что дала ему дочь, оставалась его верной подругой. – Я думаю, ты должен позвонить всем, кому хочешь, всем, кто, как тебе кажется, будет рад тебя слышать.

Ему стало как-то легче. Я понимала, что это снова и снова проявлялось чувство вины и что-то от давней благодарности за то, что она ради него на себя взяла: за то, что она заботилась о его матери, за то, что она её хоронила, когда ему запрещено было въезжать в страну, когда он был персоной нон грата; за трудности, с которыми она растила его ребёнка, его дочь, за то, что ей пришлось свыкнуться с его новой женой – то есть со мной, за хлопоты с нашей петербургской квартирой, за улаживание всех связанных с ней бюрократических процедур. Я дала ему свой мобильный телефон:

– Ты хочешь остаться один? Мне выйти?

– Нет, Бога ради, не оставляй меня одного!

Страх стерег нас в своём укрытии. Страх перед призраками, мучившими его каждую ночь, страх перед тем, что он упустил и в чём был виноват, перед тем, что не удалось завершить, страх не успеть сказать спасибо в последний раз. Он набрал её номер. Сдерживая себя, поговорил с ней, сказал о своей болезни, и тут самообладание покинуло его. Будто гигантской волной захлестнуло его осознание того, что это, возможно, их последний разговор – безуспешно боролся он с подступающими слезами, сколько он ни пытался, больше ему ничего не удавалось сказать, бессильно он отдал мне телефон. Я знала, что он был главным смыслом её жизни – по-другому, чем для меня, но всё же – она знала его гораздо дольше, связывала с ним надежды, счастливые

моменты и разочарования, о которых я ничего не знала, только догадывалась – ведь они минули меня. Какой лабиринт чувств!

*О, счастлив тот, кому дана отрада -*
*Надежда выбраться из непроглядной тьмы!*[53]

Фима вновь обессилено закрыл глаза. – Может, ты ей завтра снова позвонишь, – сказала я. – Она точно будет ждать твоего звонка. Он не ответил, глаза его были закрыты. Внезапно он снова заснул. Как это уже часто случалось дома. Когда я хотела убрать руку, чтобы уйти, он вздрогнул, и моё сердце мне этого не позволило. Прошло много времени, прежде чем он заснул так глубоко, что я смогла тихонько выскользнуть. Нужно было столько всего сделать, организовать, со столькими переговорить по телефону, стольким отказать, нужно было многое подготовить и многое обдумать… А хотелось забиться куда-нибудь и просто выть, но этого я ещё не могла себе позволить; я была в беспощадных тисках своей привычки к дисциплине и необходимости всех этих организационных вещей.

С того времени, уладив по телефону всё, что было необходимо, я каждый день по двенадцать часов сидела с ним. Моя операция была назначена через два дня после его операции. Стулья были жёсткими, всё сильнее болела спина. Но, пробуждаясь из забытья, он всякий раз хотел видеть меня. Я пыталась не показывать своего горя, и он черпал в этом уверенность. Ему что-то давали от болей, наверное, ещё что-нибудь успокоительное – в таких ситуациях так часто делают, чтобы отчаяние не усугубляло общего состояния. Пациентам этого обычно не говорят. С ужасом и отвращением он отвергал ту знаменитую жидкость – он должен был

[53] И.В.Гёте «Фауст». Пер. с нем. Н.Холодковского

ежедневно выпивать её по четыре литра – это было невыносимо. Он храбро пытался, снова и снова, маленькими глотками – но от этого ему становилось только хуже. В какой-то момент он восстал против неё, и я его в этом поддержала. Зачем все эти мучения, если наше время, его время и без того уже было сочтено. Я приносила ему из дома то, что он любил из еды, ведь больничная пища совершенно безвкусна. Мне казалось, ему даже в этом состоянии удавалось не думать о смерти, исключать её до самой операции. Она была уже назначена: через шесть дней. (Как я уже знала, меня должны были оперировать через два дня после него).

В оставшееся время врачи пытались уменьшить его опухоли медикаментозно. Но я заметила, что в его лице постепенно стала появляться желтизна, которая не проходила. Печень работала всё хуже. Но болей у него не было, и он был в здравом уме. Иногда он смотрел на меня полным сочувствия взглядом и говорил: – Бедная Элькеляйнхен, скоро ты останешься совсем одна. Так ты этого себе не представляла. Конечно, я знаю, что у тебя много подруг и друзей, но это всё другое. Как нам всегда было хорошо вместе! Разве она не была великолепной – наша жизнь? Что, правда, прошло уже почти десять лет? Как часто мы понимали друг друга с полуслова. Как чудно мы путешествовали вместе. Помнишь, что Лессинг написал своему другу, после того, как его жена умерла в родах? Я сразу по памяти сказала эту фразу, всегда казавшуюся мне такой трогательной: «Она была единственным человеком, с которым я мог путешествовать». – Точно! У нас ведь тоже так было, правда? Мы оба были любопытны, любили приключения, были жадны до искусства и архитектуры, одинаково сильно переживали столкновение с неизведанным, радовались природе… Только водить машину ты мне больше не доверяла, потому что слишком боялась, помнишь?... Это звучало так, будто с тех пор уже десять лет прошло. Историям, которые начинались со слова «помнишь», не было конца. Я и правда уже два-три года не давала ему водить. С какого-то момента я стала

ловить себя на том, что каждый раз, заслышав сирену скорой помощи, невольно начинаю думать о том, где сейчас должен ехать Фима – особенно, если он был на пути из Потсдама в научный центр «Wissenschaftskolleg» в Берлине. Я видела, что он водит интуитивно правильно и осмотрительно, но всё меньше обращает внимания на дорожные знаки. Например, на повороте при двухполосном движении, будь то в Берлине или в Париже, находясь на левой полосе, он, не задумываясь, мог перестроиться вправо, не оглядываясь при этом на другие машины. Просто чудо, что с ним до сих пор ещё ничего не случилось, но в такие моменты он не понимал, что совершает опасную ошибку. Когда где-нибудь раздавался звук сирены, я автоматически начинала просчитывать, не мог ли он попасть в аварию, доехал ли он уже до места, по какой дороге он поехал и т.д. Мне было бесконечно жаль отнимать у него радость вождения. Но я не понимала и то, почему я постоянно должна испытывать эти страхи. В конце концов, однажды в детстве я уже переворачивалась в машине, только чудом избежав травм.

Но с тех пор мне всегда было страшновато, когда кто-то вёл машину – до тех пор, пока не убеждалась, что нахожусь в хороших руках. Иногда он ещё мог затормозить посреди дороги с оживлённым движением, чтобы не спеша прочитать табличку с названием улицы. Я успевала в это время тысячу раз умереть – как тогда, когда в Праге он слишком быстро ехал по занесённой снегом дороге. Со временем таких ситуаций становилось всё больше. Особенно памятной была одна из наших бесчисленных поездок в Испанию. Когда погода позволяла, мы с огромным наслаждением выискивали самые красивые места для пикников, устраивали там сиесту. Помимо хлеба, сыра, маслин, ветчины, фруктов и прочих вкусностей при этом полагалось, конечно, местное вино. Часто по дороге  Барселону там, где открывались особенно потрясающие виды, мы останавливали машину и вместе с ней время, устраивали себе праздник жизни в тишине, чтобы не спугнуть очарования. К этому ещё добавлялось чувство свободы, отсутствия

каких бы то ни было обязательств, море перед глазами или одна из разбросанных повсюду древних, часто полуразрушенных часовен неподалёку – туристы у таких не останавливаются, спеша на юг в погоне за убийственным солнцем. Ефим после пикника имел обыкновение и на природе соснуть в своё удовольствие. В машине ему это тоже очень естественным образом удавалось, пока я была за рулём. В такие моменты он отдыхал и был счастлив, просто наслаждаясь тем, что его везут. Но один раз, когда он ещё водил сам, я всё-таки не смогла сдержать своего страха – он тогда проигнорировал сразу несколько дорожных знаков. Сначала я много раз и очень настойчиво пыталась обратить на это его внимание. Потом попросила его, чтобы в других поездках он разрешил мне вести машину. Он был расстроен, несчастен, зол. Отказаться от этого удовольствия было несовместимо с его чувством собственного достоинства, с его представлением о самом себе. Разгорелась глупая ссора, которая, становясь всё яростнее и отчаяннее, наконец, увенчалась тем, что он с пафосом воскликнул: – Тогда нам, наверное, лучше расстаться.

Тогда я ещё не понимала, что он символически воспринимал это как первый шаг на пути к смерти, слишком силён был у меня страх перед собственной смертью, вставшей перед моими глазами при всяком происшествии – как тогда, когда я выползала из перевернувшейся последи поля машины, не зная, жива моя мать или нет. Мы обсуждали эту тему ещё ни одну неделю, и ни один месяц.

Наконец, он принял трудное для себя решение, и нам удалось прийти к единому мнению. Во время долгих поездок и в больших городах, таких как Париж, Берлин, Барселона, Кёльн, Гамбург, Петербург, Хельсинки и пр., за рулём была я. В Бретани, когда мы ехали по небольшим дорогам в сельской местности, он ещё какое-то время продолжал водить сам. Со временем он стал находить всё больше удовольствия в том, чтобы просто ехать, ни о чём не заботясь, и, в конце концов, стал с гордостью рассказывать всем, что его

всегда возит жена. Его удивительная способность видеть хорошее в плохом и делать из нужды добродетель вновь победила.

Теперь передо мной стояла ещё одна проблема: позвонить его дочерям или ещё подождать? Чувство долга говорило: позвонить, а сердце – подождать. Я знала, что после этого произойдёт. Вокруг Фимы сразу столпится множество народу, и он сразу поймёт, что это, так сказать, последняя дань умирающему; чтобы успокоить других, он будет постоянно стараться выглядеть храбрым и весёлым, даже если на душе у него будет скверно; ему нужно будет со всеми поддерживать разговоры, что он ненавидит. Разве можно разговаривать на серьёзные темы сразу с несколькими людьми? К тому же в этой до смерти стерильной больничной атмосфере? Все будут шуметь и хлопотать около него, когда ему больше всего будет нужен покой, деликатность и понимание без слов – быть наедине с собой. Я внутренне разрывалась между стремлением сделать всё, как лучше для него, и одновременно не поступить несправедливо. – В конце концов, его дочери имеют право попрощаться с ним, – думала я. – Как долго нам ещё ждать казни? И кто знает, что врачи обнаружат, когда будут оперировать меня? Если я вдруг в течение долгого времени не смогу быть рядом с ним, или, вообще, произойдёт самое худшее, кто-то должен быть рядом…

В какой-то момент я собралась с силами и спросила у него самого – при том, что он не знал о моей болезни. А он в ответ: – Разве это нужно? Это действительно необходимо? Разве нельзя подождать?

Он ни о ком не спрашивал, был занят самим собой и своей болезнью, и доволен тем, что я по двенадцать часов была вместе с ним. Мои братья, дети и близкие друзья давно знали, что я тоже больна. На всех них я могла бы положиться, как на саму себя, но пока ещё они тактично не навязывались с предложениями помощи, избегая назойливости. Я была им за это благодарна. Через два дня с тяжёлым сердцем я позвонила в Париж и в Торонто, сообщила факты, умолчав о себе, и сказала обеим дочерям, что они могут

жить у нас, если решат приехать. Мне бы и во сне не приснилось, что, в конечном итоге, со всех концов света – из Франции, Канады и Израиля – соберутся шесть человек, которых нужно будет встретить, которые будут постоянно бегать, задавать вопросы, спрашивать, как добраться, хотеть есть и к Фиме, а после возвращения из больницы хотеть, чтобы кто-то их выслушал, поговорил с ними, посочувствовал.

Первой приехала из Парижа Катя. Она старалась не причинять хлопот и изо всех сил держалась, чтобы не показывать ему своего горя. Ей не нужно было пафоса, публики, она не стремилась привлекать к себе внимания. Она не тратила много слов, чтобы выразить свою любовь и привязанность, и что было гораздо важнее, она понимала, как тяжело для Фимы принимать посетителей. При всей своей скромности она приехала для себя, а не для него. И когда увидела его и поняла, что он долго не проживёт, то решила его оставить, доверившись врачам и мне. Через два дня она сквозь слёзы сказала мне, что собирается уехать назад, поскольку сделать для него всё равно ничего не может. Её самоотверженность тронула меня, её честность внушала мне уважение.

Между тем из Торонто прибыла М. – сёстры ещё успели увидеться. С М. приехал её муж Ури и Давид, их общий сын, в семье его называли Пузя. Это был прелестный мальчик лет пятнадцати, деда он нежно любил, хоть видел его не часто и ни слова не знал по-русски, тогда как Фима с большим трудом понимал его американское произношение. Но это, наверное, был как раз тот случай, когда обоих связывало нечто не имеющее рационального объяснения. Какое-то взаимное, почти безмолвное почтение, близкое к молчаливой хэмингуэевской «мужской дружбе», проявляющейся во взглядах, прикосновениях, интуитивном понимании. Было трогательно видеть их привязанность друг к другу. Ефиму, как я понимала, часто удавалось утихомирить волны родительского недовольства по поводу неровностей в школьной жизни мальчика – он, вообще, всегда был на стороне детей, если в

конфликтных ситуациях у них не оказывалось защитника. Никто в этой семье не любил его так нежно, как Пузя. Именно это связывало с мальчиком и меня. Мы познакомились с ним ещё в Торонто, когда пару раз навещали с Ефимом семью его дочери, и я сразу полюбила Давида.

И вот мальчик был здесь – милое открытое лицо, прямой взгляд, сердечная и одновременно грустная улыбка – он стал для меня своего рода утешением, ведь в нём не было ни фальши, ни высокомерия.

Потом из Израиля приехала Ася, внучка Ефима, и привезла с собой его правнука. В какой-то момент мне пришлось объяснить М. собственную ситуацию. Она, из каких бы то ни было побуждений, полностью согласилась с тем, что Фиме не надо ничего знать о моей болезни. Потом Ефима прооперировали. Я настояла на том, чтобы перед этим нас оставили вдвоём. Крепко держа его за руку, я молча проводила его в операционную. Только эти несколько минут нам и удалось побыть друг с другом наедине с тех пор, как прибыли родственники.

*Lasciate ogni sperance voi ch`entrate.*
*Оставь надежду всяк сюда входящий*.[54]

Я знала, Ефим не верил, что выйдет оттуда живым – как тогда, когда мы сквозь ночь и туман, будто от погони, неслись из Италии в Австрию, и он боролся с болью в сердце и страхом смерти.

Но операция прошла успешно. Ему – нам – была дана последняя отсрочка. Через пять часов его перевели в отделение интенсивной терапии, с ним ещё нельзя было говорить, но непосредственной угрозы для его жизни не было. Требовалось ещё несколько дней, чтобы понять, будет ли снова

[54] Данте, Алигьери «Божественная комедия». Пер. с ит. Д.Е.Мин.

работать печень, даст ли удаление опухолей ей облегчение, при множественных метастазах.

Я делала последние приготовления к своей собственной операции, покупала продукты для живущих в доме гостей, записывала для них всю необходимую информацию, раздавала ключи. Катя, увидев, что операция прошла успешно, уехала домой и обещала оставаться на связи по телефону. Между тем я старалась каждую минуту проводить с Фимой – он уже пришёл в сознание, и болей у него не было. Но он был очень слаб, большей частью он лежал с закрытыми глазами, держа меня за руку. Разговаривать ему было невыносимо трудно. Я видела, как кружились мысли в его голове.

На свою собственную операцию я поехала одна. Я попросила М. не переутомлять отца разговорами. Она обещала всё, что угодно. С врачами мы договорились, что они ему скажут, будто я простудилась, и в следующие несколько дней не приду, чтобы его не заразить. Вечером, за день до моей операции, М. пришла ко мне в палату, чтобы рассказать, как тяжело Ефим воспринял моё неожиданное отсутствие. Она жаловалась, что он постоянно спрашивает обо мне, и, похоже, мало ценит то, что она проделала такой долгий путь. Именно в этом состоянии, поскольку я сама уже была на больничной кровати и ещё долго должна была там оставаться, мне пришлось доверить ей самое святое: письмо, которое я, уже находясь в палате, написала Ефиму по-русски, на всякий случай (кто знал, чем обернётся моя операция?), но выглядело оно так, будто я писала его дома. Исследовав каждый уголок своей памяти, я от любви и отчаяния вспомнила все русские слова, которые, как мне казалось, забыла. Получилось, наверное, самое прекрасное, самое нежное любовное письмо из тех, что я ему когда-либо писала.

На РУССКОМ, что его всегда особенно радовало. Но конверта у меня не было, и я обратилась за помощью к М. Некоторое время я колебалась. Мне было больно сознавать,

что чей-то нескромный взгляд мог коснуться моих тайных слов, что кто-то мог подслушать бесшумные речи, предназначенные только для двоих. Почему, почему я не отдала письмо медсестре – ведь они все знали о нашем случае и с радостью взялись бы его переправить? Так я думаю сейчас, и так я думала уже на следующий день. Но тогда?

В этой отчаянной ситуации я должна была и хотела верить в благосклонность М. Она взяла моё письмо, написанное кровью сердца, свернула его и сунула в сумку, как будто это была рекламная листовка. На следующий день она снова пришла – меня уже прооперировали, и я как раз вернулась в свою палату, ещё не до конца отойдя от наркоза. Болей у меня ещё не было, и я была в полном сознании.

– Ты передала ему моё письмо? – с трепетом спросила я. У неё был такой вид, как если бы она не поняла, о чём я говорю. Потом она будто бы вспомнила: – Oh – you mean this letter? I can tell you he was not interested at all. We had to talk about real important things… I have put it into the drawer at his bedside… (Ах, ты об этом письме говоришь? Я должна тебе сказать, оно ему, вообще, было неинтересно. Нам нужно было обсудить более важные вещи… Я положила его в ящик тумбочки).

Она быстро ушла. Во мне как будто землетрясение случилось. Прошло много времени, прежде чем мне удалось взять себя в руки. После этого решение было принято: в этот же день, забыв про запреты врачей, поверх ночной рубахи я поясом от халата привязала, чтобы не гремели, дренажные бутыли, подвешенные на трубках, идущих из моего свежего операционного рубца, надела своё пальто и обычные туфли после чего, шатаясь и, по возможности, стараясь держаться за стены, отправилась в его комнату. Ефим спал. – Из-за болей он попросил таблетки, – сообщила медсестра. – Когда я осторожно коснулась его, он лишь ненадолго открыл глаза, взял мою руку

и крепко сжал её. В следующий миг он уже снова провалился в забытьё. Когда он снова крепко заснул, я стала искать моё письмо. Искать пришлось

долго, наконец, оно нашлось – в самом отдалённом от него углу комнаты, до которого он уже никогда бы не смог добраться: в шкафу с его одеждой, которая ему уже не понадобилась. После её слов это меня уже не удивляло.

Я не помню, как дошла обратно до своей палаты.

С этого дня скрестились события. Каждый день я долгие часы проводила у его кровати, но в себя он приходил лишь на несколько минут. Боли усиливались, доза морфия тоже, каждое слово стоило последних сил. Однажды он молча отдал мне скомканный листок бумаги, я не хотела его читать сразу, хотела разделить с ним каждый миг, когда он был в сознании. Я знала, каждую секунду наше общение могло вновь оборваться. Но он очень рассердился, увидев, что я не спешу его прочесть. Посмотрев на листок, я лишилась дара речи: должно быть, Ефим написал его каким-то поздним вечером, когда меня не было, ещё до его операции. В нём содержались две вещи. Во-первых, неразборчиво написанное распоряжение по поводу того, что загородный дом в Бретани, «Бельвю», принадлежит нам троим: его дочерям и мне, и мы, по возможности, не должны его делить.

Во-вторых, там было сообщение о том, что в один из своих визитов в Санкт-Петербург, когда я не могла его сопровождать, он тайно, не сказав мне об этом, переписал тамошнюю квартиру на моё имя. Я об этом не догадывалась и никогда не спрашивала. Мы же надеялись, что ещё столько раз сможем приезжать туда вместе. И с ним ведь было невозможно говорить о смерти. Но, должно быть, он думал о ней – или кто-то из его хороших друзей дал ему этот совет? Лишь немногие, пожалуй, даже только один человек, которому он особенно доверял, мог сказать ему, что ведь, в конце концов, эту квартиру оплатила я. Может быть, в одинокие ночные часы он понял, какими сложными могут стать наши с М. отношения, когда его уже не будет? Всё это были вопросы, которые я уже никогда не смогла ему задать, но его молчаливый поступок говорил сам за себя. На смятом листке неровными буквами было указано, где в его письменном столе я смогу найти

официальный документ. Когда я взглянула на него снова, он уже опять был как будто без сознания. Как мне его поблагодарить? Моё письмо, да, моё письмо могло сказать ему всё, что я едва бы сумела выразить, оно бы стало спутником его в морфиевую нирвану, раскрасило бы его сны. Был ли он тогда уже в милосердной коме или ещё не совсем? Временами он говорил во сне. Отдельные слова понять было нельзя, но я с удивлением слышала, что он лишь изредка говорил по-русски, в основном по-немецки. Может быть, он говорил со мной – мне?

В эти тягостные, безнадёжные последние дни – врачи к тому времени уже давно поняли, что не смогут воспрепятствовать мне ходить к нему – М., которой я ничего не сказала о том, что нашла письмо, сообщила мне, что Фима, с её точки зрения, уже в достаточно хорошем состоянии, и что ей необходимо сопровождать её мужа на конференцию, где она должна была ему помочь с презентацией доклада. – Я вернусь через три дня, – сказала она… Из-за общего переутомления и ощущения безнадёжности я её больше почти не слушала, поняла только, что она уезжает и не стала её задерживать. – Уезжай, я ведь здесь, – ответила я. И подумала: – В любую минуту всё может измениться. Хотя бы мы будем вдвоём. Надо дорожить каждым мгновением.

*

Теперь со мной ещё была моя дочь Саския. Она оставляла нас одних, но всегда появлялась, когда была нужна. Она могла молчать и быть рядом, и взгляды её говорили безмолвно. Будучи опытной медсестрой, она понимала больше меня, могла по-другому оценивать какие-то вещи, замечала детали, которые мне ничего не говорили. Фима, по-видимому, уже больше не выходил из комы. Он снова лежал в отделении интенсивной терапии,

подключённый к нескольким аппаратам. Каждый раз, выходя из собственной палаты, где я ещё должна была оставаться, и где меня ежедневно обследовали, по пути к отделению интенсивной терапии, я всё также боролась с моей собственной физической слабостью, с отчаянным желанием проникнуть в его тьму, разделить её с ним, с ним уйти. Боролась с работавшими там сиделками, глупыми гусынями, которые, не обращая внимания на смерть, витающую в этих стенах, громко смеялись и болтали, пытаясь разогнать скуку; всякий раз, когда я забывала надеть зелёный целлофановый чепчик, они с высокомерным и важным видом делали мне замечания. Здесь у них была власть, маленькая глупая власть, не больше их воробьиного мозга, и они заставляли меня её почувствовать, потому что больше для этого никого не могли найти. Они даже не знали историй болезни тех, кто там внизу был им доверен, тех пяти-шести человек, за состоянием которых они должны были наблюдать, и которых они воспринимали только как обузу. Один раз я позвала главного врача и пожаловалась на то, что они шумят. Он сделал им строгий выговор и извинился передо мной. С тех пор эти девчонки меня возненавидели, но меня это мало беспокоило. Я никогда не понимала, почему нужно сразу обижаться, если тебе указали на ошибку. Когда я перед этим сама просила их быть потише, они не обращали на это никого внимания, только хихикали. Ну вот и получили, что хотели.

Моё ежедневное возвращение к собственной больничной кровати казалось мне аллегорией.

«Приди, о сладкая смерть, приди, блаженный покой»[55] – я была между мирами. В моей палате была раненая жизнь, в отделении интенсивной терапии – предвосхищение смерти. Между ними – бесконечные белые коридоры. А за каждой дверью громоздились судьбы, искала себе места надежда, шумела взятая взаймы жизнь. Орфей в больнице, Орфей в царстве

[55] Хоральная прелюдия И.С.Баха

смерти. Где заканчивается жизнь, где начинается смерть? Моей соседке по палате, в ГДР она работала судьёй, через полгода суждено было умереть – тогда мы этого ещё не знали. Она, в отличие от меня, примерно выполняла все предписания врачей, перенесла повторные операции, повторную химеотерапию, повторное облучение, становилась всё слабее, всё болезненнее, жизнь всё больше уходила из неё, пока, наконец, вовсе её не отпустила. Я скорблю о ней. У нас были одинаковые диагнозы, и мы часто виделись с ней, пока она была жива. Потом я шесть месяцев работала в Чикагском университете. Когда мы с ней в последний раз говорили по телефону, перед тем как мне вернуться в Германию, её голос звучал надломлено. Потом я уже смогла только сходить к ней с её мужем на кладбище. Иногда двери в больничные палаты оставляют открытыми, как будто бы ждут нежданное, как если бы так было можно подтвердить, что ты ещё живой, и доказать числом посетителей, что тебя ещё воспринимают, что с тобой считаются, что тебе ещё есть, что сказать, что ты ещё отличаешь плач от смеха, что тебя любят, и ты ещё любишь. Как много тех, кто лишь под лезвием ножа впервые понимает, что жив? Драгоценным становится детский смех, заново учишься молчать и говорить, взгляд обретает бессмертие – о да, у живущих ещё много языков, и, кажется, можно ещё наверстать всё, что упущено, исправить все ошибки, и добрая воля вознаградится сияющей улыбкой.

«Но страшно в подземной таинственной мгле...»[56]

Будто спускаешься в преисподнюю, в царство Аида, в ад – в склеп. Отделение интенсивной терапии – голубоватый блёклый свет, пороги лучей, через которые нужно проходить – ритуал дезинфекции, фетишизм

[56] Фридрих Шиллер «Кубок». Пер. с нем. В.Жуковский.

переодевания. «Машина всему угрожает, что нажито нами»…[57] В каждой кабине человек, такой маленький перед всевластьем техники, которой он нужен только для того, чтобы показать своё могущество. Все эти машины разговаривают друг с другом на тайном языке, проницающем стены и двери, даже тело. Оркестр сигналов, завладевающий слухом каждого, кто сюда входит. Хочу ли я понять его? Мои взгляды блуждают по разным дисплеям, мерцающим экранам, трубкам, проводам – нет, не хочу. Но моя дочь знала, что Ефиму постоянно дают морфий. В какой-то момент я заметила, как появляющийся время от времени главврач проверяет параметры установки, поворачивает какой-то рычаг, бросает на нас сочувственный взгляд и снова беззвучно исчезает. Дочь сказала тихо: – Он всё время повышает дозу морфия, видимо, чтобы Фиме не было так больно.

Я наивно спросила Саскию: – Так можно до бесконечности?

– Нет.

Мои мысли путались, пока я взглядами и немыми мольбами пыталась поддерживать жизнь Ефима.

– Ты думаешь, мы полностью растворимся в небытии? – как-то раз, несколько лет назад, неожиданно спросил он меня.

– Не знаю, – ответила я. – В физическом смысле, конечно, нет: ни один из видов материи не исчезает полностью. Но, наверное, это всё же самое щадящее представление.

Он долго думал. Потом сказал:

– А я всё-таки хочу верить, что что-то останется, энергия, сила, так сказать, удельный вес жизни – конечно, не для каждого в отдельности, но не так, чтобы всё исчезло.

– И для тебя это, действительно, было бы утешением? – в моём вопросе скрывалось сомнение.

– Не знаю. Может быть.

[57] Р.М.Рильке. Пер. с нем. Н.Болдырева

Я снова вспомнила Костю, старого художника, заставившего меня задуматься, сказав:

– Может быть, душа твоей матери переселилась в Фиму?

А в кого переселится душа Фимы?

Костя верил во все эти вещи, в переселение душ, в перерождение, в вечную жизнь… даже если не в христианском понимании. Что есть бессмертие? Ефим никогда не задумывался об этом, во всяком случае, по поводу самого себя не задумывался. Его скромность была непреодолима. Ему больше нравилась работа над бессмертием других, всех тех, о ком он с такой ответственной и нежной добросовестностью, с такой проникновенностью писал. Он видел себя первым слугой языка и литературы, прежде всего, собственной страны, но также и Франции, Германии – не смотря на то высокое признание, которого он заслужил как толкователь, переводчик, покровитель, критик, член жюри или профессиональный читатель. Когда дело касалось его, у него всегда были наготове самоирония и сознание относительности собственного «значения» среди людей. Ничто не было ему более чуждо, нежели наводить глянец на собственный портрет, приукрашивать свою биографию, как это делали столь многие из его знакомых – он только головой покачивал, когда замечал это. Реальная история его жизни была достаточно богата событиями. Поэтому в его автобиографических рассказах описываются часто прототипические ситуации из жизни его родственников, коллег, друзей, просто советских людей. Никогда он не позволял ненужного взгляда в свою действительно личную жизнь. Никогда не давал пищи для воображения любителям подглядывать в замочную скважину. О своей первой жене Кате, с которой они были в браке больше сорока лет, и которая все эти годы была ему чудесной спутницей – как бы я хотела с ней познакомиться! – он говорил также скупо, как и о своей второй жене Эльке (то есть обо мне), с которой делил другие более ранние или более поздние тайны; при этом он сумел не

предать ни первую, ни вторую. Только мне он рассказал о своём сыне, которого ему родила подруга, бывшая у него тогда, когда он два года жил и работал вдали от Ленинграда – это было незадолго до того, как его окончательно выгнали из СССР. По её желанию он больше никогда не виделся ни с ней, ни с сыном, и никогда ничего о них не слышал.

Потом в эмиграции времена изменились, и он изменился вместе с ними. Благодаря этому культурная чуждость между нами быстро растаяла – мы практически во всех случаях могли найти общий язык, порой обходными путями, порой через непонимание и ссоры, через невольные обиды, иногда для этого было необходимо умение посмеяться над самими собой, иногда – допустить обе точки зрения, не приходя к какому-то единому мнению. Что за подарок это был для нас – мы оба были достаточно сильны, чтобы вынести боль и наверстать счастье.

«Сон светел – пробуждение темно»[58]. День и ночь неуловимо сменяли друг друга. Ефим всё время говорил в коме, говорил так чудовищно быстро, что нельзя было разобрать ни слова, но уже ни слова по-русски, только по-немецки. Странным образом меня это утешало. Если бы он ушёл в русский, я бы чувствовала себя вдвойне покинутой. Когда я сжимала его руку, гладила его, он успокаивался, переставал метаться. Я просто видела, как множество образов обрушилось на него, и как, не имея времени для того, чтобы их разобрать, он, задыхаясь, спешил угнаться за ними. Разве со мной теперь не то же самое происходит? Перед моим внутренним взором всё время всплывает эта худшая из всех картин: после операции я провожала Ефима на обследование в другое отделение, поддерживала его, несла за ним капельницу. И вдруг, когда он уже сидел и ждал врача, он внезапно, сорвав с себя трубки всех аппаратов, бросился в коридор. Я побежала за ним.

[58] Книга Эльзы Ласкер-Шюлер

– Забери меня домой, Элькеляйнхен, прошу тебя, забери меня отсюда. Я больше здесь не выдержу. Я хочу домой!

У меня чуть сердце не разорвалось: он ведь не знал, что я сама больна, что я слишком слаба для этого. Я просто была не в состоянии взять это на себя, я не смогла бы ухаживать за ним в том своём состоянии, удержать, если бы он стал падать. От этого могла бы раскрыться моя собственная рана. Я попыталась успокоить его:

– Ещё слишком рано, Фимочка, и слишком опасно, поверь мне. Врачи ещё не разрешают…

– Что нам до врачей? Дома мне будет гораздо лучше… пожалуйста!

Он умолял меня так, будто это была его последняя в жизни надежда. Между тем я уже снова осторожно довела его до того кабинета, из которого он сбежал. Все взгляды были направлены на нас.

Врачи знали о моей беде, знали, что Ефим не догадывается, в какой отчаянной ситуации я нахожусь. Они тоже изо всех сил старались отговорить его от возвращения домой. Но что-то в нём померкло, он даже не слушал их, всё смотрел на меня тем же беспомощным взглядом, испепеляющим мне душу:

– Фу! – сказал он. И ещё раз: – Фу! Уходи прочь!

Я была казнена. Уничтожена. Моя жертва, моё неслыханное одиночество, в котором я оказалась с моей собственной болезнью, в этот момент показались мне совершенно напрасными. Он думал, что я покинула его, оставила его в беде, он не мог понять, что даже если бы я была здорова, то отсутствие больничного ухода могло бы только ускорить его смерть. Прежде всего, речь шла о возможности облегчить боли, устранить их, не дать им достигнуть сознания. Было ли у меня право решать это? Я вспомнила ту первую женщину-врача, которая его осматривала, её предупреждение о том, что его характер может измениться. Мне хотелось, распахнув пальто, закричать: – Посмотри, Фимочка! Я сама больна. Пожалей меня! Обними

меня! Я не заслужила, чтобы ты так со мной говорил. Я день и ночь с трудом сдерживаюсь, чтобы не рассказать тебе, не сделать ещё тяжелее твою жизнь и твоё умирание. Наверное, мне ещё более одиноко, чем тебе, Фимочка, я должна жить дальше, хотя у меня нет для этого ни малейшего желания. Ради Бога, не говори так со мной, *боже мой*!

Но я не сказала ни слова, только смотрела сухими глазами, как его увозили прочь, прочь из моей жизни, обратно в мир голубоватых мерцающих огней и истерических звуковых сигналов.

– Несколькими днями больше или меньше – что от этого изменится? – думала я. – Может, нам, действительно, лучше обоим уйти домой – тайно, ведь иначе они нам не позволят? Разве не гораздо важнее, чтобы ему было хорошо и спокойно? Что мы ещё несколько часов побудем вдвоём? Но что я буду делать, если у него усилятся боли? Если случится ещё что-то непредвиденное? Если он будет кричать? Это ещё ужаснее, чем то, что сейчас он чувствует себя преданным мной… Нет, ничто не может быть ужаснее этого…

Когда я добрела до своей комнаты, моя соседка, та, что работала судьёй, в ужасе воскликнула:

– Боже, на вас лица нет! Что случилось?

Я не ответила… задушила в себе свои слёзы.

Из-за одного этого воспоминания я бы хотела снова стать ребёнком, хотела бы поверить, что есть потусторонний мир, где он ждёт меня, где он встретит меня, обнимет и скажет:

– Я знаю, что ты сделала для меня, Элькеляйнхен, я всё знаю – идём, не будем об этом думать, теперь ведь всё хорошо. И подзовёт ангела с небесным сосудом в руках, и тихо спросит меня: – *Можно?*

Мы никогда с ним больше не вспоминали об этом случае. До сих пор я надеюсь, что он сразу же растворился в его затуманенном морфием сознании.

Но могу ли я это точно знать? Я больше не считала дней и ночей, всё было безразлично. Только ради всего святого выдержать, даже если я не смогу сидеть и мне самой придётся колоть морфий от болей в спине. О своей собственной операции я вообще не вспоминала.

Однажды вечером пришло время: врач стал заходить всё чаще, ничего не говорил, только смотрел сочувственно. Он всем сердцем полюбил этого пациента, после того, как оба после операции долго говорили наедине. Можно было сказать, что они испытывали друг к другу большое уважение. Саския была здесь, молчаливо утешала меня. Ефим в коме всё чаще говорил, как будто бы в этот последний момент должен был сказать всё, что осталось невысказанным за всю жизнь. Моя боль из-за того, что я его не понимала, была невыразима, она до сих пор не утихла. Иногда он становился беспокойнее, тогда я говорила с ним, обнимала его, удерживала его, пока он не успокаивался.

И вот, последний тяжкий вздох – и тишина. Молчание. Слёзы. Я обнимаю Фиму. Саския обнимает меня. Плачет. Всё тонет.

Из сострадания врач позволил нам ещё провести одним три долгих, не полагавшихся по больничному распорядку часа, чтобы прийти в себя. Мы не разговаривали. Слова были невозможны. Не нужны. Саския держалась в отдалении, стерегла нас. Никто не входил. Я обнимала своего любимого. Боль от этого последнего недопонимания, от этого предательства, от этой эгоистичной одинокой смерти без меня жгла меня изнутри. Почему он не забрал меня с собой? Почему я должна жить дальше? Почему я просто не могу перестать дышать? Что мне здесь ещё нужно?

В какой-то момент нам пришлось уходить. Я помнила, как это было, когда умерла моя мать: заведена целая система отчуждения от умершего – лес предписаний, которые должны быть выполнены. Три прощальных часа для меня и моей дочери – это был подарок, который мне лично сделал врач – вопреки всем правилам.

Переход от живых к мёртвым, мой обратный путь к своей больничной палате никогда ещё не был столь медленным, столь отвратительным и лишённым смысла. Я знала, что когда снова увижу Ефима, это будет уже не Ефим. И мне не нужно здесь было больше оставаться. Когда я вошла в палату, моя соседка, взглянув мне в лицо, начала безудержно плакать. Она всё поняла.

– Сейчас мы с дочерью пойдём домой, – наконец, совладав с собой, сказала я.

– А врач разрешил? – встревожилась она, зная, что меня должны были выписать только через неделю.

– Меня это не волнует. Мне здесь больше нечего делать. Можете ему так и сказать.

Разве это не то же самое, что собирался сделать Фима, когда просил меня забрать меня домой? Одна рана пыталась вытеснить другую. Да-да, я знала это, но те боли, от которых я страдала, нельзя было усмирить морфием – моё тело ничего не чувствовало, только в одном месте жгло что-то, что не хотело униматься. Подчиняться больничным распорядкам было невыносимо, здесь даже над моим горем совершалось насилие. Я имела права на это горе, оно было мне необходимо, чтобы жить дальше, хоть жить дальше мне и не хотелось. В моей заглушённой анестезией боли ещё присутствовал Ефим. Он до сих пор, уже тринадцать лет спустя, поддерживает во мне жизнь, только уже не как всепожирающее необузданное пламя, а скорее как нежное тепло. И я слышу голос Ефима, который, как это часто бывало, когда мы о чём-то спорили, говорит:

– Ляйнхен, зачем столько пыла? Успокойся. Чему быть, того не миновать.

В какой-то из дней вернулась М. со своим мужем. Они не особенно удивились, восприняли это спокойно, что казалось странным после всей

суматохи, которая была прежде. Но я об этом долго не задумывалась. Слишком много всего ещё предстояло уладить, как и три недели назад. Неужели прошло только три недели?

Нужно было организовать похороны, всех уведомить, разослать извещения. Произвести кремацию, как бы мы его иначе перевезли во Францию? Сделать все необходимые звонки. Слишком много было тех, кто имел право быть проинформированными. Нужно было дать объявления в газеты – какие-то издания, может, даже несколько, наверное, захотят напечатать некрологи. Скоро выяснилось, что и в Париже люди тоже хотели попрощаться с Ефимом. Итак, сначала траурная церемония и небольшой приём в Потсдаме. Потом – кремация. Перевезти урну во Францию. Траурная церемония в Париже. Перевезти урну в Бретань. Затем захоронение в Ивиньяке, это в трёх километрах от «Бельвю». Таким образом, мне предстояло выдержать три траурных церемонии.

Моя дочь молча взяла две недели отпуска, чтобы поддержать меня – это была огромная жертва, если учитывать её тяжёлую работу и отпуск, и без того, крайне ограниченный. Она тот человек, который в подобных ситуациях без лишних слов делает именно то, что нужно. Как всегда говорил Ефим, с грацией и достоинством.

Прибыли мои родственники и друзья, чтобы попрощаться с Ефимом и помочь мне всё организовать. Сама я мало на что годилась, только и смогла, что сделать несколько звонков и сходить в пару мест по делам. О еде и напитках позаботились другие, М. и Ури тоже в этом принимали участие. Сильнее всего меня трогали безудержные слёзы Пузи. До сих пор он у меня перед глазами – с заплаканным лицом, осунувшийся, безутешный, таким он запомнился мне на кладбище, у церкви, даже в самой часовне. В какой-то момент его стала утешать Саския. Родители на это времени не нашли. Его горе меня немного утешило.

Поскольку в России я часто видела, что гроб перед похоронами ещё раз на некоторое время открывают, я решила, что должна установить гроб для торжественного прощания с Ефимом, так, чтобы люди могли его ещё раз увидеть. Как горько я в этом раскаялась! Каждый, кто смотрел на него, казался мне непрошеным соглядатаем, осквернителем, мародёром. Я не должна была нарушать этой его последней сокровенности! Лучше бы мне было закрыть дверь в ту комнату, с треском захлопнуть её. Это было невыносимо. Ему бы это было ещё более противно, чем мне. Но уже было слишком поздно. Если дух покидает тело, остаётся лишь пустой сосуд. Я отчётливо видела: Ефима здесь давно уже нет. Если он и возвращался, то это случилось, когда чудесно играл на скрипке Гидон Кремер, прилетевший из Парижа, чтобы проводить своего друга в последний путь. Спасибо, Гидон! Если что-то и могло меня успокоить, то только это. Бесчисленное количество раз я снова и снова мысленно представляла себе эту выразительнейшую музыку, без органного или какого бы то ни было сопровождения – только Гидон, его скрипка и его очень личная боль.

Никогда не забуду глубокую, исполненную уважения, очень личную и тёплую речь Вольфганга Айхведе, профессора Центра исследований Восточной Европы при Бременском университете. Кристу Вольф я тоже просила сказать несколько слов. Она ответила: – Эльке, я не смогу. Я слишком любила Ефима. Я буду плакать всё время. Но мы с Герхардом, конечно же, придём на траурную церемонию. Их не было. Позже я получила от них какое-то странное объяснение, которого не поняла. После смерти Ефима я написала ей длинное письмо, и столь же длинное письмо получила от неё в ответ. Что случилось потом? Её самой уже нет. Я никогда не узнаю этого.

Гидону, сразу после того, как он сыграл, надо было возвращаться в Париж. На следующий день у него был концерт. Последнее объятие – и он уехал. Через некоторое время все стали разъезжаться. Только Саския, верная

моя Саския, осталась ещё на некоторое время. Через неделю должна была состояться траурная церемония в Париже, организованная Институтом славяноведения[59], – на восьмидесятилетие Ефима институт также издал великолепный юбилейный сборник и устроил торжественный приём. Ефим тогда попросил меня написать статью о «Гаврилиаде» Пушкина. Мой брат перевёл его для меня на французский язык – я в школе учила только латинский, греческий и английский. В этом институте Ефим часто проводил заседания своей группы переводчиков; вместе они перевели на французский всего Пушкина – необычная ситуация, ведь в основном переводы осуществляются с иностранного языка на родной. Правда, Ефим с детства великолепно владел французским.

Примерно через десять дней мы все снова встретились в Париже. М. и Ури жили у меня, Катя с Данило – в своей собственной квартире, мои родственники из Голландии – у друзей. Я к тому времени уже перенесла первый курс химиотерапии. Мой организм так яростно сопротивлялся этому агрессивному вмешательству, что я чувствовала себя абсолютно измученной, как душевно, так и физически. Вообще, мне следовало избегать любых скоплений людей – в этой ситуации чрезвычайно высок риск заражения бактериальными инфекциями, поскольку иммунная система практически не функционирует. У меня начали выпадать волосы, хотя этого ещё не было заметно. Снова увидеть эту обустроенную только для нас с Ефимом квартиру, которую мы так любили, было одновременно утешением и страданием. С недавнего времени там по приглашению Ефима жил мой брат Томас – у него возникли сложности с собственной квартирой, поскольку его пенсия надолго застряла в бюрократических джунглях. С тех пор как он поселился здесь, он самым лучшим образом заботился обо всех приезжавших гостях и, прежде всего о Ефиме, если тому нужно было ненадолго приехать в

[59] Institut d'études slaves

Париж одному на какое-нибудь мероприятие. Брат всё содержал в чистоте, и, если было нужно, переправлял почту к нам в Потсдам. Короче говоря, был великолепным экономом. Со смертью Ефима он во второй раз – как и тогда в детстве – лишился любимого и почитаемого отца и друга. Столь же глубоко было его горе. Я до сих пор слышу голос Ефима, как он звонит мне в Потсдам и говорит: – Том приготовил прекрасный обед. Просто сказка, как он заботится обо мне, освобождает меня от всякой работы. К тому же мы ведём увлекательнейшие беседы. Невероятно, сколько он всего знает! Завтра он довезёт меня в аэропорт, и я приеду домой.

И сегодня, в день траурного торжества в Институте славяноведения Томас всё подготовил, предупредил, что нам лучше не ехать в Париж на машине – к тому моменту, как мы собирались выезжать в городе час пик – и тактично оставил нас одних – такт был важнейшей из всех его заповедей.

Даже на метро мы едва успели приехать вовремя. Собрались русские, французы, немцы, голландцы, итальянцы, евреи, американцы, канадцы и, наверное, ещё несколько человек из других стран – зал был переполнен. Я знала не всех, но очень многих из присутствующих, многие бывали у нас в гостях – будь то в Париже, Бретани, Петербурге или Потсдаме. От них я ощутила волну тепла и участия, хотя о том, что я сама была больна, знали лишь немногие. Наверное, было видно, в каком я состоянии – из-за химиотерапии я, по меньшей мере, десять дней перед этим в буквальном смысле слова ничего не могла есть и сильно похудела.

Все хотели что-то сказать. Уже не помню, сколько речей тогда было произнесено в память Ефима, языки кружились у меня в голове, лица расплывались. Лишь одну женщину я вдруг внезапно отчётливо увидела посреди зала: «ту, чьего лица не забудешь». Это была Мария Прекрасная, которую я – одна, без Ефима – навещала в Нью-Йорке, в то время, когда она только что потеряла своего мужа, Иосифа Бродского. Теперь она приехала из Милана, где была в гостях у родителей. Странно, но я была ей благодарна за

её слёзы, за то, что она была здесь, а позже, когда мы обнялись с ней, за её слова и сочувствие. Она шепнула мне:

– Мы обе были привязаны к одному человеку. Разве мы не сёстры?

Три часа длилось это торжество речей и чувств, слёз и смешных историй, действительных и вымышленных воспоминаний – как всегда, когда люди собираются для прощания. У каждого были свои причины для скорби. Сколько тайн и полутайн носилось в этом пространстве? Сколько исторических и политических событий было собрано здесь, сколько судеб, в которые была вплетена судьба Ефима!

Я буквально кожей все их чувствовала, могла вдыхать их без недозволенного любопытства. Никогда я ещё не видела, чтобы кого-то, как Ефима, так искренне и так по-своему любили столь многие и столь разные люди. В тот день только это имело значение.

*Nil pluriformius amore.*

Спустя эти три часа мои силы были окончательно на исходе. М. наклонилась ко мне:

– Ты должна что-то сказать в ответ, ты должна поблагодарить всех!

Ни на одной траурной церемонии, будь то в Германии, Франции или России, я такого не видела. К этому нет ни эмоциональных, ни формальных обязательств. Я едва могла сидеть, думать, говорить – всё болело, слёзы подступали к горлу, а я не могла дать им выхода.

– Но, может, она права? – подумала я. – Я ведь действительно благодарна за все эти исполненные любви слова, хоть знаю, что здесь и те, кто пришёл ради сенсации, те, кого он не любил. Передо мной возникла его ироничная улыбка … я отогнала её. Не теперь! Потом в нескольких словах (из последних сил) сердечно поблагодарила всех на четырёх языках: на русском, французском, английском, немецком. Можно было ещё сказать по-

итальянски, но я тогда забыла это сделать. В последующей суматохе личных соболезнований, закусок, прощаний меня незаметно поддерживали мои родственники – я чувствовала себя защищённой. После того, как мы с Марией обнялись в почти нежном прощании, мои братья спросили меня с удивлением: – Кто эта неслыханно красивая женщина? Я таинственно улыбнулась и промолчала.

Через день был последний акт: погребение урны в Бретани. На деревенском кладбище, где была похоронена первая жена Ефима Екатерина. В течение десяти лет я, как только мы приезжали в «Бельвю», приносила ей цветы – иногда до того, как Ефим об этом вспоминал.

– Что же ты за женщина?

Двойная могила была приготовлена, уже ждала его. Его дочери с их мужьями, несколько друзей из США, Парижа, России, Германии, из Кона и Ивиньяка, и мои братья приехали сюда, в этот последний пункт назначения. Погода стояла ужасная, было сыро, холодно, ветрено и пасмурно. Это было незадолго до Рождества, по случайному совпадению, в День Рождения Екатерины, первой жены Ефима, который мы всегда праздновали вместе. После захоронения урны планировался последний небольшой прощальный приём в «Бельвю». Его подготовили М. и Ури, за что я им была очень благодарна, потому что сама уже ничего не могла делать.

Началась скромная церемония. Когда земля упала на урну, Катя стала дико рыдать. Мы успокаивали её. Ури читал на еврейском кадиш – торжественные строки, полагавшиеся на этой церемонии, мне это понравилось, Ефим бы тоже к этому хорошо отнёсся. Небольшую речь сказала бургомистр, в ней она отметила, что Ефим был чрезвычайно любимым и уважаемым жителем общины, иностранцем, которого даже крестьяне с близлежащих хуторов признавали за своего. Маленький сырой холмик, открытая могила, земля, покрывающая урну – все лица у меня перед глазами растворялись в зыбкие линии. Только Кармию и её сына Андре я ещё

могла распознать. Потом мои братья отвели меня к машине и довезли до дома.

Но это был ещё не конец: М. произнесла долгую речь для друзей, упомянула о дне рождения своей матери, которую все знали, и сказала несколько хвалебных слов обо мне и о том, как я заботилась о Ефиме, но я слышала, что говорили только её губы, не сердце. У меня неудержимо хлынули слёзы.

Утром следующего дня М. настояла на том, что мы сразу же должны идти к нотариусу, хотя, собственно, нам нечего было с ней обсуждать. Мне было стыдно перед ней, перед Фимой, перед самой собой, у меня было такое чувство, как будто бы всё очарование этого места исчезло за горизонтом – так, что едва ли его ещё можно было ощутить – сделалось недосягаемым, невозвратимым.

**Жизнь после**

Что это было за Рождество! Я провела его в рекомендованной мне Клинике естественного лечения в Касселе, между Берлином и Парижем.

Я кратко описала свою ситуацию в письме к ним. Мои документы и информацию по второй химиотерапии (первого цикла) я привезла с собой, я могла провести её где угодно. Но до этого не дошло. Я приехала в пятницу, и, хоть меня и встретил приветливо весь коллектив, лечение должно было начаться только в понедельник. До тех пор я должна была прийти в себя. Но в это время случилось совсем другое: я стала читать всё, что было в библиотеке клиники, как одержимая читала и читала день и ночь до понедельника – и специальную медицинскую литературу, и записи, которые вели сами раковые больные. В конце концов, я пришла к выводу: больше я не позволю отравлять свой организм ни химиотерапией, ни облучением, ни

какой бы то ни было другой гадостью, буду надеяться на собственные восстановительные силы.

Когда я в начале недели во время предварительного обсуждения изложила свою позицию группе врачей, то они, вопреки моим опасениям, не особенно удивились. Они, видимо, имели обыкновение общаться с пациентами на равных и приветствовали принятие самостоятельных решений. После долгой беседы мы договорились, что я на три недели остаюсь у них, отдыхаю, купаюсь, гуляю, принимаю витамины и прочее. Потом – так я для себя установила – я вернусь к своей обычной работе в университете, чтобы не оставлять студентов надолго без своих занятий. К тому времени я ещё не знала, что я могла бы взять оплачиваемый отпуск по причине болезни на целый семестр. Но, наверное, работа была нужна мне, чтоб заглушить эту ужасную пустоту внутри меня. В каникулы я должна была разобраться с нашей парижской квартирой и бесконечно многое уладить. Эта задача ужасала меня.

Мой брат Томас оказал мне действительно неоценимую помощь с выполнением всех бюрократических формальностей на французском языке. Как часто нам приходилось самим ездить в страховые фирмы, банки, административные учреждению, чтобы быстрее выяснить, какие обязательства у нас ещё остаются, когда можно их прекратить, вообще, какие заявления нужно предоставить, чтобы зарегистрировать завершение этой жизни. Сложно представить, насколько это всё трудно во Франции, как неповоротливы учреждения, сколько всё новых и новых документов они постоянно требуют. Я предложила М. организовать переезд в Бельвю.

Собственно, я хотела продолжать арендовать парижскую квартиру, разрешение на жительство в ней было выдано нам с Ефимом, другие не имели права постоянного проживания в ней, и я даже по закону не могла передать её кому-то другому.

Но мои позиции были ничтожны: квартира оказалась нужна Кате и Даниле, хотя Ефим им уже одну подарил. Поскольку я работала в Потсдаме, и могла жить в парижской квартире менее полугода, было достаточно просто передать эти данные в городскую администрацию, чтобы я потеряла право проживания. Мне казалось, что я в России, но там хотя бы причиной ссор за квартиры часто является действительно бедственное положение людей. Я быстро поняла, что в покое меня не оставят. Моя мечта сохранить это жильё для себя, для всех друзей, которые бы хотели там останавливаться, а также для семьи, моей и Ефима, и всё это при надёжном управлении Томаса, оказалась невыполнимой. Катя вдруг стала вести себя так, будто бы я у неё что-то отнимала. Точно также вела себя М.. Мои попытки решить всё как можно быстрее – раз уж меня выгоняли из собственной квартиры – постоянно наталкивались на препятствия, так что под конец мне пришлось в течение нескольких месяцев нести ненужные расходы по аренде, оплачивать налоги, воду, электричество – об этом никто не задумывался. Таким образом, переезд много раз откладывался. Неудивительно, что, когда он, наконец, состоялся, я в этом уже не участвовала, хотя сначала хотела всё самостоятельно организовать и оплатить. К тому времени я уже была на работе в Потсдаме. С этого момента были только оскорбления и оскорблённые.

Минуло около года, прежде чем всё вошло в свою колею. В один прекрасный момент совершился переезд, и я обнаружила в «Бельвю» не все вещи, которые там были – они исчезли за неведомыми мне замками и засовами.

Несколько лет я старалась сохранять иллюзию, что все мы вместе сможем любить эту большую, прекрасную усадьбу, где было два исполненных воспоминаний дома, в которых для всех хватило бы места, все сможем жить здесь – каждый в отведённое ему время. Но, как сказал

Шиллер: «И смирному спокойно не прожить, коль он соседу злому неугоден».

Что было толку в том, что я никогда никому не мешала, что я всегда приезжала, только когда в Бельвю никого не было, что я пыталась согласовать время поездок, что я заботилась обо всём, что мои родственники вместе с приглашённым мной из Потсдама рабочим специально приехали вместе со мной, чтобы помочь с ремонтом – мы неделями работали с утра до вечера. Наконец, там стало так уютно и красиво, что все только радовались. Мы устроили небольшую вечеринку.

Я потратила много денег, чтобы – как этого хотели мы с Фимой – обустроить этот дом для всех. Однако, мне было сказано, что я на это не имела «права». Внезапно, в один прекрасный день на всех дверях кроме двери моей пристройки оказались новые замки. Это означало, что если я приеду в «Бельвю», то у меня не будет ни воды, ни электричества, ни отопления, ни кухни: подключения находятся в основном доме, и, соответственно, будут отсоединены. Есть две кухни со всей обстановкой, но они под замком. Чтобы включить свет, что-нибудь приготовить или сходить в туалет, мне нужно будет совершить взлом. Моя семья и друзья не могли поверить в то, что здесь происходило – до приговора суда никто не имеет права «наказывать» другого по собственному усмотрению. А такого приговора никогда не было. В комнатах, куда я больше не могла войти, были даже наши с Ефимом свадебные подарки друг другу, вещи, которые я ему лично дарила. Моё повторное предложение, заключавшееся в том, что я согласна передать М. навсегда мою долю усадьбы, если я со своей семьёй смогу приезжать туда всего два-три раза в год и останавливаться там, было наказано молчанием. Вместо этого была серия непонятных счетов, которые я годами получала от неё или от её адвоката – среди прочего там были счета за

пользование водой и электричеством, которое она сама сделала технически невозможным. Абсурдистан!

И всё-таки! – Какими чудесными подругами мы бы могли стать!

**Последние строки**

Сейчас всё случившееся в «Бельвю» уже в буквальном смысле быльём поросло. В последние двенадцать лет мне пришлось научиться жить с тенью Ефима. Понадобились многие, многие годы, прежде чем я снова стала медленно возвращаться к жизни, которая теперь была лишена света, потому что он не считал её «прекрасной». Он всегда со мной и одновременно где-то очень далеко. Уже два года как я не была в своём «стойле» в Бретани – тому препятствовали разные обстоятельства. Но нынче, летом 2012 года я поехала туда с сердцем полным страха перед всё более распространившимся там отчуждением. Несколько дней мы с моими внучками жили там, как в палатке, при свете свечи и водой в больших бутылях. Внезапно – мы не были там ещё и двух часов – к воротам подъехала машина. Это была М. со своей семьёй – мужем, дочерью и правнуком Ефима, имени которого я не знаю. Тогда ему было около тринадцати лет. Я очень удивилась, ждала, когда с нами поздороваются, мы ведь приехали первыми. Не дождалась. Наши пути не пересеклись – наши жизненные ритмы не совпадали – как это было символично! Через три дня призрак внезапно исчез. Всё опустело, выглядело неприветливо, кругом были замки. Только вода всё ещё текла из крана – по забывчивости? Или её намеренно не отключили?

*Никто не знает*.

К сожалению, вскоре нам нужно было уже уезжать в Германию – на наш ежегодный День семьи, на котором, как всегда, всем болезненно не хватало Ефима.

Могилы Ефима и Кати покоились на каменном ложе.

В наш последний визит мы, как всегда, разыскали те цветы, которые они с Катей оба любили, чтобы поприветствовать их, чтобы проник под землю излучаемый лепестками жёлтый свет. Как всегда, по еврейскому обычаю, уходя, мы оставили на надгробии маленькие поминальные камушки. Моя младшая внучка Неле, которой тогда было всего пять лет, сразу же поняла магическое значение этого символического действия и с тех пор хочет приехать туда снова: – Фима ведь мой дедушка, – говорит она всё время с сияющими глазами.

Она его знает только по фотографиям.

Нам, остальным осталась ткань мыслей, материя снов и внутренней речи, о которой столько писал Ефим. И летучие мыши, которые всё выводят в вечернем небе свои таинственные письмена, что понятны только любящим.

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
(Фёдор Тютчев)

Авторские права на тексты: цитируемые тексты Ефима Эткинда публикуются на немецком языке впервые. Авторское право: Эльке Либс

Авторское право на первую фотографию Ефима Эткинда: Nouvelle Observateur, 1978

Авторское право на остальные фотографии, включая фотографию на обложке: Эльке Либс (Фотографии были сделаны собственноручно).

**Эльке Либс** Профессор литературоведения (на пенсии) Потсдамского университета, д-р германистики, психотерапевт. За тридцатипятилетнюю деятельность в качестве преподавателя университетов в Германии и США (Гэйнсвилл, Флорида, Юджин, Орегон, Чикаго, Иллинойс) ей были опубликованы многочисленные монографии и научные статьи по литературоведению. Преподавала творческое письмо. С 1994 года была замужем за Ефимом Эткиндом, они жили сначала в Париже, потом в Берлине и в Потсдаме. Постоянно бывали в Санкт-Петербурге. У Эльке Либс двое детей и семеро внуков, в настоящее время она живёт в Берлине, пишет книги и занимается психотерапевтической практикой.

СОДЕРЖАНИЕ


Предисловие 2
Монумент 3
Осиротевшая 6
Снова в Юджине 12
*Орфей* 16
Четвёртое июля 23
Бретань 28
Будни 33
Перехитрил 40
Решение 48
Прага 52
Рождество 1945 года 56
Карлсруэ 62
Дорогая Светлана 64
Снег 71
Потерявшаяся 78
Записки из Санкт-Петербурга 81
Рождество в Бретани 97
Наши места 103
Сердечная карта 108
Вена 115
Ревность 118
У Фрейда и Сиси 126
Ференц, граф Баттьяни 139
Эбензее 156
Фотографии 163-176
Свадьба? 189

Свадьба versus „concubinat matrimonial“ 202
Нобелевский симпозиум 110 212
Дома и в пути 222
Спектакль о Бродском 232
Vedere Venezia e poi morire 239
Интермеццо 246
Петербургский кризис 249
Дочь Лиза 256
Лирическая интермедия 259
Восьмидесятилетие 268
День семьи 281
Тень 293
*Посреди жизни мы мертвы* 295
Жизнь после 334
Последние строки 338
**Список источников** 340

Париж – Потсдам – Берлин

Немного современной истории и история любви…

Молодой русский еврей Ефим Эткинд, служа в Красной Армии, принимал участие в освобождении концлагеря Эбензее. Спустя пятьдесят лет он, будучи известным диссидентом, жил во Франции и Германии. Во время показательного процесса 1964 года над будущим лауреатом Нобелевской премии Иосифом Бродским, рискуя собственной жизнью, сократил поэту годы пребывания в советском ГУЛАГе. После этого его самого изгнали из России.

Ефима Эткинда связывала личная дружба с Львом Копелевым, Генрихом Бёллем, Кристой Вольф и другими. В Орегоне (США) он встретил Эльке Либс, свою вторую жену. Это она рассказала здесь об их богатой событиями жизни. В книгу вошли некоторые из автобиографических историй самого Ефима Эткинда, впервые опубликованные на немецком языке.

Перевод с немецкого: Елена Мамонова
mamonovael@mail.ru